КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

1925

КНИГА
ДЕВЯТАЯ
НОЯБРЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 9

НОЯБРЬ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1925 ЛЕНИНГРАД


1-я ОБРАЗЦОВАЯ
ТИПОГРАФИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА
МОСКВА - ПЯТНИЦКАЯ, 71
Главлит № 16736.
Гиз № 15152 Тир. 8000.

На белом озере.

(Рассказ).

Леонид Завадовский.

Недалеко от своего одинокого зимовья Варнак рубил осину для изгороди. Жерди, сложенные обрез к обрезу, вершиной к вершине, лежали ровными партиями, пригодные в дело хлысты пока валялись как попало.

Осенний день приближался к закату. Передернув продрогшей спиной, старик уложил только что ссеченную жердь, очистил сучья и, придавив ногой, отрубил вершину.

— Язви ее в хребтину! — выругался он. — На весь век не наработаешь! — и направился к костру.

Ему не хотелось работать. Мысль о чужой изгороди для чужой пашни стала противной, словно не он три дня старательно тюкал здесь топором. Еще с ночи, когда ворочался и курил на печке, ему в голову лезли неотвязные мысли о прожитой жизни. Утром, выйдя наружу, он долго стоял, забыв прикрыть дверь, и глядел на леса и хребты. За ночь выпал снег и сделал тайгу неузнаваемой. Без шума и возни кто-то убрал ее к празднику. Посыпал серебром лапчатые пихты, набросил узорные кружева на сосны и ровно, старательно устлал землю ароматным снегом.

Когда пошел в осинник, было-позабыл топор и котелок, взял одно ружье, словно молодой охотник вышел позабавиться рябками.

Вид первого снега встревожил его, и вся жизнь от предчувствия чего-то заколебалась широкими кругами, как вода от брошенного камня.

Варнак вытянул из погасшего костра головешку. Старые корявые пальцы бережно держали ее, словно драгоценность, губы, всхлипывая, втягивали воздух и дули на золотой кусочек еще живого огня. Потная, покоробленная годами и работой спина все сильнее чувствовала мороз. В тонкий лизнувший язычок он сунул бересту, и через мгновенье, охваченные пламенем, затрещали сухие сучья.

В котелке ворчала вода с пшеном. Старик, заворотив решменку, сидел на пне спиной к огню, грел поясницу. На темном лице под копотью семидесяти лет шевельнулось удовольствие. Растянулись тонкие губы,

потянулись щеки книзу и кончик ястребиного носа загнулся, как клюв. Серые тусклые глаза неподвижно глядели перед собой.

Через прореженный осинник виднелось белое озеро. Когда-то оно было глубоким и круглым. Незаметно, год за годом, оно расплылось на мелкие болота, со дна поднялись лохматые кочки. Дремучий лес ушел к хребтам... На глазах редела тайга и росла деревня на берегу большой реки. Словно из лиственниц и сосен рождались люди. Их становится все больше, а тайга уходит все дальше. Размахивая ветвями, она словно спасается в бегстве...

Поглаживая коричневую, будто выкрашенную, спину старик шевелил сухими губами:

— Эх, от тесноты тоже проку не ждите! Не ждите проку...

Из котелка выбрасывается раскипевшаяся похлебка. Горячая зола сердито фыркает и летучий пепел кружится, словно поденки в мае. Перевесив котелок к стороне, Варнак кладет в трубку уголек. Долго раскуривает. В памяти вспыхивает необъятный день, какие бывают только весной, после ледохода. Похожие на этот осиновый пепел однодневки-мотыльки рождались из недр реки, порхали вокруг лодки и, словно метельный снег, сыпались мертвыми на воду. Полная, как чаша, река несла остатки льда и вместе с ним приискателей. Затратив последние гроши, они мчатся вниз к заветным берегам Витима. Спешат захватить раньше других таких же, как они, голодных оборванцев, грязные, холодные дыры с золотым песком. На мокром тряпье на дне лодки мечется в родах женщина — его мать. Он, маленький мальчик, сидит около и со страхом и любопытством ждет появления брата или сестренки... Лед, нагроможденный на берега, стоит неприступными стенами. От них веет холодом. Лодка готова нырнуть в первый удобный проход к земле. Покрывая крик женщины, с грохотом пушечных выстрелов и позади и впереди рушатся подмытые течением сверкающие изумрудные башни. Отец исступленно кричит ругательства и вместе с другими работает шестом. Вдруг от тяжелого шороха над головой все бледнеют. Крики, отчаянные торопливые движения и треск...

Толкаясь в разведенных обвалом волнах, с звонким шорохом плывут льдины вниз по течению...

Темное, словно виденное давно-давно во сне, сейчас кажется недавним, вчерашним. У человека, который взял его на руки с льдины, рыжая борода и зеленые глаза. Тут он первый раз услышал свое новое имя. Губы осклабились, борода зашевелилась и, опуская его на песок, человек проговорил:

— Ну, Варнак, грейся. Видно, твое счастье. Не далеко бы плыть тебе за смертью!

Варнак сидит неподвижно, пристально вглядывается в даль прожитой жизни. Веки его вздрагивают и щурятся, точно он в самом деле видит, как на крохотном кусочке серой земли раскаленной, как зола, маленький батрак взмахивает тяжелой копорулей, погружает лезвие в землю, разрубает корни. Он почти гол; над ним с зудом стоят столбы комаров и мошки.

На плечах не видно крови: так они красны и грязны. Легкая пыль вспыхивает от ударов.

В неделю раз приезжает суровый человек с зелеными холодными глазами. Привозит хлеб и соль. Горят зори и прогорают. Горланят полчища насекомых, пьяных запахом пота, а копоруля все взмахивает и рубит серую землю.

В зеленых мхах спят березы, спустив лапы, поникли темные стройные пихты над ручьем; далекие хрeбты, словно облака, дремлют в тишине знойного дня.

Обессилев, мальчик сидит на комьях и смотрит на вбитый кол, до которого надо дойти к приезду человека.

Оттого, что дома в деревне еще хуже, он любит тайгу, не боится ее, и, свернувшись под рваной дохой, спокойно спит ночами. С зарей, испуганный светом, вскакивает и снова взмахивает копоруля.

Когда удается обмануть и переставить кол поближе или недосыпая пройти поскорее урок, маленький, словно обуглившийся, дикарь бродит по тайге. Прилипнув к корявому стволу жадными горящими глазами, следит за порхающей птицей или прыгающей белкой, соображая, как поймать их. У ястреба учится бросаться на добычу, завидует хорьку, поймавшему тетерева, и лисице, которая режет зайца острыми зубами.

Одинокой сутулой птицей четко рисуется старик на блестящем снегу. Но, несмотря на дряхлость, нет в нем жалкой слабости. Он и сам ее не знал в своей жизни, как не знает ястреб. До последнего дня, который будет у каждого человека и всякого зверя, он не пойдет и не попросит места у чужого огня. Не кормит волк волка. Пока есть зубы и острые когти много нужно зверю, но, когда обломаются и сточатся они — ничего ему не надо, кроме покоя. Так устроила мудрая жизнь.

Когда замерзала серая земля и копоруля отскакивала от нее, как от железа, человек с рыжей бородой отдавал его на сезон охотнику-тунгусу. Видит, как ходят они с Дыдырцей по белой тайге, курят злой табак в трубках и слушают собак. Каляными пальцами нажимают курки и с громким воплем бросаются к белке, чтобы схватить ее прежде собак. Протирают стволы, заряжают длинные ружья и снова идут туда, где уже раскатала и поставила берестяный чум Учь, жена Дыдырцы. В дымном чуме упорными глазами смотрит на маленькую тунгуску. Огненные блики от костра играют на ее скулах, меховые узоры тускнеют на подоле и вороту парки. Черные глаза, словно мыши, прячутся в нору. Она боится его. Торопливо поправляет костер и юркает в мешок к Дыдырце.

Не чувствуя морозов, с белыми и черными пятнами на лице, он ходит за тунгусом и носит одну мысль: захватить ее одну и разодрать на ней ровдугу. Одна мысль — как обмануть ее и схватить в лесу, когда идет она за оленями, не дает покоя. Так день за днем. Обессиленный пыткой, не выдерживает, покидает в тайге тунгуса, бежит мимо изнывающих в лае собак под лиственницей, находит чум и, как хорек, бросается на добычу. В молчаливой борьбе кружатся вокруг очага, словно танцуют. Встрево-

женный пепел порхает и носится по чуму. Не чуют запаха гари опаленных комасин и падают на связки сырых вывернутых шкурок. И снова ходит по белой тайге. Ждет ночи. Его нетерпеливые глаза встречают ее робкие и жадные взоры. Учь долго при свете костра мнет меха или шьет и скалит белые зубы на окрики тунгуса. И когда он, утомленный, всхлипывает приплюснутым носом, ползет под доху к молодому охотнику...

Трубка во рту Варнака умолкла. Тонкие осиновые сучья прогорели. Похлебка успокоилась и подернулась белой накипью. На зеленой сосне голубая белка, красуясь на свой пушистый хвост, роняла белые хлопья.

Сплетаясь, как ветви сосен на ветру, несутся виденья. Старик следит за молодым приискателем. С тяжелыми карманами бархатных широких штанов, с перстнями и кольцами на руках он едет в деревню. Грузную, крытую лодку тянут против течения усталые женщины. Согнувшись в лямках, медленно бредут по шершавому каменистому берегу. Уже белеют забереги, и густая шуга пестрит темную холодную реку. Она вот-вот станет. Он мчится на конях от станка к станку. В беспокойной дреме в седле снится тихая жизнь на пашне. В нем бродит, как крепкая брага, кровь отца-земледельца и зовет во весь голос. Бесприютная, отчаянная жизнь копача с тюрьмой, спиртом и картами тонет в осенних, тихих днях.

Последний станок. Вот паскотина, вот крепкий рубленый дом с резными воротами. Рыжий человек суетится, усаживает, величает гостем. Марья сделалась красавицей. Широко распахнулись навстречу темные ресницы. С веселой шумной вечерки ведет за руку на угор. Ее полное тело упруго и крепко. Как от спирта кружится голова. Но она заливается смехом:

— Какой скорый! Подожди, успеешь после свадьбы!

И шепчет:

— Много денег привез?

По белой широкой реке мчится свадебный поезд. В тучах снега на взвоз бешеные кони берут на мах. Безумно звонят колокольцы в расписных дугах поезжан. Марья рядом. Соболий воротник сверкает на морозном солнце. Брови, как крылья, взмахнули под шелковую белую шаль, румяные щеки смеются.

Марьины ласки сводят с ума. Она белая и извилистая, как горностай. Ускользает из рук. Нет любви в ней — одно озорство и наряды. На пашню идет со слезами. Чтобы забыть ее шопот и зеленые холодные глаза, бегает в тайгу и исступленно гонит лосей. Рыжий человек становится груб, как с батраком. Уже нет золота засыпать его жадный рот...

Зимний долгий вечер. Марьи нет дома. Жгучая боль от тоски по ней. Является поздно, тихая, молчаливая. Глаза словно выцвели и расплылись. На бархатной шубейке зеленый сухой травяной листочек.

Чуть светает. Охотник бежит по следу хитрого зверя. Отпечаток маленького узкого ботинка Марьи бежит рядом с большим следом, поворачивает в чужое гумно.

Она верещала, кусалась, как лисица в капкане, в глазах была кровь, но не призналась в измене. И понял, кого купил он своим золотом.

В ясное летнее утро по темной таежной тропе он вел пегого молодого коня на пашню. В седле с граблями за спиной покачивалась Марья с улыбкой. Низко повесив голову, исподлобья видел, как солнечный свет облил ее полные плечи. Знакомая тайга, каждое дерево, подсушенное его рукой, сомкнулись вокруг и ждали. Уросный конь, чего-то пугаясь, раздувал красные ноздри, храпел и дрожал. И вдруг взвился на дыбы, оскалив зубы. Почувствовав мгновенье, которого ждала тайга, он пускает из рук повод и словно швыряет и коня и всадницу на середину расчистки. Повиснув в стремени, белое обнажившееся тело бьется о пни... В тишине жалобное ржанье коня, всадившегося в развилину березы. В ушах звон комаров и последний ее крик:

— Варнак, душегуб!

Голова старика сползла с колена, трубка выпала из смятого пустого рта и лежит на оттаявшей листве. С озера, позолоченного вечерним солнцем, доносится странная музыка. Серебряные возгласы труб возносятся в небо, как розовый дым в морозный тихий день. Нежные скрипки вьют ленты меж гаснущих стволов осин и сосен. Ухо ловит звон грустных далеких колоколов. Старик жует губами, дрожащей рукой шарит возле себя и, нащупав трубку, вкладывает в рот. Он знает, что это лебеди поют последнюю песнь у воды, но не может сбросить оцепенения. Кажется, само озеро поет, звонит и тоскует. В последний раз...

Старик дергает плечами.

— Всех возьмет, — шепчет он, — заморозит и в летний день, и зимой у огня. Всех найдет. И душегубов-варнаков и добрых людей...

Озеро погасло и умолкло. Улетел последний дрожащий звук. В глазах старика удивление и испуг. На снегу на ветках лежит человек. То, что было спрятано глубоко в сердце, то, о чем он не хотел никогда вспоминать и лишь видел во сне, лежало перед ним на снегу. Синие глубокие глаза пристально, не мигая, смотрят в лицо, губы шепчут:

— Подвинь меня, Варнак, к огню, мне очень холодно. Я отогреюсь и уйду. Ни одной душе не скажу о жиле...

Варнак не шелохнувшись сидит, будто не слышит. Лицо и руки товарища с черными страшными пятнами. День клонится к вечеру. Мертвая сухая пихта дрожит и сыплет крупкий снег на неподвижное лицо. Деревянный лоток для промывки песка валяется около вымороженных глубоких дыр. Два заступа торчат в мерзлом отвале. Сурово сдвинув брови, Варнак слушает гул тайги. Будет сильный мороз.

— Зверь ты, — шепчет товарищ твердыми неловкими губами, — душегуб!..

— Все звери, — думает Варнак, — а ты не душегуб! А кто хотел кайло воткнуть мне в спину? Не ты?

— Прости меня... С камня скользнуло. Отогрей меня, я уйду..

— И убьешь! — думает Варнак.

Тяжелый мешок вынес он тогда из тайги. Тот, за который купил Марью. И еще два раза ходил. Потом не ходил больше...

Мутной струей, как осенний ручей, плыли годы. Плохо помнятся они. Но до сего дня, как картина на стене, день, когда он вернулся в деревню. Нищий старик стоял у избы, где жил когда-то приемышем-батраком у человека с рыжей бородой, где узнал Марью...

— Чо? — спросили его, — самородка не принес? — и указали на лодку. — Ступай, садись, отвезем на тот берег. Не нужен ты здесь!

Но он не сел в лодку. Остался в деревне. И вновь такая же тяжелая для старика, как когда-то для ребенка, копоруля взмахивала и рубила серую сухую и горячую, как зола, землю в тайге. С похоронным звоном вились столбы мошек и комаров над потной спиной.

Вздрогнув, Варнак вскочил. На короткое мгновение он увидел себя одиноким в безграничной белой пустыне. Непрерывным потоком мимо будут двигаться люди куда-то, а он сидеть неподвижно, как сутулый умирающий ястреб.

На березах чуть теплелись лучи. Синие тени тянули длинные пальцы. Спина старика встряхивалась под тонкой ветхой решменкой. Испуганно он трогал мягкую холодную золу и, словно лапой, торопливо разгребал до земли. Огня не было. Тогда, трясясь плечами, он поймал за дужку котелок, слил воду, засунул топор в железную скобу на поясе и быстро пошел по краю озера, сметая с мертвой листвы пушистый легкий снег.

Шел в деревню, чтобы рассказать о несметном богатстве на далеком и страшном ручье. Продать свою тайну за тепло и участие на старости лет.

Небывалое сознание опасности волновало старика. Он нетерпеливо ощупывал ногой лед — меж кочек он всегда тоньше — обходил павшие березы.

Вдруг ясный одинокий звук, словно забытый здесь на озере, остановил его среди таловых кустов. Совсем близко послышался всплеск крыльев о воду. По привычке он потянул со спины ружье. На проталине, величиной в один шаг, взад и вперед плавал лебедь. Заслышав шорох, вытянул шею и неловко скользя лапами, выскочил на лед. У него волочилось левое крыло. Оглядев пустое высокое небо, издав громкий призывный крик, он упрямо выгнул шею и снова спрыгнул в воду. Не обращая внимания на человека в кустах, высоко взмахивал клювом, и словно кайлом рубил по краю льда. Метался, давил зобом и, расплескивая далеко воду, бил крылом. Мороз крепчал с каждой минутой.

Ковыляя и волоча оба крыла, из кочек притащилась утка. Завидев воду, радостно спрыгнула в проталину и торопливо выкупалась. Но лебедь ударил ее клювом и выбросил на лед. Темным комочком сидела утка, не решаясь спуститься на воду, чтобы согреться.

Старик не чувствовал, как жжет руку стальной ствол. Он жаждал, что вот-вот, забыв вражду, птицы прижмутся друг к другу и поделятся теплом. Но они одиноко сидели, повернувшись друг к другу спиной. Вобрав головы в плечи, замерли в ожидании ночи.

Небо совсем посерело. Из-за хребта, ожигая лицо, тянул хивус — предвестник лютого мороза. Старик ясно представил недоуменье и насмешку в глазах людей: Варнак пришел в деревню проситься ночевать! Губы его растянулись. Он поднял ружье, и над озером раскатился выстрел. Птицы покорно опустились на лед.

Не разбирая пути, проступаясь в воду, старик повернул к зимовью. Седые вихрастые кочки остались позади. Там, где середина, под ногами вдруг треснул лед. Испуганно присев, он пополз на четвереньках. Лед продолжал трещать и гнуться. Из щели с журчаньем хлынула вода. Мгновенно мокрая одежда превратилась в лед.

Когда миновал воду, руки не чувствовали снега; он глядел на них, как на темные лапы, от которых останется звериный непонятный след. И показалось ему, что давно-давно выполз он из темной холодной реки и ползет бесконечные годы. Пробирается чащами, ранит тело шипами, роет норы, рвет добычу и снова ползет.

— Куда же ведет этот путь?

Ответ был один:

— В ту же холодную тьму...

Если он будет ползти еще долгие годы — не минует конца. Старик попытался подняться, но ноги не разогнулись. Он смог лишь сесть.

Он оглядел суровую тайгу, обступившую озеро, и лег. Он был спокоен. Одному великому закону служат все. И звери, и люди. Пусть не смущают ослабевшую душу иные законы, каких он не знал и не может понять.

Седые сосны кивали верхушками. Огненно холодный ветер гнал снежный пух по озеру и каленой сталью прижигал лицо. По телу, зажатому в ледяные тиски, проходила дрожь.

— Подвинь меня к огню, я отогреюсь и уйду, — хотели сказать губы чужие уже забытые слова, но их кто-то крепко сжал, чтобы молчали.

За распадком меж двух хребтов показалась тусклая луна. Словно продрогшая от вида печальных снегов, неохотно поднималась она на небо. От света не было теней.

Еще живые глаза в твердеющих орбитах пристально вглядывались туда, куда плывут и леса, и горы, и вся земля...

В горах.

(Повесть).

О. Савич.

I.

Солнце уходит в снежные горы, розовеет в снегах закат. Душно, нечем дышать. Из палаток несется храп. У орудий валяются часовые. Нынче прибыло пополнение, новички не спят, отупели от жары. Еще день, и значит — лень. Значит, — сон, малярия и вялая тупость.

А по лагерю растерянно бродит Юмашев, прибывший с пополнением командир. Недоумевая, поднимает он на все робкие, слишком голубые для этих мест, не выцветшие еще глаза. И кожа его слишком бела, и волосы слишком русы, и жалка белокурая бороденка. Весь он слишком светлый и белый, не выгоревший, не обожженный. Тычется он по лагерю, как пьяная курица, не то истомленный жарою, не то ошарашенный солнцем и зеленью. Пенснэ его так же пристало здесь человеку, как тигру штаны. На нем, впрочем, нелеп и воинский наряд. Гимнастерка прильнула к впалой груди, штаны болтаются не над коленями, а под ними, уходя в короткие пыльные сапоги. Револьвер съехал на спину и, потеряв всякую видимость оружия, кажется нелепым хвостом нелепого существа. Но когда Юмашев снимает пенснэ, чтобы вытереть пот с переносья, человеческие, подлинные глаза испуганно глядят по сторонам, и в них не только удивление и страх, не только душа прочитанных книг, но и странный, замирающий восторг.

Усталый, Юмашев подходит к своим красноармейцам и слушает, что говорит им здешний пожилой солдат. Солдат — маленький, щупленький с виду мужичок. Солнце выжгло волосы на его голове, он лыс. Но солнце же, должно быть, взрастило колючий кустарник на его бровях и в его ушах. И сколько ни старалось солнце, не выжгло и не отрастило из горла выскочившей пучком бороды. Глаза его, как жучки, приспособились к кустикам бровей и суетятся под ними. И, должно быть, он много выпил здешней родниковой воды, — так чист его высокий, негромкий голос.

— Перли, перли, цельный год перли по степям безводным, через крутизну горную и морским берегом, а через год к железной дороге по-

дошли. Ведь вот чудно-то как: всего семь дней оказывается до самой до Москвы. А мы — год. Поезда, правда, почитай что не ходят вовсе, а то семь дней, сам начальник станции объяснил, а станция — Юрта какая-то, много их там Юрт этих: Хасафа-Юрта, Чирей-Юрта. Ты подумай, братишка, с Волги ведь мы перли, из-под Царицына, и всю дороженьку проклятую верхами проделали. А здесь город — и тот Грозный называется. А горная крутизна какая, аульчик в нее вмазан, как птичье гнездо, как его только дождик не смоет оттудова. А ты его с боем бери, с орудиями наверх лезь, лошадь ведь тоже российская, непривычно ей барьеры эти брать, не приучена. А народ вавилонский здесь, на сорока языках лопочет. Вкотишься в город, из-под кажней крыши обстреливают, отстанешь — прирежут. И бабы тоже. По степям да по горам,—с кем на ветру поцелуешься? И отпусков не было — некуда. А несмотря какая жара днем, по ночам мороз. Ну и заскучали. Война-то здесь совсем необыкновенная. Я при царе на всех фронтах воевал, и в гражданской был, а такой не видал. Черкесов этих при царе сто лет завоевывали, а мы — в год. Ветер здесь такой — поддувает, ну и бежишь сам, без приказу, ровно бы от тоски какой и ровно бы думаешь: это вот что еще, а до такой земли дойдем обязательно, про какую и слыхом не слыхано, до того уж чудная и счастливая.

Спадает жара, быстрые сумерки надвигаются незаметно, солнце ушло в горы, красноармейцы разминаются, часовые встают с земли. Юмашев бежит по лагерю, путаясь ногами, подбегает к краю, где начинается степь и горы вдали, к горам выбрасывает слабые руки, качает головой, шепчет что-то, задыхается. А потом бежит назад, в просыпающийся лагерь. В палатках оборвался уже храп, кряхтят и откашливаются, на порог одной выходит высокий рыжий человек без рубашки, штрипки галифэ в ночных туфлях, туфли на босу ногу, откашливается басом, чешет голую грудь, рассматривает Юмашева. Солдат ласково спрашивает его:

— Отпустило?

— Отпустило.

Рыжий человек поворачивается и кричит в пространство:

— Сисенков, сукин сын, у тебя малярии нет, куда ты пропал,—обедать давай!

Потом подходит к Юмашеву и протягивает руку.

— Тюделеков, батарейный командир, некогда студент и штабс-капитан. Вы из Москвы? Чего вы гимнастерки не скинете? Здесь не благородное собрание. Жара же здесь сволочная, и от малярии дохнешь. Местечко! За грехи родительские...

Юмашев, втягивая голову в плечи под ударами тюделековских определений, пытается робко защититься:

— А красота?!

— Красота-а. От этой красоты у вас скоро обмороки будут. Какие, подумаешь, мы туристы. Красота! Хоть бы землетрясение какое, прова-

лился бы этот Ленджистан проклятый и мы вместе с ним, что ли! Что в Москве?

— Да... так... ничего... все на месте, кажется.

— На месте? Ну и чорт с ней!

Тюделеков поворачивается и уходит в палатку, сердитый, но сейчас же высовывается опять.

— Эй, вы, Юмашев! На землетрясение в Москве я не согласен! Пусть стоит. Поняли? Сисенков, куда ты пропал?

Он кричит истошным уже голосом и ругается. Из-за палаток выскакивает полуголый подмигивающий человек с судками, странно похожий на самого Тюделекова, только вдвое уменьшенный и суетливый.

— Опять на весь лагерь меня срамите, товарищ Тюделеков?

— А ты зачем пропал?

— Аппетиту у меня от жары нету,—пошел погулять.

— Догуляешься ты у меня.

— Будет орать-то.

— Что-о? Поваришка негодный!

— Нет, я красноармеец первой батареи, сознательный боец, командиру моему Тюделекову друг и товарищ. И по-товарищески для друга моего старинкой потряхиваю и варю артистический обед.

Тюделеков раскатисто хохочет.

— Слыхали? Вот негодяй! Хотите пообедать с нами? Он бывший повар, хорошо готовит. Оттуда и словечек набрался. Ну, ты, друг и товарищ, идем.

Юмашев не может есть. Знакомые диалоги звучат здесь непривычно. Волнение не оставляет его.

Сисенков, бывший повар, уходя в палатку, кидает пожилому солдату:

— Неопиханов, пролетарский командир, обедать, разговорщик, рысью ма-арш!

И солдат встает, подходит к Юмашеву и, по-своему понимая его растерянность, несколько раз, будто пуговицу прикрепляя, касается рукою его груди и ласково говорит:

— Чудно вам здесь? Привычку надо иметь. Мы, конечно, вместе цельный год шли. Только вы не опасайтесь. Ничего. Привыкнете тоже. Тут ведь все вместе.

Он выжидает ответа и, не получая его, еще ласковее говорит:

— Неопиханов — фамилия моя. Царской службы унтер-офицер. А тут — командир. Мне про вас военком говорил, что приятели. Хороший у нас комиссар, Домашнев-то. Привыкнете. Народ весь хороший у нас.

Он склоняет голову, улыбается, ждет чего-то, потом уходит. Уже темно, в палатках зажигают свет. Юмашев снова бродит среди обедающих, не слыша разговоров, не чувствуя тяжести истомленных ног. Его везде приглашают присесть, пообедать,—он виновато отказывается. Зажигают костры, пляска ночных теней в недвижном и теплом воздухе тревожит Юма-

шева. Он опять бежит к краю лагеря, жадно дышит легкой степной прохладой. Потом его зовут — назначать часть караула из новичков. Караул уходит в ночь, новички, наслушавшись страшных рассказов, робко шагают за старожилами. Потом красноармейцы собираются у костра, военком дает урок политграмоты. Юмашев слушает, как старый друг его, Домашнев, говорит красноармейцам знакомые слова, но они не доходят до сознания, и он не различает сидящих в тени слушателей. Он отходит и слышит, как Тюделеков ругает приехавшего из города каптенармуса.

— Я тебе говорил, растяпа, Стамболи, другого я не курю, а ты, гнусная твоя морда, что мне привез?

— Не было другого, товарищ Тюделеков, ей-богу, не было!

— Бога не было, а табак был. Зашел ты в первый попавшийся магазин, там нет, а вы с приказчиком и обрадовались. Тебе ходить больше не надо, а он дурака нашел, который у него заваль купил. Чучело ты огородное, а не каптенармус! Вот, погоди, я тебя в секрет назначу, нарочно одного пошлю, пусть тебе персючки... вырежут, перестанешь к бабам в город проситься, командира забывать. Масла привез? Сисенков, сукин сын, опять пропал! Иди, продукты принимай!

Тюделеков выходит из палатки, кричит Юмашеву:

— Слушайте, Юмашев, а вы не врете, есть еще Москва? Да чего вы все бродите, как тень, и притом — пьяная?

Из темноты выступает Неопиханов с винтовкой, останавливается.

— Не трожь его. Мы ведь с тобой не сразу сюда пришли.

Потом снова прикрепляет невидимые пуговицы к груди Юмашева.

— Кажний вечер караул проверяю. Спят, дурачье, конечно, а нельзя спать — прирежут. А вы бы прилегли, — устали, ведь, а?

Когда он уходит, Тюделеков говорит полушопотом:

— Замечательный дядя. Из фельдфебелей. А командир почище нас с вами. Не тому нас учили, чему следовало, а он это без учения знает. Неопиханов! Погоди, я с тобой пойду!

Хоть ласковы все и просты, и ночь совсем не страшна в ее тишине, текучести и теплоте, но Юмашев опять бродит и тычется по лагерю, неприкаянный, смотрит на огромные звезды, останавливается, слушает, взмахивает руками и бежит опять. Красноармейцы лежат на траве и курят, такие же, как будто, как всякие солдаты. Они разглядывают белье у костров, ругаются лениво, вздыхают, смеются, чинят белье. Кто-то настойчиво требует нитку, кто-то путано объясняет траэкторию полета снаряда, кто-то длинно говорит о деревне и революции. Кончился урок политграмоты, слушатели расходятся, спорят. Говорит один голос:

— Вот видишь ты, учиться надо, а некогда. И заучишься еще, про главное забудешь. Все торопимся, воюем, а как тут разберешься? И думать-то мы не привычны. Все за нас думали, да плохо думали, для себя тоже, не для нас. А мы — разбирайся теперь.

И отвечает другой голос, позадорней, помоложе, пьянее:

— Да уж думай-не думай, через весь свет, как есть, пройти бы вот нам, вшивым, как по горам шли, — по-другому, небось, было бы тогда все, придумали бы.

Юмашев вскидывает руки, изумленно, как за ответом, смотрит в небо. Из-за палаток выходит военком Домашнев, хлопает его по плечу:

— Зову, а ты не слышишь. Ну, идем; говори, говори, рассказывай, я свободен теперь и весь — твой.

2.

В каменных подвалах старинного дома в большую перемену завтракали гимназисты. В доме были огромные светлые залы, но почему-то на отдых загоняли вниз расшибать затылки о каменные выступы, дышать духотой. Сквозь мелькание серых курток, хлебных шариков и бумажных стрел, под гам нескольких сотен голосов, под звон ложек проходил в синем форменном сюртуке надзиратель. В темных углах дрались и боролись, и под ноги надзирателю неожиданно для себя выкатывалась вывалявшаяся в пыли пара. Раскачиваясь на деревянной скамейке, кто-то вслух зудил урок, не слыша себя самого. Буфетчик бойко торговал разрешенными бутербродами и неразрешенными пирожными. И презрительные к этой земной суете, восторженные для вечности и свободы, в стороне, проходили два подростка. До этого дня мир открывался обоим одновременно и одинаково: коньками, Жюль Верном, первой брошюрой и первым кружком. И вдруг:

— Домашнев, к директору!

Обдернута куртка, марш-марш по лестницам и, несмотря на волнение, проехал, как первоклассник, по перилам. В кабинете (первый кабинет, много их было потом) директор (потом — жандармы) с бумагой:

— Домашнев. За участие в недозволенном кружке вы увольняетесь из гимназии без права поступления в другое учебное заведение. Мальчишка, негодяй!..

Больше не ездить по перилам, уже не мальчик, — бледный, спокойно, — ох, спокойно ли, чего стоит эта улыбка?

— Не смейте кричать на меня, я уже не в вашей власти, господин бюрократ!

Как язвительны должны были быть эти слова, жалкие и мальчишеские. И как трудно не расплакаться в классе, собирая книжки.

— Ты куда?

— Домой. Выгнан. За кружок.

— А я? Я пойду к нему! Я ведь тоже...

— Не делай глупостей. Вызовет, если знает.

И Юмашев остался в гимназии, потому что директор не знал. Кружок распался. Домашнев был арестован у заводских ворот, ушел в ссылку и бежал в Париж. Юмашев отстал от политики и кончал университет. Прелестью пахучих, затхлых и свежих страниц открывался ему дальше

мир. Домашневу же — сыростью рабочих бараков, таежным молчанием, парижскими площадями. Мысль останавливала Юмашева, воля гнала Домашнева и пригнала в Ленджистан, военкомом. И больше, чем красноармейцы, Неопиханов и Тюделеков, был он свой Ленджистану, потому что был он свой всему миру и нашел бы сразу, что делать, высадившись на луне. И разве не раскрылся просто роман Жюль Верна, с вечера положенный гимназистом под подушку, и тот же все гимназист, веселый и крепкий, смеющийся и зовущий? Еще в гимназии думал и понял Юмашев: в этом человеке нет страха, но и никакой отчаянности. И сомневался Юмашев: да русский ли он, Домашнев, в самом деле?

Ночью в тишине, под звездами, путаясь в широте непривычных, уже Ленджистаном рожденных жестов, говорил Юмашев военкому:

— У меня такое чувство здесь, как в детстве. Меня, маленького, мама купала на кухне, в ванночке, которую ставили на двух табуретках. Выкупает, я встану, она накидывает на меня мохнатую простыню, закроет с головой и несет в детскую. Я ведь знал, что коридор — это каких-нибудь сорок шагов, и несут меня в постель. Но под простыней было сыро и душно, как в оранжерее, и запах от маминых духов, и мама на ходу качает меня, голова кружится. И, кажется, понимаешь ты, что несут меня в небывалую страну, несут медленно и все-таки со скоростью солнечного луча, и вот-вот она, сейчас, зажмурить глаза и открыть — вот... Будет — будет — необычайное... И теперь, понимаешь, насиделся я, что ли, в Москве, или неожиданный очень этот переезд, Ленджистан, ты все — у меня сейчас чувство такое, будто я снова с головой — в душной сырой простыне, и откроется мне сейчас — необычайное, но страшное, непереносимое...

Домашнев слушает спокойно, улыбается, говорит тихо:

— А по-моему ты сейчас — морской житель с вербы. Солнце нагрело заклепанную колбочку, ты и запрыгал. Сердце свое ты в спирту держал, в книжном спирту. Это убийственный настой.

Юмашев отмахивается и, путаясь, говорит дальше:

— Не язви. Все равно, я должен это кому-нибудь сказать. В детстве я мечтал. Море, корабли, шхуны, свист шторма, хлопанье парусов, визг якорной цепи. И — гавани, кабачки, притоны, матросы, сброд, ножи, ром... Потом я понял: это чепуха. Я человек сухопутный, высиживатель. Живу на Арбате и езжу в университет. В старое, а не в новое здание. Жизнь страшна. Мне жизнь, как рыбе суша. И вдруг сюда. Не могу я. Я задыхаюсь под этой простыней. Вы здесь конквистадоры какие-то, русские испанцы.

— Это Тюделеков с Сисенковым — испанцы?

— Не язви. Ну, я не знаю, я ничего не знаю. Я чувствую: я здесь погибну, и вместе с тем — какой-то неизъяснимый восторг. Ну, слушай, Домашнев, ты же знаешь, что такое жизнь, объясни ты мне, бога ради, что это такое. Что со мной?

Домашнев долго молчит, курит. Потом говорит медленно:

— Купали в ванночке, а тут — море. Ты любишь купаться в море?

— Не пробовал.

— Очень хорошо. Холодом обожжет, а потом тепло. Берег тут чудесный. Впрочем, это не то.

Он молчит, наморщив лоб.

— Я ведь тебя по-прежнему люблю. И очень хотел бы понять и помочь. Нет, здесь не душно. Я люблю города, вот Париж, например, но мне как раз здесь не душно. Да если бы ничего не делать... А вот слышишь: шакалы воют. Попробуй здесь ничего не делать. Год я не слезал с лошади, год воевал и кроме своего отряда и врагов никого не видел. Мне трудно тебя понять. Но погоди...

Цикады трещат, горы вытягивают длинные тени, с моря легкий ветер, звезды падают одна за другой.

— Ах, чорт, хорошо! Много надо видеть, чтобы понять, как здесь хорошо. Вот видишь: тебе страшно, а мне хочется крикнуть во всю грудь, звуком одним, не словом, перекликнуться с кем-то, что ли, вот так: hallo!

Он не вскрикнул, а позвал полной грудью. Юмашев вздрогнул, коснулся боязливо его руки и сказал шопотом:

— Звезды падают бесшумно, — миры, а ты — ничтожество — кричишь один и тревожишь вечность.

Домашнев засмеялся, и смех его, как и зов, пролетел через ночь мягко, как голос ночного зверя, как шорох моря, как свое, неотъемлемое в этой ночи.

— Да я ж человек! Зачем бы я жил, если бы не тревожил вечности?

3.

А еще, кроме горцев, живут в Ленджистане староверы, молокане, что ли, какие, при царе Николае I сосланные на Кавказ. И живут они сами собой, без всякой связи с Россией, с горцами, с нефтью, с властью. Теперь только, когда стали их горцы теснить, начали они защиты искать, и то не у власти, а только, чтоб была какая-нибудь власть, про которую знали бы горцы, что запрещает она староверов трогать и что достаточно она сильна, чтоб на запрещении своем настоять.

Стоит в горах деревушка, избы в ней не избы, и сакли не сакли. Снаружи — плоские, иногда каменные. А внутри — печь, скамьи, полотенца, горшки. У Степана борода уставная и говор странный: не то Волга, не то Сибирь, не то Москва. Словно бы он везде понаслушался, ввертывает в речь, что запомнил, и всегда к месту. По паспорту — старик, и внучка с ним, а по виду — все еще может этот мужик, охотник и начетчик. А говорит тихо, еле слышно, и не то, чтобы певуче, а катышком — сыпет и льет, сыпет и льет, глазки, и без того маленькие, прищуривая и в собеседника вонзая. Ноги огромные, косолапые, походка же тихая, легкая. А главный обман, главная хитрость — в руках. Известно, что Степан на деревне едва ли не самый сильный, несмотря на возраст. А узлов на руках нет,

и полные руки, купеческие, белые даже, на животе сложенные, и о духовном сане напоминают, о сладкой лени, об ангельском чине.

Внутри степановой избы еще чудеса. Полочка, на ней книги. А кто в книги заглянет, еще раз подумает: хитрость, обман! Евангелие и Пушкин, Ветхий Завет и Французская Революция, Четьи-Минеи и пук 905 года брошюр. Светская половина, правда, Лизаветина, но не думайте, что старик ее не читал. Читал, только говорить об этом не любит, как не любит спорить, даром что начетчик. Отмахивается, смеется тоненько, но и все лицо сморщив:

— Лизка, внучка, книжки читает. Мне что в них? Кто писал, меня не знал, и я его не знаю. Чего ж читать-то? Мы без книг живем. Что надо, в книжке не напишешь, этого никто не знает. А выдумки — ну их... Это вот малым ребятам интерес: кто писал, не знаю, а я, дурак, читаю. И девкам.

Верить ему нельзя, он своих мыслей не выдает, а когда у Лизаветы появляется новая книжка, надевает огромные в серебряной оправе очки и внимательно ее прочитывает. Теперь это бывает редко.

Другая странность избы—оружие. На стене висят: винтовка солдатская со штыком, берданка старинная, ружье охотничье, револьвер, наган офицерский, пистолет старинный с резьбой, кинжалы. Оружия много во всей деревне, без оружия в этих местах не проживешь. Но здесь — особенный блеск, как у горцев, где оружие — выставка. Охотник Степан тоже известный.

Как-то был разговор о том, можно ли зверей и птиц убивать, лить теплую кровь, — как все у староверов, религиозный разговор. Степан слушал, усмехался и сказал, когда пристали:

— Можешь ты так сделать, чтоб человек не убивал? Войну прекратить можешь? Чтоб черкес меня не убил, когда я в лесу хожу? Нет. Чего ж я зверя жалеть буду? Мне бы человека пожалеть, сколько надо, — и довольно. Я и того еще не могу, и ты не можешь. А уж зверей жалеть убивать, — к человеку жалости не останется. Тоже — где ее взять? Зверей жалеть, — и рыб жалеть. На всех не хватит. Охотнику, может, обязательно убить надо, на звере душу свою отвести, чтоб на человека он не покусился. Я медведя убью, человека не трону. А если я медведя не трону, я у себя в доме бушевать буду, мне сердце тоже сорвать надо.

Все это тихонько, зажмурившись, просыпал — пролил. А с Лизаветой дома еще страннее разговоры вел.

— Ты, дед, начетчик, — приставала она. — А о боге не говоришь. И замечаю я, когда другие говорят, ты молчишь.

— У них время много, чего им мешать, пусть болтают.

— И не споришь ты. Я вижу, врут они, и ты знаешь, что врут, а не споришь.

— А я будто правду знаю? Кто ее знает? Ее никто не знает. Ходит каждый человек со своей неправдой, и хочется ему обязательно ее расска-

зать. Ну и рассказывай, я не мешаю, а сам неправды не люблю, чужая ли своя ли.

— А слушаешь.

— Как же не слушать? Надо человеку говорить, язык есть; надо его и слушать, — уши на это.

— А когда врут, ты еще радуешься, словно знаешь, что ты умней а ума своего показать не хочешь.

— Нет, не знаю я этого, не могу знать. У меня своя неправда.

— А все-таки ты что-то знаешь, дед, и не говоришь. Ну вот, не разберу, веришь ты в бога или нет? Ты мне хоть неправду, а расскажи.

— Надо бы верить. Полагается так.

— Ну, а ты?

— Я его не видал. В книжках написано, — про это, может, выдумали. Тоже человек писал, значит его, того человека, неправда. Бог... нельзя, чтоб на небе хозяина не было, непривычно человеку, ну вот и бог. А небо с землей не встречается. На земле царь — царь Николай I нас сюда выселил. Царь — человек, человек — неправда. А на небе царь — бог. Кто его знает, может, на небе тоже своя неправда, обман. А мне и так от обмана поддаться некуда, я вот без хозяина жить хочу, по мне бы так лучше. Чего еще!..

И не могла никогда Лизавета добиться от него толку. Но мудрено ли, что, им воспитанная, выросла она, в бога не веря, заставила его грамоте ее выучить, вместе с ним на охоту ходила, сама в город ездила книжки покупать и присматриваться. Мудрено ли, что больше деда знала она и с ним спорила?

Всего замечательней был в ней рост. Не то, чтобы была она большая, — нет, деду до плеча не доходила. Но было в ней свойство одно странное: с кем бы рядом ни стояла, с кем бы ни говорила, всегда выше того казалась. Посмотришь со стороны, когда в толпе она или одна: нет, ничего, выше среднего женского роста и только.

Подойдет, заговорит, — выше, обязательно выше каждого. А приглядишься, и свойство это, роста то-есть, на все распространяется. Глаза зеленые, — ну, глаза, как глаза. Взглянешь, — и кажутся глубины необыкновенной и цвета изменчивого, как камень драгоценный вечером: блестит холодно, а пусти на него солнечный луч, уж не блеск будет, а сияние, радуга, свет теплый, как наощупь, и главное — в свете этом — какие-то такие обещания всего, что есть в мире чудесного, что даже дух захватывает. Отвернешься, опять взглянешь, — ничего, глаза, как глаза. Волосы темные, небрежные. И опять догадаться можно, что, если распустить их, так будет волна до земли, заструятся смесью невероятной из шелка и воздуха. Заговорит, — голос, как голос. Низкий, звучный. Прислушаешься, — ровно бы переплеснуло что-то? Раз, другой... И опять — обещания вздрагивающие, надежды, сердце перебой дает. Встряхнешь головой, — и опять ничего, голос, как голос. И так все вместе выходило, что вот девушка, как девушка, ну стройная, ну красивая, а ничего осо-

бенного, — ан нет, тысяча в ней намеков и обещаний неясных, непонятных, рассудком никаким не учтенных, и кажется, — особенная, необыкновенная, какое-то счастье огромное несет, и неизвестно, подарит ли его сполна счастливчику обалделому, или разобьет случайно, сама не подозревая, просто из рук выпустит, как мимоходом поднятый, ненужный камешек: падай, я про тебя и забыла. И тем сильнее было ее очарование, что сама она о нем и не подозревала.

Был у Степана дом, были огород и скотина. Легко управлялись с хозяйством дед и внучка, иногда брали батраков. Степан судил и лечил, властей в этих местах не было, да и к дальним не любили обращаться, доктора ближе губернского города тоже не было, не поехал бы сюда доктор. В город ездили редко, по нескольку человек. Почты не знали. В городе наскоро продавали и покупали, сейчас же возвращались, новостями чужого мира не интересуясь. Выросла Лизавета, перечитала дедовы книжки, объявила:

— В город еду.

Неслыханное было дело — женщине ехать. А Лизавета не сказала даже, зачем поедет. Степан усмехался, отпустил, зная, что не отпустить нельзя, не послушала бы. На вокзале городском спутникам велела Лизавета к определенному поезду собраться и исчезла. Когда собрались к отъезду, пришла Лизавета, а за ней ящик притащили. Вернулись домой, в ящике книги оказались и аптечка. Степан повертел книги, узнал, что в аптечке, объявил всем, что привезла Лизавета пороху и пуль. Лечил раньше Степан травами и разговорами. Велела ему Лизавета пользоваться ею привезенными лекарствами. Только спросил Степан, знает ли она, какое от чего лекарство. Лизавета вынула бумажку, а на бумажке все было обозначено. Степан вздохнул, проглядел бумажку, потрогал порошки и бутылки, сказал:

— Яйца курицу учат. Ну, ладно. Только, смотри, я этого дела не знаю, ты помогай.

Все время волновалась Лизавета, а, услышав эти слова, просияла.

Стала Лизавета часто ездить в город, привозила книги и разные вещи. И уже не допытывалась у деда ответов на вопросы свои, только читала и думала. В городе библиотекарь, как о чуде, о ней рассказывал, дал ей исполу прокламации. И вдруг не велела Лизавета Степану за лечение плату брать. И опять послушался Степан, спросил только:

— Христовым законом хочешь жить?

— Нет человечьим, людским.

И тут огорошил ее Степан вопросом:

— А можешь ты мне социализм объяснить?

Оказалось, что читал втихомолку Степан все лизаветины книги.

Чудная страна — Ленджистан, напущено на нее наваждение, завораживает здесь самый воздух, пролетает, должно быть, Жар-птица и манит человека в неизвестное, к чудесам. Впрочем, может быть, вы думаете, что это — не чудеса?

4.

Потрясающее впечатление производит генерал Лихов сзади. Широченный затылок, выстриженный, в складках. Могучий зад, как у битюга. Широкие плечи. Выразительные окорока коротких ног. Но всего замечательнее то место, где затылок сливается с шеей, потому что шеи, собственно говоря, у генерала нет. Есть нечто квадратное и упрямое, как лоб быка, но притом малинового цвета. Это камень, но камень пульсирующий. Генерал редко поворачивает голову. Он предпочитает повернуться всем корпусом. Но рассердите его (а это очень легко) или напоите его (а это очень трудно), и камень оживет, заиграет: цвет станет ярче, натертые воротником прыщи нальются кровью, толстая кожа слегка затрепещет, и вам почудится даже нечто потустороннее, а именно — призрак рокового кондрашки, не генеральского денщика, забитого и покорного, а общего для всех российских генералов и особ не ниже пятого класса призрака — генеральской смерти от удара.

Спереди генерал Лихов не столь ужасен. Лоб его очень велик и покат, но это не признак ума, это лишь облысение. Говорят же: рыба тухнет с головы, дурак лысеет спереди. Впрочем, генерал гордится прической и заливчиками на своей голове: как у всемилостивейшего государя и императора Николая II, в смерть которого он не верит, считает его царствующим, хотя и неизвестно где скрывающимся. Маленькие, остренькие глазки генерала помимо его воли тщательно прячутся: сколько ни старается он в гневе и в бою выкатить их побольше и погрозней, это ему не удается. Маленький рост пропадает на коне; маленькие глаза не поставишь на ходули. Осужден генерал жить со свинячьими буркалками. Нос у генерала картошкой, губы — толстыми обтрепанными шлепанцами. Не столь богатырская грудь, сколь богатырский живот. И борода лопатой. Спереди генерал похож на треугольник, так ровно идет вперед линия от лба до живота и так же ровно уходит назад другая — от живота до сапог.

Гордость генерала — прекрасный хриплый и лающий бас. Лошади шарахались на плацу, когда он командовал: смирно. Собственно голосом он и карьеру сделал. Глухой старик, сам говоривший шопотом, начальник корпуса, в котором Лихов был ротным командиром, всегда жаловался:

— Приезжаю, и никто ни скомандовать, ни отрапортовать не умеет, чтоб я услышал. Не офицеры, а сопрано из оперетки. Одни дьякона остались в России с голосами.

Лихов его ублажил. Два солдата винтовки от испуга выронили, когда он завопил. А корпусной улыбнулся и прошептал:

— Вот этого и в бою будет слышно. Правда, слов у него не разобрать, но это и не существенно. Солдат должен слышать голос, а не слова.

И отметил Лихова и потащил по чинам.

В разговорах же генерал тих и ласков. Разносы свои начинает вкрадчиво:

— Ты, миляга, мимо генерала прошел и чести не отдал. Ты думаешь, генерал не дурак, не обидится. Верно. Я не дурак, и я не обиделся. Но я и не обрадовался. Нет, не обрадовался. Как же мне обрадоваться, посуди сам, когда я около тебя дьявола вижу, вижу, как он радуется? Ага, говорит дьявол, православный солдат государева российского воинства генералу чести не отдал, буду я его на том свете поджаривать. И на небе ангелы плачут, и вместе с ними на земле божий помазанник, государь император плачет. Как же и мне не заплакать, а? А тебе приятно наши общие слезы видеть?

Голос генерала вздрагивает, затылок краснеет, прыщи наливаются, генерал кричит:

— Молчишь, мерзавец! Морду от начальника воротишь! Я тебе покажу, что такое честь! Я тебе!..

И припечатывает рука генерала нос солдата, — разбери поди на ровном блине лица, где был нос. Ну и называли его начальники не Лихов, а Лихой. Зато солдаты имя ему такое дали: лишенько наше злосчастное.

Когда пришли англичане в губернский город, — исключительно из религиозных побуждений, ибо верили, что земная нефть богом сдана в вечную концессию английским банкирам, — говорили тогда в городе, что привезли они с собой из-за моря дрессированных, как солдат, обезьян: и храбры, и не распропагандируешь. Обезьян не оказалось, зато выплыл неизвестно откуда генерал Лихов, мобилизовал офицеров, от английского майора бегал, как от огня, и уверял, что он, Лихов, непобедим, в доказательство чего преимущественно отстаивал молебны за здравие царской семьи. Англичане уплыли, Лихов с отрядом бежал в неприступные горы.

Адъютант отряда — поручик Хорошаев. У него есть и другие, более тонкие функции, и другое прозвище. Он — следователь, судья и, говорят, палач тех, кого отряд арестовывал. А прозвище его — Непомилуев, в объяснениях ненуждающееся.

Поручик любит визитные карточки. Говорят, когда обследовали кое-какие подвалы в городе, нашли трупы и приколотые к ним карточки: поручик Хорошаев, штурман дальнего плаванья. Конечно, это неправда: поручик вовсе не любит говорить о своих подвигах. Что же касается штурманства, то поручик не плавал даже у берегов. Но было когда-то штурманское училище, куда попадали не за тихие успехи, а за странное поведение и за странные наклонности. В Московии цари бросали кошек с крыш, единственно любопытства ради. Кто знает, может быть, Хорошаев был бы не плохим царем, только в учебных заведениях его не держали вследствие чрезмерного любопытства не только к животным, но и к младшим товарищам. А в науках он успевал и любил огорошить этим других. Собирался он поступить в жандармы, да помешала война, а после войны нашлось место получше — адъютантом у Лихова. Жизнь Хорошаевых не проследишь, — они только выплывают в свое время.

Поручик ростом невелик, но очень строен. Он красив, если угодн На задних партах в классах кадетских училищ сидят такие херувимı румянец во всю щеку, чистые, ясные глаза, аккуратный проборчик, пор дистые руки. Любящий красоту ревизор вызывает такого, чтобы ласкоı пожурить его за лень, но оказывается, херувим знает чуть ли не больш чем надо. Ревизор восторгается и изумляется: отчего же херувим на ка чатке? Ревизор смотрит пристально в чистые глаза, и глаза не мигают, и отчего-то ревизору становится не по себе, и мелькает мысль о чисто. омуте. И, действительно, если бы поинтересовался ревизор и нашел бı доступ к тому, чьим зеркалом полагается быть глазам херувима, узнал бı он много странных вещей, которых не знало и начальство, хотя и мечтало чтобы херувим покинул училище.

Поручик любит и умеет поговорить. Генерал Лихов считает его самы остроумным из всех людей, которых он знал. Генеральские понятия об остроумии, впрочем, не всегда соответствуют общечеловеческим.

Начальник штаба войск генерала Лихова — капитан Злыгостев, худой, высохший человек, с обвислыми усами. Капитан — пепельный какой-то, унылый и всегда одинаковый, везде его со скукой узнаешь, как комок пыли и пуха, который находишь в кармане где-нибудь в Венеции: господи, я ее из России привез, российская она, пыль-то! С ним трудно говорить, не то он так прост, словно и говорить еще не научился, не то есть в словах его тайный смысл, так они темны. Он очень исполнителен, а мысль человеческая, поднимающая его над жизнью, волнующая, радующая и удручающая его, направлена на одно: на капитанский чин. Рассуждает он так:

— Генералы — старики, солдаты не знают, им — тактическое и стратегическое. Молодые прапоры — какие же офицеры? Настоящий русский офицер — капитан. И чин такой, что всех за собой вести должен. Всякому ясно, что капитан — это который судном командует, то-есть начальник высший и самостоятельный. Так богом положено, чтобы чин наш такой смысл имел, и человек это понимает, и к другим чинам уважения не имеет. Но только мало нас было. Кого побили, кого произвели. Оттого и революция была. И жалования капитану мало.

Отряд Лихова маленький, сотни две конных, больше не осталось. Стоит отряд в неприступных горах и живет разбоем. Без пехоты не выгнать этот отряд из гор, а пехоты у красных нет. Лиховцы знают, что дни их сочтены, да терять-то им уже нечего. Но в Персии есть английский отряд; не легко было англичанам расстаться с нефтью, на всякий случай оставили дозор, и английский начальник держит связь с Лиховым через персидскую границу, даже посылает к нему иногда своего лейтенанта.

Утешение генерала — денщик Кондрат, неизвестно как попавший в отряд пехотинец нестроевой. Есть такие мужики, для которых самая трудная наука на свете,—итти в ногу и знать части винтовки. Кондрат так и не постиг этой науки. Он сам не знал, как попал к лиховцам. Генерал взял его к себе в денщики, и ходил Кондрат вечно с разбитым лицом. Три

раза он, при всей своей покорности, от генерала бегал, три раза ловили и пороли нещадно. А был он вовсе не такой уж бесталанный. Не умея ездить верхом, в горы пришел, держась за хвост генеральской лошади, часто шедшей рысью. Правда, сзади ехал Хорошаев с револьвером. Силу Кондрат имел достаточную, чтоб легко таскать по горам пуды генеральского багажа. Когда-то, в деревне, слыл Кондрат за веселого парня. Был ли он слишком забит, замучила ли его солдатская цивилизация, только стал он теперь молчалив, сумрачен и испуган. Носился стрелой, вытягивался столбом, спал плохо и оттого всегда дремал, забывая даже о страхе своем перед генералом. И был всегда разукрашен симметричными кровоподтеками, отчего лицо его, русское и бесцветное, походило порой на трагическую маску арлекина. Дорого обходилась ему лихость генерала. Он-то знал ей цену. Ощупывая свои синяки, он не сомневался в значении слова: лихой.

5.

Раньше было совсем спокойно: спорили о боге, копались в огороде, охотились, свиньи ходили по двору, сытые лошади стучали копытами в стойлах. Горцы никогда не трогали, боялись русских войск, персы не переходили границы для разбоя. Женились без попа, без властей, плодились, слушали стариков, берегли истинную веру в старинных книгах с застежками, в бородах и толкованиях стариков. Степана и Лизавету считали вольнодумцами, но Степан говорил редко, а до споров с девкой не снисходили и прощали им все, как своим. Полагалось думать, что в мире ушедшие от истинного закона люди строят вавилонскую башню, живут в Содоме и Гоморре, что бог карающий башню разрушит, города испепелит, и останется на земле чистая вера, святая вера и люди, ее сохранившие, и к ревнителям и хранителям истинной веры сойдет господь, и будет рай на земле, здесь, в Ленджистане. А пока жили и умирали, избегая всяческого общения с врагами истинной веры, не принимая участия в столпотворении, а значит, и в жизни вне своей деревни. И жили как будто хорошо, во всяком случае, сытно и спокойно.

Но вот пошел слух, что вавилонская башня обрушилась. Старики велели не верить, не ждать хорошего. Лизавета рвалась в город, но другие ездили неохотно. Старики качали головами, не одобряли, что не стало царя, не одобряли Степана, который сказал как-то:

— А что мне царь? Я без него и раньше жил. Привыкли, а может вовсе не нужно нам царя.

Слухи о столпотворении росли. Горцы расхрабрились. Некоторые приезжали, сверкали глазами, говорили о том, что скоро выгонят всех русских, будут жить одни. Стало опасно отходить далеко от деревни — резали. А в городе объявилась власть иностранная, неизвестная, помочь не могла. Шли слухи, что на Кавказе кругом — резня. Вооружились, ждали, в город не ездили. И вот днем как-то показались конные в горах. Сразу увидали — черкесы и не с добром. Все население высыпало на

кровли и к околице. А въехать в деревню трудно, дорога узкая, горами. Черкесы остановились, послали парламентера. Парламентер объявил, чтоб убирались староверы немедленно вон, дома, имущество, скот и оружие оставили бы черкесам, потому что настала черкесская воля, не желают черкесы больше терпеть у себя русских. А если не послушаются староверы, возьмут черкесы деревню с боем и всех вырежут.

Совещались недолго, решили принять бой, потому что уходить некуда, да еще с пустыми руками, голым в горах все равно жизни не уберечь. Так и ответили парламентеру. Осаждали черкесы деревню в первый раз три дня, штурмовали ночью и днем. Бабы, дети и старики стреляли в черкесов, на скорую руку насыпали вал, вырыли окопы. Стрелять все умели, а пехоты и артиллерии у черкесов нет. Ушли черкесы и не без потерь. Возвращались несколько раз, но деревня готовилась уже, на дороге заграждений понаделали, вал увеличили, ставили к околице ночью и днем правильный караул, чтобы не допустить неожиданного нападения. Много раз думали, как бы с какой-нибудь русской властью в сношения войти, помощи вытребовать,—ведь есть же где-нибудь русская власть. Но где ее искать, не знали и боялись, какая еще она будет, власть-то—от властей хорошего тоже ведь не видали. Послать теперь в город кого-нибудь не решались, так что и слухов не было никаких. Так и жили, и одна только Лизавета жалела, что она здесь; казалось ей, что должны строить где-то башню не вавилонскую, а настоящую, вокруг которой не смешались бы языки, а заговорили бы все народы одним, и хотелось ей в той постройке участвовать.

Сидели-сидели, от черкесов отстреливались, а иногда и черкесы прирезывали далеко зашедших, — показались в горах новые всадники, небольшой отряд, человек 25, и по всей видимости — русские. Подпустили; оказалось, действительно, русские. Был это поручик Хорошаев с остатками того, что когда-то называлось гордо особым добровольческим казацко-гусарским полком. Возвращались с разведки, местности еще не знали, заблудились. Хорошаев первым делом узнал, что о гражданской войне здесь понятия не имеют. Он собрал всех жителей на сход, объявил им, что в России правит уже законный государь, там порядок и власть победили немцев. А здесь остались еще бунтовщики, но войска государевы скоро их всех разгонят, хоть и скрываются покамест непобедимые в горах. Обещал им всякие выгоды за послушание и грозил, что вырежет их, если найдется среди них хоть один изменник. Лизавета слушала, не выдержала, крикнула громко:

— Все он врет! Сам он!..

Но осеклась, вспомнив, что она ничего ведь не знает, уличить поручика не может, чувства — не улики. Со схода она ушла, а за нею Степан, слушавший Хорошаева насмешливо и подозрительно, но молча. Хорошаев бровью не моргнул, только лицо Лизаветино запомнил, и понравилось ему ее лицо. Мужики пошептались, решили быстро, что и поверить словам хорошаевским трудно, а и не верить нельзя, кто его знает, но что им все

равно пока, раз не может Хорошаев с черкесами справиться. Русским все же радовались, просили даже погостить, обещали дать провианту. Хорошаев велел выдать ему всех большевиков, какие есть в деревне, думая о Лизавете. Мужики пожали плечами, ответили:

— Слова такого мы не слыхали, чего оно обозначает, не знаем. Суда твоего и всякого не признаем, суд у нас свой, и своих мы не выдадим.

Попробовал Хорошаев требовать, чтоб выдали ему оружие, обзывал неслыханным словом: реквизиция. Рассмеялись в лицо ему: оружие было самым дорогим, с чем расстаться никак нельзя, иначе какая же от черкесов защита. Поглядел Хорошаев, — все с винтовками, и много их, и здоровые, а своих — горсть, даже пограбить нельзя. О боге заговорил, крестился, добровольцев звал, — отвечали холодно:

— Вера твоя неправильная, идолам ты молишься, иконами их называешь. Христос не тому учил. Мы не воюем, кровь людскую не проливаем. От черкесов защищаемся, а воевать не пойдем.

Так пришлось и Хорошаеву узнать, как это бывает, когда люди говорят на разных языках. Уходя со схода, разузнал он, где живет Лизавета, пошел к ней в избу, взяв с собой еще двоих из отряда.

— Не выгонишь, красавица?

Лизавета промолчала, за нее ответил Степан, внушительно и сурово, без искорок в глазах:

— Гостю самый последний черкес рад. Садитесь.

Хорошаев не смутился, с улыбкой подошел к книгам, повертел их, поглядел на Лизавету. Степан сказал сумрачно:

— Говорил я, убрать бы книжки от греха.

Лизавета вспыхнула, кинула резко:

— Нет, будут лежать, и никто их не тронет.

Увидал Хорошаев вдруг, что Лизавета высокая стала, выше его, вспомнил мечтательно, как вкусен сок молодой березы, если ее ножом надрезать, кору испортить. С той же улыбкой сказал:

— Ты бы вышел, старик, мы бы тут поговорили с барышней твоей, о книжках этих хотя бы, оба ведь мы образованные.

Степан ответил серьезно, но тут уж блеснули искорки в глазах:

— Зачем же уходить? Я послушаю, любопытно образованных послушать.

Два добровольца смотрели во все глаза на Хорошаева,—им не впервой было присутствовать и помогать начальнику в таких делах. Хорошаев подошел к Лизавете и уже без улыбки, слегка побледнев, процедил:

— Так ты думаешь, что я врал на сходе? Ты даже крикнула. Ты, значит, за товарищей?

— Значит, есть товарищи, не вся еще Россия ваша?

— А ты будто не знала?

— Не тыкайте. Сама знаю, за кого я. Вам не скажу.

— А знаешь ты, что я с товарищами делаю? Знаешь ты...

Он схватил ее за руку. Степан хотел подойти, добровольцы, не спускавшие с него глаз, схватили его. Но они плохо рассчитали его силу Он стряхнул их, подошел к Хорошаеву и низко поклонился.

— Прости, ваше благородие.

— Что?

— Выдь вон, будь такой добрый.

— Что-о?

— А вот это самое. А то мужиков позову.

Добровольцы кинулись опять на Степана, но, пока он возился с ними, Лизавета вырвалась от Хорошаева и закричала. Народ сейчас же набрался в дом. Степан опять поклонился Хорошаеву и сказал:

— Прощай, ваше благородие. Не сговориться нам с тобой. Провиант тебе готов, мы голодным не отказываем. Ехать тебе пора.

Мужики стояли тесной и сумрачной стеной. И Хорошаев уехал.

6.

Ночи в Ленджистане чудесные. Воздух теплый, плотный и недвижимый. В полной тишине, секундами такой полной, что слышно почти, как падают звезды, изредка воют шакалы, иногда доносится легкий шорох, далекий гул: это море бьет в берег. Горы прислушиваются, а деревья спят. Тени проходят так, будто горы поворачиваются и вздыхают. Земля кормит все, что цветет и растет, под ногами, в толще, сочатся и наливаются капли жизни. Может быть, все это ждет пролета Жар-птицы и готовится встретить ее.

Так воспринимал эту ночь Юмашев. В притихшем, днем в непереносимую жару спавшем лагере теперь никто не спал. И уже светлели звезды и таяли, разжижались тени. Далеко: впереди, в караулах, в сторожевых охранениях шептались красноармейцы, — о том, о чем шепчутся все солдаты: о городах, о войнах и женщинах, — о том, о чем шептались всегда солдаты русские: о деревне, — о том, о чем не шепчутся никакие другие солдаты в мире открыто: о революции.

Которую ночь уже проводил Юмашев без сна, то лежа под розовым кустом в сторожевом охранении, то разговаривая с Домашневым. Также все не знал он, зачем он здесь и зачем пришли сюда красноармейцы. Домашнев рассказывал ему о тундре и о Париже, о годе, проведенном в седле, о развалинах, оставленных на пути. И не мог понять Юмашев, для чего был пройден этот путь, если не были красноармейцы конквистадорами, русскими испанцами, или гонимыми властью вольнолюбцами.

Под утро, беспокойный, проходил Неопиханов, виновато улыбаясь, каждый раз говорил:

— Не сидится. Поглядеть пойти, что на постах.

Уходил к караулам, строго будил спящих, а шел потому, что боялся найти часового убитым, не дисциплины ради. И также не сиделось Тюде-

лекову, только Тюделеков не скрывал беспокойства и ругался беспрерывно. И они были непонятны Юмашеву, хоть и считали его уже своим.

Пошли к постам и в эту ночь. Вставало уже солнце, море шумело, как машина, поднимающая солнце, горы выступили резко, словно бы глаза, как бинокль, поставило раннее утро на надлежащее деление. Уже шли по земле сушь и жара. Командиры подошли к посту, под солнцем яростно храпели три красноармейца. Растолкали их, спросили, где же четвертый. Оказалось, в темноте еще он отошел в сторону. Послали посмотреть; Неопиханов не выдержал, побежал сам за посыльным. Добежал до кустов, остановился, крикнул. На крик подбежали все. В зелени, под розовым кустом, лежал раздетый красноармеец, одежда разбросана, сапог нет и винтовки нет, вся голова залита кровью, и неестественно высунут кровавый язык. Неопиханов подошел, взял голову в руки, и вывалился отрезанный язык, отпали уши и нос...

Помолчали. Юмашев не мог отвести глаз от кровавых пятен, была кровь на зелени ярка и как-то особенно драгоценна. Наконец, тихо выговорил Тюделеков:

— Мало им убить, окорнать еще надо человека. Персючки прокля-

Помолчал еще, потом заявил Домашневу очень решительно:

— Как хотите, а я требую, чтоб это было наказано. Надо страху нагнать. И... да чего там! Мстить хочу, я один пойду персюков резать, если вы не позволите. Нельзя людей на съедение отдавать; хищных тварей истребляют; мне своя шкура тоже дорога, не желаю с вырезанным языком валяться, не желаю красноармейцев зверствам подвергать, от командования откажусь, если сентиментальничать будете! Сегодня же громить их, сейчас же!

Неопиханов ругал часовых шопотом, стесняясь мертвеца. Те чувствовали вину и молчали. На слова Тюделекова Неопиханов обернулся к Домашневу и нахмурился.

— Надо наказать. Чего уж тут... — надо!

Домашнев сдвинул брови, чуть-чуть дрожащей рукой обдернул гимнастерку.

— Да ведь если б знать, кто это...

Но Тюделеков уже подхватил криком:

— Плевать мне, кто это! Все они одинаковы, все сволочи и звери! Кто ближе, тех и уничтожить! И бояться нечего, нечего миндальничать; расстрелять в упор аул, и крышка!

Домашнев посмотрел на него пристально и строго.

— Расстрелять без предупреждения я вам не позволю, а выступить согласен. Идем.

Вернулись в лагерь, отдали приказ о немедленном выступлении. Нашли по карте аул, что поближе, еще на заре выступили. Ехали вразброд номера, рассаживались на орудии, курили. Тюделеков, забыв уже свое возбуждение и не думая о близкой мести, стрелял фазанов и подзы-

вал громовым голосом Сисенкова, чтоб отдать убитую дичь ему, ругался составляя вечернее меню. За версту до аула неспешно рассыпались, окружили аул тонким кавалерийским кольцом. Два горных орудия вывезл на открытое место, чтобы бить при случае прямой наводкой. Команди экспедиции, Неопиханов, был при орудиях. Видно было все, что делаетс в ауле. Там уже началась суета и беготня. Домашнев осматривал свой револьвер. Тюделеков сказал ему:

— Чего вы дурака валяете, собой рискуете ради благородства, персюкам непонятного? Жаль, что я над вами не властен, я бы вам запретил эти фортеля устраивать.

— И сами бы на моем месте делали то же.

— Никогда! С персюками? Никогда!

Неопиханов, видимо безнадежно, не веря в успех, а может быть, и не желая его, гордясь своим военкомом, протянул:

— Ехать-то надо, да мог бы не сам, послать кого...

Но Домашнев уже поскакал. Он всегда вел переговоры сам, и был такой случай, когда горцы хотели схватить его; пришлось ему тогда выхватить револьвер и ускакать под выстрелами. Дело обошлось: горцы согласились выдать оружие, стали сносить его на площадь аула. Кавалерия сомкнулась вокруг аула, часть отряда вошла в него, поставили часовых на площади, начали обыск. Как ни злился Тюделеков, но так как ничего не нашли, кроме спрятанного одного пулемета, за который хозяина сакли расстреляли на месте, а остальные жители были явно покорны, то Домашнев решил мирно уйти, взяв заложников. Тюделеков клялся, что зарезали часового жители именно этого аула, что это по лицам их видно, что это следует из их покорности, что знает кошка, чье мясо съела. Домашнев разрушать аул не позволил, и Неопиханов этого не хотел, сказав:

— Ну, чего... Все громить да громить. Будет. Тоже их так не отучишь в одиночку резать, только обозлишь. А скопом напасть все одно они боятся: силу нашу знают.

Отряд ехал обратно. И опять Юмашев не мог постичь простоты этой не то войны, не то какой-то экспедиции.

Он подъехал к Домашневу.

— Ты знаешь, что Тюделеков — студент?

— Ну?

— И он любит слушать рост семян и цветение земли. А вы заставили его ненавидеть и убивать, превратили в завоевателя и насильника.

— Положим. Но ты о чем? «Один враждует он. Зачем?»

— Хотя бы. Что важней: выращивать любимую капусту или рубить, как эту капусту, головы персюков?

— Как когда.

— За что расстреляли этого горца? Кровь за кровь? Ведь его этому учили, а не нас.

Домашнев сам часто думал о том, не слишком ли уж многое здесь жестоко и просто. Но одинокий затерянный отряд шел с боем через весь

Кавказ и слишком ненавидел тех, кто отрезал конечности часовым и отставшим. Домашнев знал, что трудно быть не жестоким, не рискуя собой. А в сентиментальности упрекал его Тюделеков зря. Но он понимал и Юмашева.

— Жестокость? Да. А знаешь что? Когда я ходил тайком агитировать на завод, был там один рабочий, казался мне самым замечательным человеком, какого я видел. Дурак я был тогда, мальчишка. Гордился, что у меня неразрывная дружба с настоящим рабочим. Арестовали меня на допросе, думаю: только бы не выдать кого неосторожностью, а особенно его. А жандарм мне говорит: напрасно вы отказываетесь отвечать, мы все знаем от... и называет имя вот этого, с позволения сказать, товарища. Лжете!—кричу. Улыбнулся, вызвал того, доказал; тот усмехается. За сто рублей он нас всех продал. Ну, а потом жандарм мне говорит: признайтесь по добру по здорову, а то хуже будет, у вас с провокатором такие связи были, что нам легко доказать, что и вы — провокатор. Понимаешь? Ступайте, говорит, подумайте и переходите к нам добровольно. Я ночью пытался вену себе вскрыть. Не знаю, почему я вспомнил сейчас об этом. Потом выяснилось, это меня запугивали. Выжить должен не человек, потому что он рано или поздно все равно умрет, а класс. Как это ясно, если понять...

Неопиханов подъехал к Домашневу.

— Заложники говорят, тут деревня русская. Вот чудно! Возьмем человек двадцать и заедем, а?

7.

Отъехали в сторону от своих, и вот она — деревня, в горах и в лесу спряталась. Ехали открыто, не русских же бояться, а белые не могут здесь быть, они далеко отсюда. На дороге — заграждения, сразу поняли— от горцев. У деревни — вал, а за валом — люди с винтовками.

— Кто такие будете? Русские, что ль?

— Русские.

— Ну, въезжайте.

Въехали. По деревне едучи, успел обо всем расспросить Домашнев, велел собрать сход. Сбежалось население, друг у друга спрашивали:

— Русские? Эти опять царские? Не-ет? Кто же такие? Красные?

Говорил Домашнев речь, для староверов — непонятную и удивительную еще больше, чем хорошаевская, — о том, что в России новая власть, что взяли ее, власть-то, рабочие и крестьяне, и сами правят, что хотят эту власть генералы уничтожить. Ухмылялись староверы, — чудно им было, и все жили хорошо и сообща, генералов покамест в глаза не видали, а вот горцы — от них бы защиты. Обещал Домашнев и от горцев защиту, звал жить дружно, помочь красному отряду, рассказывал о России. И неожиданно сказали старики военкому:

— Что надо вам—говори, дадим. Только воевать не пойдем, не воюе мы, и оружия не дадим — не прожить без него. И уж гостем будь, не н брезгуй.

Посовещались еще, прибавили еще неожиданней:

— И этих, генералов, к себе не пустим. А придут, переловим тебе доставим, делай с ними, что хошь, — нам они не нужны.

И, видно, радовались, что свои, настоящие свои, пришли, — видно поняли, что̀ это за новая власть.

Красноармейцы разошлись по деревне, зазывали их в каждую избу Неопиханов говорил со стариками, а Домашнева пригласил к себе Степан Домашнев вошел к нему в избу, сказал:

— Богато живете. Если б все так жили, не надо было бы революции делать, а?

— А почем ты знаешь, как сказать можешь: надо, не надо? Ты ее один, что ли, делал?

— Ишь ты! Ты, значит, за революцию, старик?

— Да уж да ли, нет ли, слов немецких я не знаю. А, видишь, вышло так, и все тут.

— Хитришь, старик. Мы вот бога отменили, а как ты, старовер, без бога теперь?

— Чего ж? С царем жили, и, как отменили его, живем. А бога-то мы и вовсе не знали; без него и прежде жили и дальше проживем. Это все неправда: царь, бог, слова твои немецкие...

Посмотрел Домашнев в угол, видит, — сидит на лавке девушка; стал приглядываться, — кто бы такая? Искоса глядел, не спросил, помнил: могут дурно любопытство истолковать. Она встала, подошла, руку протянула, назвалась:

— Лизавета, Степанова внучка.

Как будто показалось Домашневу, выше его она. Обдернул гимнастерку, а чорт, не брился давно. Рассмеялся сейчас же: подумаешь, в деревне-то, у чорта на рогах. А рука вздрогнула, удивился, отчего бы это. а за одной и другая дернулась, и холодок по спине пробежал. Поднял голову решительно, чтоб прекратить эту странную дрожь, выпрямился, — ну, конечно, она не выше его; просто девушка, как девушка, и только. Спокойно встретил глазами ее глаза. И в глазах нет ничего. Только вспомнил, как в Париже с Эйфелевой башни броситься вниз тянуло,—притяжение земное, что ли, это называется. Пришлось тогда глаза закрыть, от решетки отойти с усилием, потому что ощущение у тела было слишком двойственное: тяжести невероятной, словно весь свинцом налился, и сил никаких нет, обвисли мускулы, и сердце камнем в груди лежит, — и легкости такой, что самым пустяшным движением перекинулся бы через перила и поплыл бы над городом. Но, ведь, здесь же бросаться некуда, голова не кружится, малярией Домашнев не болен и солнечного удара у него не было. Почему же отступило все, как при ярком солнце: и изба, и Степан, и звуки даже—в тень? Отвел, наконец, глаза и тоже ей представился:

— Комиссар Красной армии, Домашнев.

— Знаю, — ответила, — и разницу вижу.

— Какую? С кем?

— А были тут белые, так от них прятаться надо, а вы ничего.

Домашнев густо покраснел, как пойманный. Чтоб скрыть волнение, он спросил так же, как Хорошаев:

— Кто это книги читает?

— А хоть бы и я?

— Ну, и...

— Что? Понимаю ли? Если и не понимаю, все равно, объяснить некому.

Почему-то была Лизавета раздражена и думала все время: «уедет, уедет», — а что, собственно, было ей в нем?

— Хотите, помогу?

— Через час уедете, не успеть.

— Может быть, еще приеду.

— Ну, да... не для объяснений приедете. Да и сами вы...

Домашнев был рад, что принимала его Лизавета за своего.

— Все-таки я много читал, за границей был, в гимназии, наконец...

Теперь поняла Лизавета, чем она раздражена,— вернее, показалось ей, что поняла. За простушку принимает, за ничего не знающую, да и в самом деле, что̀ она понимает, в деревне столько времени сидя, людей не встречая, без сведений, без книг. Кажется ей... так мало ли что́ кажется! А он вот какой: вольный, образованный. Только не могла понять, почему невозможно дерзкой с ним быть, оборвать его, как Хорошаева, и почему человек этот залетный, неприкрепленный, стал вдруг нужен ей даже больше мечты собственной о какой-то жизни иной. Или так уж вся целиком билась в нем сама эта жизнь?

Стояли у стола, крепился Домашнев — не заглядывать в глаза, не видеть больше обещаний тайных, не слушать голоса ее, а слова одни, — а не хотел стерпеть, чтоб выше его казалась она, тянулся, — и не вытерпел, опять заглянул в глаза Лизаветины, заслушался голоса, и странно было ему, что не в Москве и не в Париже забилось сердце, и не хотел он думать, что бы такое это обозначало, а уйти, хоть и следовало бы, может быть, в деревне показаться, не мог, к месту прирос, и шло будто меж них единоборство: кто же выше окажется?

Говорил Домашнев, когда после первых слов в руки себя взял, рассказывал спутанно о жизни своей, о России, о революции. Перебивала Лизавета, выспрашивала, слушая азы политграмоты, как роман, историю побед новой власти, как политграмоту, и жизнь Домашнева, как рассказ о родственнике, почти о себе. И когда вырвалось у нее:

— Как хотела я...

Открыл уже Домашнев рот, чтоб позвать ее с собой, и остановился: для чего, на что позвать, — и не мог почему-то выговорить то, что сказал бы всякой такой чужой девушке.

Вернулся Степан, уходивший к старикам, сказал:

— Командир у вас тут хороший один.

— Неопиханов? Чем же это?

— Говорит хотя много, но не зря. Тоже он не со своей неправдой носится.

— А что же?

— Сомневается. И других слушает. Не словами орудовает, а очень ему хочется, чтоб хорошо на земле было. Значит, сердце есть. Усумнился, — не проведешь его на словах-то. Сам до всего дойдет.

Долго еще говорил Домашнев с Лизаветой и со Степаном, объяснял им жизнь и книги. Разошелся, говорил хорошо, как только мог, будто бы в единоборстве с Лизаветой в чем-то состязался. И остались оба непобежденными, не перетянул ни один, одинакового роста были как будто, и не хотел один перед другим склониться.

Уезжая, Домашнев спросил:

— Я приеду, если вы хотите...

(Склонился на секунду).

— Хочу. Но только...

— Я не поручик.

На этот раз вспыхнула она.

— Не то. Я никого не боюсь. Но чтоб вам зря время не тратить...

— Это уж мое дело, зря или нет.

— Только вот чтó: в игрушки я не играю.

— Ну, и что же?

И тогда склонилась она.

— Ну, и... приезжайте.

8.

На плоской кровле сакли штаба генерал вздыхал, чесал затылок и шумно фыркал. Кондрат поставил самовар. Штаб ждал приезда английского лейтенанта, о чем торжественно уведомил посланец перс. Поручик Хорошаев читал, поглядывал на часы и, улыбаясь — сторонящаяся людей улыбка не покидала его никогда, — сказал:

— А что, ваше превосходительство, если доблестного лейтенанта королевских войск, уважаемого союзника нашего и хозяина, волки съели?

Генерал повернулся к поручику всем туловищем и посмотрел на него недоумевающе.

— Ну, скажем, не волки, а персы. Человек не собака, не всегда лижет бьющую руку. Поймали и все выдающиеся части тела отрезали, как-то: руки, ноги, уши и прочее разное...

Генерал широко улыбнулся.

— Я вижу, вам, ваше превосходительство, идея моя не слишком не по сердцу?

Но генерал уже нахмурился.

— Потрудитесь, поручик, не выражать непатриотических чувств. Мой отряд верен союзникам.

— Осмеливаюсь доложить, ваше превосходительство, я тоже преданнейший патриот и союзник, потому что надеюсь, как и вы, с английской помощью удрать из родного отечества.

Капитан Злыгостев после молчания протянул:

— Англичане лягушек едят...

Поручик быстро и вежливо возразил:

— Это французы, капитан. И это не годится уже для агитации, — старо. Англичане глотают виски и заедают своими союзниками. Вот так: а-ам! И готово. Был отряд, и нет его. А шелуху кидают красным. И еще англичане пьют нефть, очень обожают.

Злыгостев вздохнул. Он не понимал шуток и удивлялся охоте поручика говорить глупости. Генерал оглядел собеседников и сказал вкрадчиво:

— По одной, а?

— На одной мы, выше превосходительство, не удержимся, а англичане, как вам известно, сивушному духу предпочитают нефтяной. Странный вкус, но что же поделаешь?

— Да еще приедет ли он?

Кондрат принес водку. Выпили по одной. Генерал заискивающе поглядел на поручика и налил по второй. Злыгостев, снова увидав перед собой полную рюмку, не раздумывая, сейчас же ее опрокинул.

— Решительно пьете, капитан. Как будто с неприятелем расправляетесь.

Злыгостев захлопал глазами, потом уставился на поручика, медленно краснея.

— Вы что, и меня проглотить, как водку, собираетесь?

Злыгостев зашевелил губами, пожевал и заговорил, как будто разжевывая жесткий кусок:

— Я — капитан. Я — настоящий русской армии офицер. Я... да. А вы, вы — прапор, не более того, да. Я — капитан, да. Капитан, это чин. Это такой чин, который... да.

— Совершенно верно. Это — чин. Как и поручик.

— Нет, не как и,—да. Не как и. Нет.

Генерал, украдкой опрокинув свою рюмку, вмешался с упреком и с горечью:

— Да будет вам, господа! Где сидим-то! Как Ноев ковчег, последние праведники на горе после потопа. Час какой! А вы — капитан, чин! Чего уж там?

Вбежал Кондрат и крикнул:

— Англичанин, ваше превосходительство!

Генерал побежал встречать. Поручик быстро убрал водку и разложил на столе карту.

Англичанин был, как все англичане, худ, высок, белобров, безукоризненно одет. Был он очень молод, по всей видимости, подражал какому-нибудь своему начальнику, курил египетские папиросы, никого не угощая, прилично говорил по-русски, со штабом обращался презрительно и покровительственно, чувствуя себя той аристократической козырной двойкой, которая бьет обыкновенных плебейских тузов и королей.

Он осведомился, что нового. Ничего нового не было. Красные в горы не поднимались за неимением пехоты. На-днях к ним пришло, правда, пополнение, но, по свидетельству местных осведомителей, весьма небольшое. Все же держаться долго невозможно вследствие малочисленности и отрезанности. Люди норовят бежать в Персию, а то и к красным. Англичанин выслушал, кивнул головой, скинул ногтем мизинца пухлый пепел с папиросы.

— Вот что́, господа. Прежде, чем мы сможем взять вас с собой или обеспечить вам прием в Персии, вы должны выполнить одно дело. Необходимо найти людей, которые бы за деньги или из ненависти к большевикам, лучше всего — по обеим этим причинам, это вернее, подожгли нефтяные источники, как тот фонтан, который горит под городом.

Штаб был ошеломлен. Но поручик вкрадчиво и вежливо, как бы невзначай, сказал:

— Простите, господин лейтенант, а вам известно, что нефть, о которой вы упомянули, в некотором роде — русская нефть?

Лейтенант поднял брови, вынул папиросу изо рта и передернул плечами.

— Это меня не касается. Это дело будущих переговоров с вашим законным правительством. То, что я сказал,— боевое поручение моего командира, которому и вы подчиняетесь, как старшему. Если вам угодно остаться нашими союзниками и быть взятыми...

Тяжело вздохнув, генерал перебил его:

— Так точно, угодно. Но как выполнить ваше предложение?

Лейтенант закурил вторую папиросу.

— Нам известно, что красные в нефтяном районе усиленно проверяют документы. Вы захватите кого-нибудь в плен, чтобы воспользоваться бумагами. Деньги я привез.

— Какие?

— Русские бумажки. А какие же еще ходят на вашей территории?

Лейтенант великолепно изумлялся. Генерал пыхтел, сердился, но молчал. Поручик, все-таки, не смог удержаться.

— Конечно, господин лейтенант, понятие государства составляется из народа, власти и территории. К сожалению, в том, что у нас осталось от русского государства, понятие территории отсутствует, а народ сведен к сотне сабель Вследствие этого деньги имеют у нас только потенциальную ценность...

Лейтенант остановил его.

— Это очень интересно, но я не юрист. Итак, вы найдете человека, или еще лучше — нескольких...

— Простите, что я перебиваю вас каждый раз. Где мы их возьмем?

— Ваш отряд. Разве у вас нет преданных людей?

— Не думаю, чтоб хоть один из них захотел взорвать себя вместе с нефтью.

Лейтенант смешался на минуту, но сейчас же нашелся.

— Но от вашего государства у вас осталась, как вы сами сказали,— власть. Прикажите. Возьмите пленных, наконец, заставьте их...

Когда разговор был окончен, лейтенант, потянувшись, попросил дать ему возможность принять ванну. Услыхав, что ванны нет, он изумился, должно быть, издеваясь:

— Как же вы живете? Наш генерал всегда путешествует с ванной.

Он ушел. Лихов, удостоверившись, что он не услышит, воскликнул:

— Путешествует! Его генерал путешествует! С ванной путешествует! А? По своей воле я сюда — пропутешествовал? Мальчишка сопливый!

9.

Назад в лагерь ехали медленно. Неопиханов долго говорил Домашневу о староверах.

Домашнев не слушал Неопиханова, но если б спросить его, о чем он думает, он не знал бы, что ответить. Потому что мыслей у него не было. Он слушал, но слушал куда-то внутрь, как неправильными толчками, словно медлительный художник на полотно, наносила память неразборчивые штрихи на замирающее сердце. Сердце покорно принимало эти штрихи, как трепещущее полотно, не сопротивляясь, не зная, что готовят они ему, чей чужой лик отпечатают в нем навеки. Может быть, Домашнев догадался бы, если бы подумал, чей это лик, но он не хотел думать, он отпустил свое сердце, как поводья, не ожидая коварства, надеясь, что лошадь и сердце выведут его сами.

Неопиханов смотрел на Домашнева и заметил его растерянную улыбку.

— Чудак! Да ты что молчишь, военком?

— А?

— Бабу тебе надо, вот чтó. Замечтался. Больше году монахом живешь. Нельзя так, молод еще.

Домашнев покраснел и подобрал уздечку.

— Ерунда! Ты что говорил-то? Я так... вспомнил кое-что.

— Много баб ты сразу увидал, вот что вспомнил.

Домашнев рассердился.

— Да что ты пристал с бабами! Другого разговору нет?

— Отчего ж нет? Только ты другого разговору не слушаешь.

— Ну тебя!..

И Домашнев поскакал вперед. Неопиханов тихо рассмеялся и свистнул, он заметил, что просидел Домашнев в Степановой избе слишком долго, даже на деревне не показался, — и Лизавету Неопиханов тоже видел. Он покачал головой и сказал себе под нос:

— Молод. Чудной народ. Чего бы попросту?

В лагере их встретили вопросами. Но Домашнев ушел к себе в палатку, сел там, уставился в пол и чему-то улыбался.

Вошел Тюделеков, довольный и смеющийся

— Товарищ военком! Примите рапорт. В ауле найдено некоторое количество недурного вина, оное реквизировано и поступило в мое распоряжение. Я распорядился сообща с товарищем Неопихановым выдать по бутылке на человека, остатки же передать комсоставу. Сим вы приглашаетесь принять участие в вечерней трапезе с подачей крепких напитков.

— Почему мне сразу не сказали, что нашли вино?

— Ищите дураков! Вы бы реквизировать не позволили. Но вы не волнуйтесь. Персюки же — мусульмане, им все равно закон запрещает; они смутились и не протестовали.

— Без меня вы не имели права!

— Будет дурака-то валять! Под суд, что ли, отдадите? Не выливать же теперь. И все равно красноармейцам уже выдано.

— Ну, ладно.

Тюделеков ушел. Смутно улыбаясь, Домашнев пошел на урок. Кроме политграмоты, он занимался с красноармейцами и простой, обыкновенной грамотой. На всех его уроках присутствовал Неопиханов, сидел, как рядовой ученик, среди остальных.

Лежа и сидя на земле, красноармейцы решали задачу. Неопиханов виновато улыбался: плохо держался карандаш в его заскорузлой руке, и слишком абстрактными были купцы и бассейны. Решая, сколько какого сукна и почем купил купец, он не мог не подумать: «Эх, красноармеев моих этим бы сукном одеть!».

Домашнев подошел к нему, помог, но Неопиханов не мог удержаться и сообщил ему свою мысль. Домашневу стало стыдно: вот Неопиханов ни на миг не забывает о том, что для него — жизнь; а он, Домашнев, в сердце выращивает что-то чужое и неизвестное. Домашнев встряхнулся, собрал силы, и особенно тщательно, напрягая память и словарь, стал объяснять задачу. Но казалось ему, что Неопиханов его понимает, присматривается и смеется. А сквозь стыд и напряжение все-таки билось сердце тем чуждым и неизвестным, и что-то мешало назвать и прогнать незнакомое чувство.

Вечером собрались перед Тюделековской палаткой. Слегка навеселе был весь лагерь, разговоры и песни были громче, пульс лагеря бился быстрее. Веселое сборище пришедших на прогулку, — вот чем был в эту ночь лагерь. Враги давно уж не осмеливались напасть, и уже наступало то время, когда придется искать их, чтоб выкурить, как пчел. А ночь текла, как все в Ленджистане, — зачарованная.

Подвыпивший Тюделеков беспричинно смеялся, кричал:

— Сисенков, сукин сын! Ты почему с комсоставом пьешь, какое имеешь отношение?

— Я, товарищ Тюделеков, тоже комсостав. Я — главный повар, над всеми кашеварами командир.

Юмашев снял пенснэ и гимнастерку, худой, сутулый, с выплывшими глазами, раскачивался, обхватив колено, большой неуклюжей птицей сидел на земле, говорил Домашневу:

— Как будто перевернулась жизнь. Как будто землетрясение было, разверзлась и проглотила меня земля, пронесся я через всю ее толщу, и выкинуло меня сюда. Ночь — день, а день — ночь. Тигры, пальмы, виноград. Малярия. А воздух — необыкновенный! Признайся, ты тоже чего-то ждешь, каких-то чудес небывалых,—здесь нельзя не верить в чудеса. Ты погоди, ты не говори мне, что все просто. Ты прислушайся, ты пойми: не надо, чтоб просто было, здесь не помиришься сейчас с простотой, здесь надо, чтоб сейчас, сейчас же выбор предложили: полмира мне или чудо и гибель, и я выберу чудо, я иначе не могу и не должен, и я поэтому погибну.

И не улыбку рождали слова Юмашева, а хотелось Домашневу поверить в них, ждать самому чуда, и сердце все тверже отстукивало дневную встречу. Неопиханов, с восторженной улыбкой, тянулся со стаканом.

— Военком, военком ты мой милый! Товарищ! Друг ты мой боевой и друг жизни!

Торчала пучком его борода, расстрепалась, светились замершие жучки глаз в обвисших кустиках бровей, всю нежность выпевал высокий его голос.

— Смерть видали с тобой! Год душа в душу жили, несмотря что́ в бассейнах не понимаю! Военком! Еще что увидим с тобой! Всему миру свободу покажем, верно? Вместе пойдем!

Тюделеков кричал, не слыша своего крика:

— А как же я, товарищи, проглядел, как здесь хорошо? А еще ботаник! Прямо — чортова здесь красота у нас! Или я выпил, что ли?

Сердце Домашнева билось все сильнее, последние штрихи создавало оно. Словно переполненный собственным сердцем, которое билось уже у горла, в висках и в кончиках пальцев, Домашнев вскочил и отошел в сторону, в темноту. Море шуршало и трещали цикады, небо в звездах висело огромным куполом тропического сада. Он закрыл глаза и увидал — Лизавету в первый раз за день так ярко, будто стояла она рядом, и показалось ему, что краем неба с медлительностью вечности плывет большая птица. Жар-птица с лицом Лизаветы.

10.

Генерал и поручик не спали. Сонный, ушибаясь об углы и тыкаясь в стены, Кондрат ставил самовар, открывал коробки консервов. Генерал несколько раз, когда Кондрат подвертывался ему под руку, равнодушно

и неожиданно тыкал денщика кулаком в лицо. Кондрат мотал головой, словно очухиваясь, вытирал лицо и снова тыкался и метался, и замирал, сонный, в углу. На столе стояла водка. Генерал, иногда опасливо оглядываясь на поручика, пил, морщился и вздыхал:

— Судьба! Судьба-с! Не индейка даже, а дохлая, с позволения сказать, крыса.

— Вы о чем, ваше превосходительство?

— Генерал я или нет? Ответьте мне, поручик, если вы, действительно, поручик, я — генерал?

— Генерал, ваше превосходительство. Несколько выпивший, но генерал, хотя и без армии. Нас отменили временно, ваше превосходительство.

— Кто? Поручик, не сводите меня с ума!

— Они. Красные. Нам в России места нет. Через месяц мы с вами, в лучшем случае, будем грузчиками в персидском порту, и то, если того англичане захотят. Одни ведь — не предание. А останемся здесь, как мы есть, так нас за милую душу расстреляют, как вашего царя.

— Поручик! Говорите хоть об императоре с уважением!

— Я его при жизни не уважал за то, что дурак был.

Генерал вскочил и захрипел:

— Молчать! Я вас расстреляю, поручик, за такие слова!

Поручик холодно улыбнулся.

— Не расстреляете. Без меня вы пропадете.

— Пусть пропаду! Не позволю!..

Генерал хрипел и топал ногами. Поручик лениво встал и усадил его.

— Ну, чего там! Кому ваша гибель нужна? Садитесь, ваше превосходительство. Что вы, собственно, хотели сказать?

Генерал отдышался, отвел глаза и старчески, почти всхлипывая, пробубнил:

— Генерал... Ваше превосходительство... Командует ротой разбойников и думает, как бы для англичанина, для мальчишки сопливого языка достать, чтоб доложил и от смерти спас, с собой увез. Собственный адъютант меня презирает! Да, да, не возражайте, я вас знаю, что вы думаете. И вы правы. Вы правы. Загнали в горы, к чорту на рога, насмешка какая!.. Предание... Все — предание... Не было генерала Лихова, никогда не было, царя тоже не было, ничего не было. Все — предание, все — бывшее. А настоящего нет. И нас нет. Это только кажется, что я генерал, а я — фикция.

Поручик невесело усмехнулся.

— Это, ваше превосходительство, или азиатская философия, или российские зеленые чортики, то-есть горячка от пьянства.

— Что делать? Боже мой, что же делать?

— Ждать, что хуже будет.

— Вы утешите!

— Я, ваше превосходительство, всегда правде в глаза смотрю. А догадаться, что будет, не очень-то трудно.

— Так чего же вы людей убивали и мучили, если все заранее знали?

— А как вы думаете, — почему? Из любви к делу, ваше превосходительство.

— К какому делу? К России?

— Нет. Я патриотизмом не отличаюсь, а то бы я, может быть, на другой стороне был, и уж, во всяком случае, с англичанами бы не разговаривал. Дело мое, ваше превосходительство, это то, что я делал: убивал и мучил, по-вашему.

— А по-вашему?

— По-моему, я родился инквизитором и применял только свои таланты.

Генерал заморгал глазами и тупо посмотрел на поручика.

— Как?

— Совсем просто. Вам не странно, ваше превосходительство, что живете вы со мной бок-о-бок давно, а совсем меня не знаете, тогда как я вас — насквозь. Для вас в жизни главное — чинопочитание и водка, а для меня чтó?

— Чорт вас знает!

— Вот именно.

Поручик опять уставился в книгу. Генерал поерзал, повздыхал и спросил:

— А, может быть, вы будете так добры, поручик, и расскажете мне напоследок, кто вы такой?

— Вас это интересует? Только я боюсь, вы не очень будете очарованы. Мне-то все равно, мое время прошло.

— Ага, значит, вы тоже — бывший, вы это чувствуете?

— Как сказать? У меня позади не только коробка с орденами и погоны. Мертвые не встают, ваше превосходительство.

— Просто-на-просто, вы были палачом.

— Палачом! Словом не убьете, ваше превосходительство. Вам угодно знать, кто я. Извольте. Я — прирожденный властелин, азиатский сатрап. Мое счастье — чувствовать в руках человеческую жизнь и быть ее хозяином. Вы вот, ваше превосходительство, мордобитием утешаетесь, Кондрата истязаете, — я вас презираю. Жизнь, самое дорогое, с позволения сказать, — священное, вот что должно принадлежать мне. Палач! Нет, не палач, и даже не судья, а хозяин, царственный зритель жизни и смерти.

— Вы... это... — Нерон... или, как это называется... садист?

Генерал глядел довольно испуганно на своего адъютанта. Поручик улыбался, и только пальцы его ненужно перелистывали книгу.

— Нет. В наше время на ярлыках далеко не уйдешь. Я — человек. Конечно, от Нерона во мне больше, чем от Адама, но ведь сказано: ветхого Адама совлеките с себя. И потом все это выдумано: палач, садист,

добродетель. В жизни этого не бывает. Вы — грозный генерал, лихой генерал — в жизни бесхарактерный пьяница. Я, армейский поручик, — инквизитор и царь. Какие тут ярлыки! Не в такое время жили. Кончается оно, время-то наше. А ведь английский король не имеет такой власти, какую имел я. А как ему хочется!

— Вы сумасшедший, поручик!

— Позволительно думать, что нет. Рассудок имею ясный, темперамент холодный. Нет, я не сумасшедший. Хотя бы потому, что я уже насытился. Если спасусь, буду образцовый гражданин и отец семейства. Женюсь, в театре плакать буду, детей напложу, и буду учить их десяти заповедям, и главное: не убий. Могу быть красным командиром и коммивояжером. Прошлое скрою, я человек незаметный, совсем не Нерон, дали мне развернуться, я и развернулся, но рассудка не потерял. Скажут: свернись, я и свернусь. Мне осталось немного — в последний раз натешиться. На то будут пленные, которых мы для англичан возьмем. Все равно, толку от них не будет. Кстати, что вы думаете предпринять, ваше превосходительство?

— Не знаю.

— Надо выследить, ездят ли красные командиры в город, в отпуск, и, вообще, отлучаются ли они из лагеря, к девочкам ведь и красным надо, а у меня есть тут одна на примете. Тут мы их и накроем.

— Распорядитесь.

— Спокойной ночи, ваше превосходительство.

11.

Лошадь уже знала дорогу, не в первый раз ехал Домашнев в деревню. Осторожно вытягивая шею, лошадь уверенно ставила ноги на рассыпающиеся, срывающиеся в пропасть камни и сама переходила в рысь на лесной тропинке. Но Домашнев не был ни одним с лошадью существом, ни всадником-поклажей. Не общая и не ее, — его воля несла обоих через лес и горы в староверческую деревню. Домашнев не вздыхал освобожденно, уезжая из лагеря, и не мечтал о свидании так, чтобы мечта была лучше самого свидания. Он знал, что оставлял, и знал, что может это оставить, так же, как и то, что вернется, и когда вернется. И он хотел свидания, а не мечтал о нем. Мурлыча песенку под нос, он не боялся леса и не восторгался им. Если он радовался чему, то одной только жизни, своей, лесной, всякой. Но он не думал об этом. Он жадно и бессознательно хотел жить, и поэтому — жил.

Одинокого всадника не окликали у околицы. Подъехав, он первый поздоровался, и его встретили улыбкой.

— Скоро генералов прогонишь, комиссар?

— Скоро! Не прогоним, — выкурим!

— Мотри! А черкесов смиришь?

— Сами усмирятся, с повинной придут, когда увидят, что мы за люди, и какая власть крепкая и чья. Вместе ее делить будем, власть.

— С ними разделишь, как же!

Вряд ли верили его словам, но улыбке, веселым глазам, сильной спокойной руке, легко управляющей лошадью, — верили.

— К Степану? Оба — безбожники, и девка с ними.

— А что же, мы хуже вас, что ли? Прокисли за книжками святыми? А?

— Вы вот после смерти протухнете!

— А вам много святые помогут!

— Ну, ладно, проезжай, спорить еще с тобой, с богохульником!

Но не сердились, как не сердились на дерево: растет и растет, а непонятно, так зелень буйством своим сама говорит за себя, и что ей втолкуешь — зелени, когда она знать ничего не желает, ничего не признает, и собственные слова рядом с ней — старые, затхлые прошлогодние листы.

Домашнев проехал пустой улицей, днем были все на работе. И вот изба Степана и Лизавета на крыльце.

— Здравствуйте!

Две сильных руки, как столкнувшиеся ветви рядом растущих деревьев, встретились, замерли, напрягаясь, и с усилием разошлись. Лизавета покраснела. Все выходило не так, как она хотела, но теперь уже она хотела, чтоб было так, как есть.

Домашнев молчал, глядел на нее, улыбаясь. И она не находила слов. Чувствуя, что в этом молчании растет он, а не она, что она совсем не выше его, как была выше каждого, что, может быть, скоро придется ей стать маленькой рядом с ним, — она опускала глаза, краснела, и возмущение тонуло в непонятной податливой лени. Она не знала, почему не могла и не хотела думать о своих отношениях с Домашневым, как думала обо всем. В его отсутствие она пыталась обдумать всю сложность новых явлений в ее жизни, но какая-то пугливая улыбка стирала прежнюю морщинку на лбу, с которою раньше спокойно и взвешено решались все вопросы и изгонялись ненаходившие по неразумию ответа. Из комментариев к книгам, из программ партии и жизни, из рассказов о Москве и Париже, из всего важного прежде и отпадавшего теперь шелухой, засорявшей и сравнивавшей землю до ровной пустоты, вставала легкая улыбка и непонятные глаза Домашнева, и вели они по пустому миру, как по лесу, когда, заблудившись и закрывая глаза, инстинктом отгадывала путь. Сколько ни избегай непонятного, с ним не совладать. Ему надо итти навстречу, это единственное спасение. И она покорилась ожиданию, зная уже, что само ожидание — победа Домашнева.

Он уже говорил. Все о том же — о целой жизни, обо всем мире. Но она в голосе его слышала, что это не те слова, которые надо принять в себя. Этот зов манил пока только звуком, а не смыслом. И странно: смысла ждала от того, что раньше казалось бессмысленным, звуки ловила там, где раньше жадно искала смысла.

Вошел Степан, послушал, прищурился и вдруг сказал:

— Разгон берешь, комиссар?



Домашнев не понял сперва, а поняв, вспыхнул и замолчал. Смутно улыбаясь, Лизавета огляделась. Почему-то солнце сегодня истомило ее, и слова не доходили до сознания. Домашнев нахохлился. Степан лукаво поглядел на него и, мягко переваливаясь и неслышно ступая, подошел вплотную к нему, молча и уже серьезно поглядел ему в глаза, потом подошел к Лизавете, погладил ее по волосам, качнул головой и тихо сказал:

— Ничего, ребятишки, ничего!

Потом улыбнулся, но как-то не очень весело:

— Прыгай, комиссар, без разгону!

И неслышно, но уже необычно тяжело ступая и согнувшись, ушел.

Если бы Лизавета слышала его слова, может быть, она бы убежала. Она не слышала их. Оба молчали. В молчании только затрещала цикада, вдруг, резко. Солнце врывалось на крыльцо. Домашнев тяжело вздохнул. От слов ли Степана или от жары, или от треска цикады, или от загадочного молчания Лизаветы, наверно — от всего вместе, застучало в висках, и странная обреченность на смену вдруг пропавшему задору сжала сердце. Тяжело отхлынула кровь; побледнев, Домашнев глухо сказал:

— Лизавета...

Сухая земля молила пересохшими губами о грозе, заранее обрекаясь ей, жертвуя побитой пашней и с корнем вырванными деревьями. По небу метнулось задыхающееся солнце.

— Лизавета...

Он облизнул губы и вытянул руки. Опять застучало сердце, нагнетая жилы кровью, готовою взорвать поры. Он как-то дико взмахнул руками и крикнул, как будто с отчаянием:

— Ну, да! Люблю! Вот так! В жены хочу! С собой взять! Всюду!

Он кричал. И ей и ему казалось, что он говорит шопотом, и она вслушивалась в этот шопот, стремясь постичь уже не звуки, а смысл звуков не слыша. Он крикнул еще громче, схватив ее за руку:

— Любишь? Пойдешь?

Она подняла голову, все еще вслушиваясь и проверяя, словно за отзвучавшими словами должен был возникнуть их тайный смысл, и взглянула прямо в его глаза. Он согнулся и, не отрывая глаз, с перехваченным горлом, замирающим, настоящим уже шопотом чуть слышным, еле вырвавшимся, сказал:

— Ну... отвечай... ну!..

Шопот этот заполнил весь слух Лизаветы, в голове загудело, как от жгучего солнца в полдень, этот шопот проник и ширился в мир, и, кроме него, уже не было в мире звуков, и быть не могло. Она не замечала, что он говорит с ней на ты. Она встала, выпрямилась, прощаясь с былым своим ростом, и поникая, падая, уменьшаясь и освобождаясь от тяжести этого роста, отдаваясь, — всем дыханием своей жизни, которого тоже хватило только на еле-слышный шопот, сказала:

— Без тебя не могу.

12.

Домашнев взял Юмашева с собой к староверам. По дороге Домашнев зорко глядел вперед и по сторонам, — каждая такая поездка была рискованной. Юмашев сидел на лошади, распустившись, ему было душно от спертого лесного воздуха и прелого запаха. Он не мог собрать мыслей, как будто лежал он в постели и только полупроснулся. Он чувствовал острую утреннюю тоску бытия, когда не хочется вставать, день — сер, и сон — лучшее из зол земли. Сквозь тоску мелькали обрывки жизни московской, обычной, и какой-то, только что приснившийся, невероятно нелепый сон о Ленджистане. Смутно хотелось продлить эту неизвестность между явью и сном. Но невольно он встряхнул головой, и спина ехавшего впереди Домашнева выплыла такой же реальностью, как утром — спинка кровати с блестящими шариками. Он вздохнул, догнал Домашнева и сказал:

— И все-таки... я погибну здесь.

Домашнев улыбнулся и, продолжая пытливо всматриваться вокруг, кинул:

— Ну, чего там! Опять за старое.

Юмашев замотал головой, странно похожий на свою лошадь, отгоняющую оводов.

— Да, да. Не от пули, не на войне, а незаметно, от укуса змеи, от неожиданной болезни. Природа отомстит мне за вторжение сюда. У нее подлая месть здешней природы. И она выбирает слабых, с вами ей не справиться. Она душит детей, а я здесь — беспомощный ребенок.

— Знаешь, я привык уже к твоим мыслям, не стоит возражать. Ты просто перепуган встряской. Ты думал попасть чорт знает куда. Оказалось, что все просто, и с людьми жить можно. Свои шхуны и гавани ты в мечтах представлял себе страшными, потому что именно страшного тебе в Москве нехватало. И теперь ты его выдумываешь, потому что тебе без страшного жить нельзя.

Юмашев замолчал. Молча въехали в деревню. Неподалеку от Степановой избы женский голос пел:

Брошу, брошу камешек во пламячко-огонь.
Ты, гори, гори, камешек, перегори.
Разделися, камень, на четыре части.
Такое же ваше сердце каменное.
Отдайте меня во чужи люди
В дальню сторону.

Степан и Лизавета встречали гостей. Был Юмашев маленький рядом с Лизаветой, сконфуженный и растерянный, слабоногий жеребенок рядом с арабским конем. Степан, пожимая его руку, спросил:

— Стекла для чего носишь? Чтоб похуже или чтоб получше видеть? Как у вас это?

— Конечно, чтоб лучше..

— Зато вбок, небось, ничего не видишь? Только вперед, как лошадь с наглазниками?

Домашнев сказал, смеясь:

— Как раз он только вбок-то и видит, и здорово видит, а вперед — ничего.

Степан внимательно поглядел на Юмашева и вышел. Густо краснея, Домашнев сказал:

— Это вот... Лизавета. Как это сказать? Ну... невеста моя, что ли...

Было Домашневу вдвойне стыдно выговорить эти слова: и как влюбленному, и как работнику. Лизавета тоже смутилась. Юмашев неловко поклонился и покраснел оттого, что поклон показался ему неуместным. Все молчали. Тот же женский голос пел:

Ах, ленточка ала, мне сударушка дала,
Дала-дала сударушка
Пожаловала,
Пустила сухоту по моему животу,
Рассыпала печаль по моим ясным очам.

— Замуж идет, — тихо сказала Лизавета, — и ничего ей неизвестно, что будет.

Вернулся Степан и подошел к Юмашеву

— Приятели вы с комиссаром?

— Да.

— Ну, рассказывай, какой-такой ты будешь человек.

Юмашев не понял, что надо было Степану от него, стал вяло говорить о Москве, университете. Степан слушал его, не перебивая, потом вздохнул:

— Не о том я. Другого сразу видно, какой он, а тебя за очками не разобрать. Ты меня спросишь, кто я, а я тебе отвечу: я в лесу живу. Вот и разбери поди.

Тогда Юмашев стал рассказывать о своих чувствах и сомнениях, удивляясь, как легко шел рассказ перед этим мужиком. Глаза Степана закруглились и затвердели, он протянул:

— Во-он как! Тоскуешь, значит? И об чем, не знаешь?

— Да, тоскую.

— А если в лес пойти?

— Как так?

— Ну, походи, постреляй, сердце свое сорви.

Юмашев рассказал Степану о Тюделекове. Степан совсем загорелся.

— Ишь ты! Надо бы мне к вам съездить, что ли. Люди-то у вас какие! Говоришь, он, как зерно растет, слушает? И помогает?

— От чего?

— От тоски.

— Раньше, должно быть, помогало ему, а теперь только черкесов ругает.

— Довели человека!

Домашнев и Лизавета говорили о своем, строили планы, потом ушли в сад. Степан опять ушел по хозяйству. Юмашев лег на крыльце, слушал протяжные песни с соседнего двора, томился, опять впал в полусон, не различая жестокой яви, странных разговоров и былой жизни от солнечного цветения кругом. И сквозь сон только он слышал, как приходил Степан, сказал:

— А я ведь тоже тоскую. Вот про зерно это хорошо. Это оттого, что сердце выскочить из тела хочет, ему бы полетать и обязательно сразу в несколько мест, а может — и везде, весь мир разом увидать. А нельзя этого. Ну, тогда думаешь: пускай хоть растет от меня что-нибудь, облетать не могу, прибавлю хоть мира-то, чтоб еще больше был. И дети тоже. Сам не могу, хоть детей на свет произведу. Я вот так Лизкой утешался. Вон она какая у меня. Не поверить, что баба. А вот черед пришел, тоже как все — замуж. Ну, он хороший, комиссар-то, пара их настоящая, как ты думаешь? Я ведь вижу, хоть с Лизкой не сговоришь, а за трепача бы я ее не отдал, не позволил бы, запер или еще как там его бы убрал. Только уедет теперь Лизка, один останусь, а не облететь, нет, не облететь...

Под вечер, после ужина, когда стемнело, хоть Степан и не хотел отпускать, Домашнев решил ехать назад. Утром был у него урок политграмоты, — пристыдивши сам себя раз примером Неопиханова, он особенно внимательно относился теперь к своим обязанностям. Степан очень звал Юмашева приезжать еще, обещался сам приехать в лагерь. Ехали молча, Домашнев впереди, радуясь своей любви и Лизавете, Юмашев, — думая о том, что странная загадочность этих мест все разворачивается перед ним, но не разгадывается.

Верстах в трех от деревни лошадь Домашнева вдруг остановилась, он чуть не выскочил из седла, лошадь захрапела и попятилась. Он увидал только в темноте, как Юмашев обогнал его, как лошадь Юмашева споткнулась и упала вместе с всадником. Юмашев вскрикнул, из-за деревьев выскочили темные фигуры, что-то крича и беспорядочно стреляя. Лошадь Домашнева испугалась, шарахнулась, круто повернулась и понесла назад, в деревню. Хорошо еще, что Домашнев был прекрасным ездоком. Он слышал еще выстрелы и не мог удержать свою молодую кобылу. Он справился с ней у самой деревни, куда прискакал с криком, чтобы собрать всех. Население сбежалось. Домашнев, задыхаясь, рассказал, что случилось; потребовал, чтобы сейчас же все бросились в погоню за черкесами, иначе они успеют зарезать Юмашева. Мужики хмурились, не двигались с места. Степан сказал за всех:

— Нельзя. В лесу, в темноте, все одно никого не словить. Только разбредемся, кто куда, еще нас поймают. И деревню бросить нельзя; вдруг они сюда идут, народу у нас мало, кто их тогда удержит?

Мужики загалдели. Сколько ни убеждал их Домашнев, они не соглашались, требовали, чтоб и он остался ночевать. В отчаянии, что он не среди своих, которые кинулись бы по первому знаку за ним, он подошел к Лиза-

вете. Она стояла в стороне, молча смотрела в землю. Он постоял около нее, и в этом ее молчании уже что-то подозревая, какое-то ее тайное осуждение, резко спросил:

— Ты что молчишь?

Она, не глядя на него, прошептала, сжимая руки:

— Как же так?

Кровь хлынула Домашневу в голову, к сердцу. Задыхаясь, он повторил свой рассказ. Она так и не поглядела на него и сказала тихо:

— Значит, один он там.

Она не сказала, что Домашнев бросил товарища, но Домашнев понял все, что она хотела сказать, понял, что боль ее — не за плененного Юмашева, а за него, Домашнева, разлученного с другом, попавшим в беду, — за изменника неизменившего. Он рванул на себе ворот и крикнул:

— Лизавета!..

И задохнулся. Она по-прежнему молчала и смотрела в землю. В секундах решались любовь и жизнь, на весах взлетели и колебались миры. Вскинув обе руки и резко опустив их, будто бросая что-то с силой и отчаянием на землю, Домашнев крикнул мужикам:

— Стало быть, не пойдете!

Мужики опять загалдели,

— Один поеду!

Он подбежал к своей лошади, вскочил в седло и рванул поводья. Его пытались остановить, он выхватил револьвер, завопил: — убью! — и ускакал, не оглядываясь.

Как только Домашнев отошел от Лизаветы, она подняла глаза и следила за ним, не отрываясь. Когда он вскочил в седло, она сжала руку Степана и прошептала:

— Из-за меня он, из-за меня...

Степан сердито, и все же довольный Домашневым, буркнул:

— Ну, и дура девка!

Лизавета поникла. Но сердце ее билось редко, требуя простора и подвига. Мужики галдели еще пуще, кто-то кричал, надрываясь:

— Теперь и этого прикончут! Поскакал, бешеный, на смерть!

Лизавета убежала. Мужики уже расходились, когда она промчалась верхом мимо них. Ее путь был — за Домашневым, она это знала

13.

Ожидая приезда лейтенанта или нападения красных с неизбежной смертью в виде финала, генерал Лихов пил третий день. Поручик Хорошаев не препятствовал ему, даже как будто спаивал. Поручик распоряжался теперь единолично.

Была глубокая ночь, когда капитан Злыгостев вошел и отрапортовал:

— Разведчиками под моей командой захвачены двое пленных, ваше превосходительство. Протянув веревку через дорогу в лесу, мы остановили

двух конных, из которых один упал с лошади и был нами схвачен, а другой ускакал. Захваченный оказался по бумагам красным командиром Юмашевым. Документы его прилагаю. Возвращаясь уже, мы услыхали выстрелы, и я приказал выйти вновь на дорогу, где мы остановили и арестовали женщину, отказавшуюся назвать себя. Ожидаю распоряжений вашего превосходительства.

Генерал поднял отяжелевшую голову, посмотрел на Злыгостева, зевнул и сказал уныло:

— Ну! Вы понимаете, капитан, что у нас водки уже нет. Кончилась, и достать негде. Мы в ловушке, а вы рапортуете. Пленные! Завтра мы с вами будем в плену или на осине болтаться, потому что англичанин не приедет и нас не возьмет.

Злыгостев оторопело стоял, не отнимая руки от козырька.

— Поглядеть на вас, капитан, так зависть берет. Вы и на том свете козырять будете? Говорят же вам: все равно нам конец. Конец, понимаете?

Злыгостев отнял руку, недоуменно посмотрел на поручика, невозмутимо читавшего, и сел.

— Я, ваше превосходительство, понимаю ваши слова, как команду: вольно. Я, ваше превосходительство, капитан. Капитан, это такой чин... чин, который... по смыслу... вызывает, так сказать, в человеке уважение...

Генерал махнул рукой.

— Идите вы к чорту с чинами! Гоните пленных в шею, всех гоните в шею, завтра умирать, может быть, а тут даже водки нет, — понимаете вы это, капитан-трамонтан?

Хорошаев встал и сказал резко, без улыбки, отчего лицо его стало вдруг старым и обнаженным, так что генералу в страхе захотелось поскорей прикрыть это лицо чем-нибудь, вызвать опять одевающую лицо улыбку, словно обнаружил поручик ужасающий, никем не виденный до сих пор гнойник:

— Человеческой глупости поставлен предел как капитанской, так и генеральской. Вы забыли, кажется, что англичанин требовал пленных. Или вы думаете, что я отпущу своих последних? Потрудитесь взять себя в руки, ваше превосходительство, здесь еще не сумасшедший дом! Введите пленных, капитан.

Злыгостев вскочил и вышел. Он привык повиноваться адъютантам. Хорошаев прошептал отчетливо:

— Если вы, ваше превосходительство, не доиграете этой комедии до конца и сами, как баран, подставите шею красным, я вас спасать не буду,—помните это. А с пленными я поступлю, как я захочу, и не смейте мне в этом мешать. Молчите? Я давно здесь хозяин, но теперь, по вашей глупости, вы это чувствуете в первый раз. Поняли?

Генерал только хлопал глазами, откинувшись к стене. Как ни велика была обида, он согласен был все стерпеть, лишь бы вызвать вновь улыбку на лицо Хорошаева. Злыгостев ввел Юмашева и Лизавету. Руки у плен-

ных были связаны. Хорошаев сел за стол, и попеременно, играя револьвером и улыбкой, обратился к пленникам:

— Прошу садиться. А-а, вот кто! Помню, помню, голубушка! Живут у вас в деревне глухари, ни про что и слыхом не слыхали, зато ты-то больно востра. Уж не к тебе ли красные ездили? Может быть, ты с ними добрее, чем с нами? Ну, рассказывай, как в лесу очутилась ночью, куда ехала, зачем, что об этом человеке знаешь?

Лизавета хорошо помнила поручика. Когда русские остановили ее в лесу и обезоружили, она сразу поняла, что не миновать ей теперь Хорошаева. Она успела условиться с Юмашевым, что они на допросе друг друга узнавать не будут. Она промолчала.

— Будешь отвечать?

— Нет.

Поручик посмотрел на нее, не изменяя обычной улыбки.

— Я ведь, голубушка, сумею ответ вытянуть из тебя. Подумай, пока я с господином красным командиром разговаривать буду, хорошенько подумай; поговорим еще с тобой потом. Имею честь и удовольствие разговаривать с господином... по документикам вашим — красный командир, оставленный при Московском университете, Юмашев? Так?

— Да.

— Приятно иметь дело с высокообразованным человеком. Угодно вам будет отвечать на вопросы?

— Да.

Хорошаев задал обычные вопросы. Юмашев отвечал, не понимая толком, что с ним и где он. Ожидание необычайного так истомило его, что, внезапно плененный, попавший к обыкновенным русским людям, бесконечно знакомым, даже неожиданно встретясь с Лизаветой, еще мало знакомой, он почти разочаровался; все здесь показалось ему простым и скучным, особенно — офицер с приемами провинциального прокурора, и мысль о том, что в этом судилище может притти к нему таинственная гибель, казалась ему нелепой. Вкрадчивости поручика он еще не разгадал. Хорошаев быстро выяснил, что Юмашев — не крупного полета птица, и даже как будто обрадовался этому.

— Итак, вы — бывший офицер, хотя всего прапорщик, выступили вместе с бунтовщиками против единственного законного правительства. Признаете себя виновным?

Юмашев не мог не улыбнуться, хотя и спохватился сейчас же. Генерал, апатично слушавший весь допрос, случайно заметил эту улыбку и, неожиданно распалившись, завопил:

— Чего смеешься, мерзавец, чему радуешься? Офицер! Какой ты офицер? Б.... на кобыле, а не офицер, — вот кто ты! Царя продал! Образованный! Унижению генерала заслуженного радуешься?..

Поручик перебил его, глядя ему прямо в глаза:

— Я полагаю, допрос окончен.

Генерал съежился, со страхом поглядел на Юмашева, как смотрят на обреченных, отдышался и шопотом спросил:

— А англичанин?

— Ах, да!

Улыбаясь и подчеркивая невыполнимость предлагаемого и ни на минуту не выпадая из тона высшей вежливости, поручик изложил план взрыва нефти и спросил, согласен ли Юмашев в искупление своей вины взять это дело на себя. Юмашев ответил изумленно:

— Да ведь это же прежде всего невыполнимо. И — какая вина? Я не понимаю...

Поручик наклонил голову и велел увести озадаченного и ничего не понимавшего Юмашева. Потом он обратился к генералу и к капитану:

— Полагаю, дальнейший допрос и судьбу арестованных вы предоставите мне.

В сущности, это было приказание. Генерал, махнув рукой, вышел, а за ним и Злыгостев. Конвойным Хорошаев велел стать за дверью. Лизавета сидела в углу. Она умела смотреть всему прямо в глаза. Допрос Юмашева она оценила по достоинству. Она ничего не решала, она только знала: смерть лучше всего, что может предложить ей Хорошаев.

Хорошаев прошелся по комнате, не обращая как будто внимания на Лизавету, и потом заговорил вслух так, как в театрах говорят монологи — чтоб услыхала публика, иначе монолог бессмыслен:

— Да. Интеллигентный человек. Жалко его. Но что делать? А тяжело, очень тяжело. Ну, чем он виноват? Слабый человек, безвольный, мобилизовали, не решился перейти к нам. В политике не разбирается, ученый. Как спасти его?

Вдруг он резко повернулся, проходя перед Лизаветой, и оказался в упор перед ней. Спокойно и равнодушно, даже холодно сказал:

— Это твой любовник? Иначе зачем ему было ездить в деревню, а тебе скакать за ним, если другой удрал? Хочешь спасти его?

Лизавета не ждала ничего хорошего от поручика. Но Юмашев был другом Домашнева и своим, близким. А вдруг? Она кивнула головой.

— Ты можешь вымолить прощение ему у генерала. Ты пойдешь к генералу и...

Он сделал выразительный циничный жест. Лизавета рванула веревки, но они были крепки.

— Не хочешь? Зря. Я спасти его не могу. Ему осталось жить два часа. По твоей вине.

У Лизаветы были острые и внимательные глаза, и она лучше Юмашева разбиралась в людях. Она поняла, какую шутку шутит с ней Хорошаев. Она видела, от кого зависели здесь приговоры, и молчала.

— Бессердечие какое! Чего стоит твоя любовь, если такого пустяка сделать не можешь. Я хотел тебя пощадить, но ты не стоишь этого. Я думал — любовь, а раз так, я над тобой потешусь. Я не забыл того, что было в деревне.

Он присел рядом с ней. Она закричала, он улыбнулся.

— Не услышит. Услышит — не поможет. Никто не поможет.

Он стал руками шарить по ее телу, она отбивалась, но не могла сопротивляться со связанными руками. Она кусалась, пробовала плевать в его лицо, но он опрокинул ее на скамью, гладил и щипал.

— Не-ет, голубушка, шалишь, от меня не вырвешься! А про любовника я все наврал. И он умрет, и ты. А сначала, сначала я покажу тебе... узнаешь...

Руки его становились все нервнее, тело ее было уже отдано его грубым, срывающим кожу рукам. Оба задыхались, нестерпимый стыд жег Лизавету, она ждала уже последнего насилия. Но вдруг он резко оставил ее.

— Пока довольно. Остальное — потом. Теперь я с любовничком твоим справлюсь, разожгла ты меня.

Он позвал конвойных.

— Эту — в яму, а того — сюда.

14.

— ...Значит вы, будущий профессор и очень ученый человек. Скажите, я уж буду для краткости называть вас профессором, стать вы им не успеете, на том свете профессоров нет, впрочем, вы в тот свет, как ученый, не верите; конечно, вы, верно, держитесь теории лопуха, но и она неприменима, потому что вы будете просто брошены, а не зарыты, ничего из вас не вырастет, да оно и лучше; что бы из вас получилось: засушенный гриб?.. Итак, скажите, профессор, — вы боитесь смерти? А знаете, что я, малоизвестный, но далеко не последний палач, ужасно ее боюсь, до волос дыбом, до икоты и дрожи. Я никому из живых об этом не говорю, только обреченным, они уносят и никому не скажут. Вы понимаете, — говоря об этом, я хочу подготовить вас к переходу в небытие. Вы не думайте, я очень страдаю, отправляя людей туда, — это ведь большая мука. Правда, это страдание так же приятно для меня, как, скажем, ну — половой акт. Но это не важно. Я, правда, университета не кончил, но цену науке знаю и, смею вас уверить, я вполне интеллигентный человек. Наука не поможет, нет, не поможет. Смерть! С-м-е-р-ть! Понимаете? Вот вы дышите и думаете, у вас болит живот или связанные руки, и вы ненавидите меня. Стоит ли? Вы ведь — только клоп, который ползет по стенке. А я нацелился на вас сапогом. Убью, или нет? Дальше дышать и пусть болит живот и тому подобное? Или — ничего? Ничего? А хозяин — я. Вы что дернулись? Хотели бы меня ударить? Не можете. И не поможет. Я абсолютно спокоен. Срок вашей смерти я определил: ни приблизить его, ни отсрочить я не дам, и себе самому не позволю. Можете вы понять трепет блаженства и смертельную муку сознания, что я назначил вашу смерть на определенную минуту, и не хочу, не могу уже — это сильнее меня, сам не могу ничего сделать. Я, может быть, себя спасаю, потому что убить вас для меня —

высшее счастье, то-есть не убить, а убивать, предсмертным вашим насладиться, а затянуть это — еще я, пожалуй, с ума сойду. Освободить вас некому. Вы погибнете в назначенный час.

— ...Но вдруг, вдруг!.. А? Что вы скажете. Вдруг!.. Какое словечко любопытное! Вдруг я вас... да и помилую! Или, скажем, отрежу, как черкесы, только некоторые ваши конечности? Ведь жить без них можно. И еще как можно. Что вам, профессору, такая мелочь, как какие-то половые органы? Какая в них надобность? Изучать можно на других. Естественным отправлениям организма это не мешает. А любовь — ну, чепуха же в сравнении с жизнью, наукой — правда? Стыдно немного, но ничего. И даже кое-какие удовольствия можно получить—я вас научу— и без помощи женщин. А то и с ними. Так как же — не хотите меня просить ограничиться детородными вместо жизни?..

— А может быть, — может быть, все органы на месте оставлю, только высеку. Позор — но пустяки. Или никто не узнает, или еще поздравлять будут, что дешево отделались, героем революции станете. Ну-с. профессор, что же вы предпочитаете: смерть, лишение некоторых органов или порку?

— ...Впрочем, вы имейте в виду, что я человек культурный, высококультурный, как вы — высокообразованный, вы не в банде какой-нибудь советской, я без пыток, я — словами, словечками. Это, кажется, Гамлет о словах говорит с пренебрежением. Я читал, как видите. Нет, голубчик, от слова, от словечка многое зависит. Только надо его подкрепить. И смолчать во-время и во-время его ввернуть. Я и жизнь вашу словечком генералу во-время ввернутым, получил. Обещал, пьянице, спасти его, и он в моих руках. Приятно мне с таким человеком, как вы, по-своему поговорить. Это не красноармеец какой-нибудь вшивый. А с вами слова умные, с настроением, а настроение, — потому что вот оно, слово, а за ним — револьвер, ночь, и мы одни. И не надо никаких пыток. Между культурными-то людьми...

— Вот я вам сейчас расскажу. Подойду я к вам сзади и приставлю револьвер к затылку, раздвинув волосы. Сталь холодная, у вас голова замерзнет, словно бы кто ее сдавил, знаете — стянет так. У вас бывают головные боли? Так это хуже, много хуже. А что будет с вашим сердцем? Забьется или замрет? Будет похоже на мышь, которая по мышеловке мечется и хочет выскочить, или обомрет, потому что захочет именно не выскочить, остаться в теле, жить, жить!.. А? А, говорят, сердце и ум живут еще недолго после смерти. Значит, вы услышите выстрел — по вас, почувствуете удар и боль, упадете. А я стану над вами и буду смотреть, как заволакиваются ваши глаза. И вы поймете: вы умерли, уже умерли, да — уже, и я над вами, я, я — последний, чье лицо отпечатается навсегда на смертельной пленке ваших глаз, кого вы видите и ненавидите...

— Вот жизнь! Хотели быть ученым, служить человечеству, ни больше, ни меньше, а умираете от руки и на глазах невежественного офицера и палача. Никакая революция вам была не нужна, вам бы сидеть

в кабинете, никого вы не трогали. И вдруг — за что? Действительно — за что? Ведь мухи, и той вы, верно, не обидели. Да, ни за что. В этом все и дело. Это и есть моя радость. Я — ваш хозяин. Понимаете, что это значит? Хозяин! Мне даже неважно, кто вы. Вы — человек. И чем больше, тем лучше. Вы — моя жертва, мой раб. Хочу — на кусочки изрежу перочинным ножиком, хочу — отпущу. Бессмысленно, правда? А вы вообще в смысл существующего верите? Я верю только вот в это, в револьвер. Если вы верите во что-нибудь еще — терзайтесь.

— А сейчас — смерть. Ведь вы не знаете, на какую минуту этой ночи я ее назначил, в какую я почувствую, что сам схожу с ума и прикончу вас. Может быть, она уже наступила, минута эта? А? Как вы думаете? А?

— Ну-с. Так будем умирать! Стойко, как полагается профессору, прапору и красному командиру! Только смерть, не более того, растворение индивидуума в мировой материи. А. ведь, страшно, молчаливый профессор, признайтесь-ка! Молчите вы, чтоб не закричать, не осрамиться передо мной. Так, маленький такой, гнусненький, человеческий такой страшок, даже животный... Поднимается, растет, сердечко замирает, кажется, что с ума сейчас сойдете, что я сумасшедший. Во власти сумасшедшего, кинематограф. Нет, я нормален пока. А вот вы сейчас завоете. Подумайте: в целом мире мы одни. На горах. Панорама! Мир спит. Ночь. Может быть, величайшая ночь! Нечто вроде рождества Христова в чистом виде, без звезд, волхвов и легенд. Только там — рождение с воскресением в будущем, потому что бог знал, что воскреснет, как же иначе, — или вы в божество Иисуса Христа тоже не верите? Все равно, — сегодня иная ночь, ночь смерти. Для вас, по крайней мере. На утро зашевелятся, в университете пойдет работа, внизу начнут на нас наступление. Все — без вас. Сейчас ночь, вечность... Я к этой вечности с понимающим человеком всю жизнь, может быть, готовился. Вот она. Я трепещу. Мы одни. Хозяин и рад. Но одна воля — моя. Пытка? А жизнь — не пытка? А каждый человек, а вы сами не мечтаете об одном: быть хозяином, не рабом? Вот вам в стихах вся философия мира. Утешьтесь, если вы философ, что выигравшая сторона — это я, и вам неизбежно проиграть. Ведь больше всего вам хочется быть сейчас на моем месте, признайтесь! С каким восторгом вы бы влепили мне пулю, распорядились бы, как полновластный хозяин, жизнью человеческой! А мне, небось, запрещаете, проклинаете, — почему, за что?..

— И все-таки ничто не поможет. Ничто. Дышите же, дышите, чорт, вам осталось 10, 20, 40 вздохов! Только! Считайте их! Вы не удостаиваете меня, палача и невежду, разговором? Вы правы. О чем нам говорить? Что жизнь — не пытка? А я вас пытаю. Что смерти нет? А вы умрете. Что я сам буду умирать? Да. Потому-то я вас и убью. Я буду корчиться в страхе, корчтесь и вы. Корчтесь же, ну, корчтесь! Молчите еще, молчите немножко. Вы не умерли,—значит, вы еще ничего не знаете. А умрете, ничего не расскажете. Ну, корчтесь же, войте, я сам сейчас завою, тоненько, вот так: ы-ы-ы-ы!.. Извивайтесь, вот смотрите, вот так, как я. И войте

войте: ы-ы-ы!.. Вот я буду ходить, ходить около вас, корчиться и выть, кругами, как ястреб, все ближе с каждой секундой, а когда вплотную — тогда... тогда — конец. Хотите почувствовать в последний раз человека около себя, хотите узнать тепло рук палача, последних, последних человеческих рук, живых последних, потому что каждый человек — палач, я по себе это знаю, меня не разубедите, — потому что вы умрете сейчас; я не пощажу вас, я издевался; мне ваша смерть необходима, я могу с ума сейчас сойти; время настало, так давайте выть вместе надо всем, над этой ложью и болезнью моей, над жизнью и смертью, над людьми, над вами и надо мной, как звери от страха; будем же братьями, братьями; чувствуйте родственность нашу в этой ночи,—ведь мы два единственных человека в мире,—понимаете,— и один убьет сейчас другого. Войте же, ничего нам с вами больше не остается, войте, вот так: ы-ы-ы!..

— ...А вдруг? Вдруг? А? Вдруг? Пощажу? Помилую?..

Хорошаев дрожал мелкою дрожью и ходил, бросая какие-то рвущие взгляды вокруг связанного Юмашева. Богатство его интонаций было невероятно. С последним вопросом он остановился и в первый раз устремил прямой, совершенно безумный взгляд в глаза пленника. Револьвер плясал в его руке.

Глаза Юмашева росли, грудь ширилась от сбывшихся предчувствий. Он молчал, пока Хорошаев говорил свой монолог, оттого, что слушая беспощадный голос, врывавшийся в тишину остановившейся ночи, Юмашев увидел то, что звал он своей гибелью. Он закрыл глаза, мир качнулся и поплыл, и, не понимая своих слов, не раздвигая душного облака воспоминаний, он прошептал:

«Домашнев, помнишь, сжигает, сжигает Жар-птица, мстит, упало перо, горит фонтан, мы сгораем, гибель...»

Он не сошел с ума. Он только прошептал намек о своих мыслях. Домашнев понял бы его. Но Хорошаев не знал этого и не понял его. Глаза Хорошаева из безумных стали пристально холодными; он всмотрелся в лицо закрывшего глаза Юмашева, потом глубоко вздохнул, вытер пот и сказал усталым, но удовлетворенным голосом:

— Готов... Спятил. Лучшая работа. Никто еще не сходил с ума. Спасибо, голубчик! Коллекция полна и увенчана сумасшедшим. Слабы люди. И глупы.

Он выстрелил.

— Убрать!

15.

Домашнев галопом проскакал версты две. Вспомнив о протянутой через дорогу веревке, он сдержал лошадь и поехал шагом. Но веревки уже не было, и он не мог найти место, где Юмашев покатился с лошади. Он остановился, прислушался. Все было тихо. Он крикнул. Никто не отозвался. Он выстрелил, и снова настала настороженная тишина. Он погнал лошадь в лес, не разбирая дороги, кричал, стрелял. Выбившись из сил

и с трудом отыскав старую дорогу, он остановился, раздумывая. Сообразив, что ночью один он все равно ничего не сделает, он решил скакать в лагерь, поднять своих и с рассветом итти в горы. И тогда только он подумал, что не знает даже, кто на них напал: белые ли, горцы ли, потому что не разобрал криков уносимый понесшей лошадью. Подумал и о том, что делают с пленными в этих местах, вспомнил предчувствия Юмашева и молчаливый укор Лизаветы. Не помня себя, стараясь заглушить боль, он погнал измученную лошадь в лагерь.

Уже на рассвете на загнанной лошади он подскакал к лагерю. Его ждали и тревожились. Задыхаясь, он рассказал встретившим его, что случилось. Все замолчали, и, вглядываясь в лица обступивших его, Домашнев боялся прочесть в их глазах Лизаветин укор. Тюделеков длительно выругался, дернул себя за отросшие рыжие волосы, глубоко вздохнул:

— Хороший малый был, мечтатель наш.

— Был?

— А что же, сами не знаете, что персюки с нашим братом делают?

Тюделеков оборвал листья с куста, сорвал прут, изломал его, выругался еще раз, кинул изломанный прут вдаль и выкрикнул:

— И разнесу ж я сегодня, прямо наводкой аул ихний, — вдрызг!

Неопиханов слушал, сдвинув брови, — брови щитом ежа защищали глаза его.

— Это не персюки, это белые.

— Почему?

— Персюки обоих бы поймали, подстрелили бы, на скаку бы тебя подбили, без веревки бы лошадей одних уложили, им что́, им разве пленный нужен? Это белые.

Домашнев схватил его за руку.

— Идем на белых!

Неопиханов покачал головой и кивнул на горы.

— Без пехоты артиллерии туда не втащишь, сколько их там, не знаем, — забыл, что ли?

Домашнев заломил руки, на лице его проступила вся мука бессонной ночи, боль потери и стыд за безвинную свою вину. Он почти простонал:

— Что же это такое?

— Братишка! Чего это ты? Кажнюю ночь режут...

— Виноват же я, пойми ты...

Признание дорого стоило Домашневу. Он дрожал, и губы его тряслись. Неопиханов распустил брови и посмотрел ему прямо в глаза.

— Ничего ты не виноват, чего плетешь! Больше году тебя знаю, впервой вижу...

Домашнев тяжело перевел дух, выпрямился, резко спросил:

— Чай роздан?

— Да.

— Занятия в 6 начинаете?

— В 6.

— Хорошо. В 9 — политграмота.

И ушел в палатку. Неопиханов восхищенно посмотрел на Тюделекова.

— Ах, чорт, молодец какой! А! Приятель ведь он ему, Юмашев-то. А гляди, как он с собой совладал. Ты чего это, Тюделеша? А?

Тюделеков, отвернувшись, кусал губы, ерошил рыжую шевелюру.

Утром, когда уже шли занятия, и Тюделеков то орал на красноармейцев, то на Сисенкова, то просто упивался словами команды, а Неопиханов подбегал к отдельным красноармейцам и ласково им выговаривал, — учили пехотному строю, чтобы итти в горы, — в лагерь прискакал Степан. Он широко улыбнулся Неопиханову и крикнул:

— Время зря тратите? Все войне обучаешь, командир?

Легко соскочил с лошади, подошел к Тюделекову.

— Это ты, как зерна растут, слушаешь? Поговорим еще с тобой. Где комиссар у вас?

Он прошел в палатку Домашнева. Домашнев лежал неподвижно на земле, отвернувшись от входа. Степан подошел к нему, положил руку на его плечо. Домашнев резко повернулся. Глаза его впали, потускнели, углы губ стянули рот, лицо чуть кривилось. Он вскочил и уставился на Степана.

— Лизавета у тебя?

Домашнев изумленно мотнул головой. Степан сразу стал серьезен и мрачен.

— Ка-ак? Где ж она?

Домашнев схватил Степана за плечи и крикнул:

— Ну, говори! Что еще? Говори!

Степан рассказал, как Лизавета ускакала за женихом. Домашнев опять вскинул руки, как вчера вечером, в деревне, открыл рот, захлебнулся... и сжал зубы, дернул со всей силой за какие-то нити, управляющие лицом; по лицу прошла волна, оно потемнело и застыло. Он вышел из палатки, махнул рукой и крикнул пронизывающим голосом:

— Командиры, ко мне!

Занятия были прерваны, командиры сбежались к Домашневу. Он коротко рассказал им, в чем дело. Кончив, он помолчал, глотнул раза два и сказал тихо:

— Лизавета — моя... моя...

Захлебнулся, отошел, сел в стороне, не глядя ни на кого, весь сжавшись. В молчании Степан подошел к нему, тронул его косолапо, но осторожно и нежно сказал:

— Ты, комиссар, поплачь, поплачь, ничего, мы тут свои, полегчает, слышь, промой глаза, а то в голове горе застит; куда ты такой годишься? поплачь, ну!..

И Домашнев глухо всхлипнул, уткнувшись в рукав Степана. Неопиханов, отворачиваясь, шепнул Тюделекову:

— Вот оно, горе-то, что оно значит. Парижский ведь человек, а вот оно! А девку тоже белые забрали, поскакала — и на них наткнулась.

— Сисенков, сукин сын! — заорал вдруг на весь лагерь Тюделеков. — Сисенков явился!

— По-твоему, что нам надо делать?

Сисенков изумился, обвел глазами сидевших в палатке и уставился на Тюделекова.

— Чудно спрашиваете, товарищ Тюделеков! Я над кашеварами командир, а не над красноармейцами.

— Я не совета у тебя спрашиваю, а мнения твоего, понял?

Сисенков улыбнулся; он понял, чего хотел от него Тюделеков, сплюнул, уселся и закурил.

— Мнение мое, как и всех ребят, — одинаковое. Белых бить пора, товарищ Тюделеков, а то с одной малярией воюем, да грамоте учимся. Поспели бы учиться и потом. Что мы хуже пехоты, что ль,—в горы не пролезем? А у них силы там нет, только персюков они оттуда подстрекают.

Тюделеков резко повернулся к Неопиханову.

— Слыхали? Все ждать будете? Домашнев, я с вами говорю, потом плакать будем, людей надо спасать. Отдадите вы приказ итти на белых или нет? Мне тоже сидеть надоело! И отдавать им двоих на растерзание я не намерен! Я слыхал, какой у них зверь Хорошаев! Подумаешь, стратегию какую развели, в белый Верден поверили! Ну? Скоро вы решитесь?

Сисенков опять сплюнул и крикнул:

— Правильно, товарищ Тюделеков!

— К-ш! Кашеварный командир!

Неопиханов повернулся к Сисенкову.

— Ты бы помолчал? А? И не место тебе здесь совсем.

Но Тюделеков заорал на начальника:

— Нечего теперь дисциплину наводить! Отдашь ты приказ или нет?

Сисенков закрыл ладонью рот, прыснул и сейчас же вскочил и уставился на Неопиханова.

— Оповестить ребят, что ли?

Неопиханов яростно выругался, потом сконфуженно сказал:

— Довели, черти! Опять я ругаться стал. Вчерашний день сам рапорт писал, что без пехоты нам никак невозможно, а нынче вон что́...

Домашнев встал, ни на кого не глядя, подошел к Неопиханову и глухо сказал:

— Я за наступление.

Неопиханов взмахнул руками.

— Да разве я!.. Вот народ! Беги, слышь, Сисенков, вели трубить сбор, — выступаем!

Сисенков бомбой выскочил из палатки. Тюделеков побежал за ним и на бегу крикнул:

— Давно бы так! Домашнев, ничего, обоих отобьем!

Степан, у которого из-под сдвинутых бровей, несмотря на серьезность положения и тревогу за Лизавету, поблескивало все время веселое любопытство, решительно и вместе с тем смеясь над собой, сказал:

— И я с вами! Воевать пойду! Своя, небось, Лизавета-то. И народ вы правильный. Пойду! Ружье дадите?

16.

Лизавету столкнули в яму. Яма была вырыта во дворе, глубокая, в два человеческих роста, — как у всех старых богатых черкесов, предназначена была яма для пленников и провинившихся слуг. Хоть руки Лизавете и развязали, но взобраться по отвесным рассыпающимся стенам не было никакой возможности. Земля в яме была жирная и сырая, упав, Лизавета не расшиблась. Пошарив кругом рукой, она наткнулась на холодных скользких червяков. Она побоялась сесть, чтобы червяки не заползли за ворот. Она облокотилась о стену и так стояла.

В яме было темно, по земле давно уже разлилась ночь. Звезды были слишком далеки и неодушевленны для Лизаветы, чтобы поэтически утешить ее. Когда она прислушивалась, ей казалось, что яма наполняется шуршанием, тихим визгом червяков или их тел, трущихся о землю. С земли, сверху звуков не было. Ночь задержалась такая, в какие Лизавета любила слушать тишину неслышно обтекающей землю теплой свежести. Но в яме было душно. Лизавета не могла даже отдышаться от пытки поручика, — вспоминая неоконченное еще насилие, лицо и шопот Хорошаева, а главное — его наглые беспощадные рвущие руки, она задыхалась и готова была грызть землю от бессилия и обиды. И вместе с тем она не могла не думать о том, что с нею еще будет. Было просто: мысленно предпочесть смерть унижению. Но и покончить с собой было нечем, да к тому же здоровый инстинкт требовал не забегать вперед, ждать какого-нибудь случая до конца. Но придумать способ избавиться от Хорошаева, сидя в яме, было делом безнадежным. Она и не искала этого способа. Она радовалась, что Домашнев не попал в плен. Но она боялась теперь, не перехватили ли его горцы. Она не могла простить себе, что послала его на безнадежную выручку Юмашева, и все-таки гордилась, что он, не рассуждая, понял ее и исполнил то, без чего он не был бы ее женихом. И она мучительно думала, не ухудшил ли ее отказ Хорошаеву судьбы Юмашева. И все время она не могла отделаться от мысли, что ей еще предстоит, как, может быть, из рук Хорошаева она перейдет к старому генералу и потом еще к кому-нибудь и еще, — она ведь знала обычаи гражданской войны...

Лизавета не почувствовала, что в яме стало еще темнее. Но она услыхала шопот:

— Слышь ты, отвечай!

Она подняла голову, не понимая, кто должен здесь шептаться, кто и чего боится. Над ямой склонилась чья-то всклокоченная голова.

— Спишь, что ль? Или обмерла? Отвечай, слышь!

Лизавета решила, что за ней пришли уже посланцы Хорошаева. Но почему же они говорили шопотом? Она решила откликнуться.

— Что надо?

— Жива? Ты не бойся, спасти тебя хочу. Не офицер я, я денщик генеральский, генерала Лихова. Нету сил у меня больше, измучился. Держи веревку. Поймала? Крепче держись и лезь. Я поддержу. Тише, услышат — беда.

Лизавета привыкла лазить по горам и деревьям. Ей не приходило в голову подозревать какой-нибудь обман. Не воспользоваться таким случаем было так же невозможно для нее, как струсить. Она быстро взобралась на край ямы. На дворе никого не было. Она глубоко вздохнула воздухом, чистым и прохладным, смывая с души прикосновения Хорошаева и грязь ямы. Кондрат пригнул ее к земле и, оглядываясь, прошептал:

— Ты вот что, ты поклянись мне, слышь, что заступишься за меня перед своими, перед красными, а то назад брошу. Я три раза от генерала своего бегал, ловили. Я за красных, понимаешь ты, а не мог никак. Ты расскажи своим. А уж я проведу тебя, теперь легко, караулов-то нет, разбежались наши все. Клянись, слышь!

Лизавета кивнула головой. Кондрату нельзя было отказать.

— Нет, ты господом богом клянись. Эх, забыл я, бога-то нет у вас. Ты мне так поклянись, чтоб слово твое верное было, как все равно — присяга, еще присяги верней, понимаешь, чтоб всего верней, вот, как правда ваша красная.

— Клянусь!

Были странны клятвы, произнесенные шопотом, как и кондратовы заклинания, в ночи, в тишине, когда каждая минута была на счету. Но больше, чем за жизнь, терзалась тревога Кондрата и Лизавета его понимала, понимала, что клятвы ее сейчас так же важны, как бегство, что они — те особенные слова, на которых строится вера, движущая, может быть, даже горами. Но Кондрат еще не поверил окончательно, еще проверял, не бегство, а цель его была ему важнее всего, и он проверял верность своего пути.

— А может, ты и не красная вовсе, красные за свою тебя не признают, не послушают, убьют меня, что я раньше к ним не перешел, с генералом оставался, на службу не возьмут, — куда я тогда? я с ними хочу, я — красный...

— Признают. Комиссар ихний — мой жених.

— Ну-у? Так им ты и клянись.

— Клянусь. Вот тебе.

Что подсказало Лизавете, как надо убедить Кондрата? Она поцеловала Кондрата, спокойно и серьезно. Кондрат решительно взял ее за руку, словно бы поцелуй этот был убедительнее всех клятв.

— Идем! Верю я тебе! Целуешь — значит, я тебе товарищ. Господи!.. сколько я... а встретил вот... Ну, идем, и то уже время сколько проболтали.

Сгибаясь, проскользнули по двору, вошли в какие-то сени. Неожиданно Кондрат потащил Лизавету внутрь сакли.

— Ты куда?

— Молчи!

Лизавете, действительно, оставалось только молчать. В измену Кондрата поверить она не могла, но даже если измена — что можно было сделать? На походной постели, задрав кверху мечом торчавшую бороду, храпел генерал Лихов. Больше в сакле никого не было. Кондрат, оставив Лизавету в дверях, проскользнул к постели, наклонился, посмотрел в лицо генерала, прислушался. Потом схватив лежавшую на стуле огромную запасную подушку, он накрыл ею лицо генерала и навалился на нее животом. Генерал заглушенно захрипел, дернул руками. Кондрат поймал руки и притиснул их к кровати. Ноги генерала мотнулись и стали бить по краю постели. Кондрат прошептал убедительно:

— Ноги, ноги ему подержи, слышь? Не могу я один! А то прибегут, стук ведь.

Лизавета хотела закричать, но проглотила крик, подбежала и схватила ноги Лихова. Ее судьба была ведь бесповоротно связана с Кондратом, и теперь было не до чистоты рук. Кондрат прошептал ей, пока в ее руках дергались и бились генеральские ноги:

— Не хотел я тебя тревожить, да видишь ты, про ноги-то я забыл, а — стук...

Генерал вздрогнул еще несколько раз и затих. Кондрат осторожно встал, не отнимая рук от подушки, потом поднял одну руку, потом—другую, приоткрыл сначала и, наконец, снял подушку. Лизавете показалось, что прошел целый час. Генерал был мертв. Молча, взял Лизавету за руку и вывел ее на воздух, где она покачнулась, и он поддержал ее, шепнув:

— Ничего, слышь, я это убил, я один, ты не помогала, ничего.

Они вышли на пустую улицу и крадучись пошли вдоль стен. Лизавета остановила Кондрата, спросив, нельзя ли освободить и взять с собой Юмашева.

— Кончился. Слыхал я, как с ним Хорошаев разговаривал. Уж раз Хорошаев заговорил, значит, — крышка. Сбесился Юмашев-то, ну его Хорошаев и пристрелил. А ты жива, потому он с мужиков всегда начинает.

Они вышли за аул. По другую сторону аула стояли часовые, мимо которых они бы не прошли. Здесь же гора обрывалась, подняться с этой стороны было невозможно, спуститься же — только по веревке. Веревка у Кондрата была. Он привязал ее к большому камню, спустил по ней Лизавету, спустился сам, восхищаясь лизаветиной ловкостью, которая не очень-то давалась ему. Потом, в темноте еще, начался спуск по крутизнам, пока на рассвете не добрались до узкой дороги. Кондрат, оказалось, не раз высматривал этот путь, Лизавета тоже умела находить дорогу в этих местах. Не отдыхая, они шли дорогой до тех пор, пока Кондрат не решил,

что достаточно поздно, и их могли уже хватиться и послать погоню. Они добежали до леса и вошли в него. Лизавета потребовала отдыха. Кондрат не хотел останавливаться, но она упросила его. Сидя на траве и чувствуя безмерную усталость, Лизавета, как от настойчивого кошмара, не могла отделаться от ночного убийства, затмившего даже издевательства Хорошаева. Чтобы разбить невыносимое молчание, — Кондрат осторожно прислушивался, — она спросила его, как он решился убить генерала.

— А я вытерпел чего! За скота, все равно, держал. Вот и ткнул. Долго я ждал. Все не с кем к красным итти было. Дождался. Ты, смотри, все красным расскажи.

Пошли дальше. Теперь уже Лизавета вела Кондрата,—он этих мест не знал, да и Лизавета больше чутьем вела. Утром, когда наступила жара, Лизавета не смогла дальше итти. Голова ее свисала, ноги не передвигались и не могли удержать отяжелевшее тело. Перед глазами стояла пелена, а в ушах раздавался генеральский храп. Она упала, отказалась итти и мгновенно уснула. Кондрат сел около нее, прислушивался, сторожил. Он не мог лечь, боясь погони и волнуясь перед встречей с красными. Но Лизавету он жалел и не будил. Она спала долго, проснулась же от того, что у дороги слышался нестройный шум, а Кондрат тряс ее и говорил:

— Вставай, красные идут! Слышь ты, смотри не забудь, какую клятву ты мне дала, — поцеловала ведь!

17.

Бывают у человека такие дни, в которые вдруг рядом моментальных и комбинированных действий вдохновленной опасностью воли, благополучно разрешается все, что накоплялось иногда годами. Такой день наступил для поручика Хорошаева. Он проснулся утром, еще утомленный вчерашним, оттого что ворвался к нему капитан Злыгостев с перекошенным лицом и залпом сообщил, задыхаясь, что генерал задушен на своей постели, что пропал денщик Кондрат, что исчезла пленница, и никто беглецов не видал, что в отряде не осталось и ста человек и что, наконец, неожиданно приехал английский лейтенант, все узнал и хочет уехать один. Первое, что Хорошаев сказал, вскакивая с постели, было:

— Англичанина не выпускать!

Хорошаев не раздумывал и не сокрушался. Он сразу сообразил все и понял, что спасение в быстроте. Он бросился посмотреть, убран ли труп Юмашева, потому что знал, что вид трупа, а не сама смерть, может быть неприятен лейтенанту, — он знал англичан. Злыгостев остановил его, сильно волнуясь:

— Так как я старший чином... и чин мой капитанский, то-есть, который судном командует... самим господом богом так установлено... а судно наше в опасности... то я полагал бы, что командование, бесспорно, переходит ко мне... а вы остаетесь начальником штаба... а за заслуги ваши я бы произвел вас в штабс-капитаны

Хорошаев поморщился и вдруг улыбнулся, подошел к Злыгостеву и положил ему руку на плечо.

— А знаете вы, капитан, что командир судна последним покидает его в минуту крушения?

— Знаю, поручик.

— И в случае чего думаете так поступить?

Злыгостев даже обиделся.

— Я долг мой знаю, поручик, я не прапор какой-нибудь, а старый офицер.

Еще шире улыбнувшись, Хорошаев перекрестил его.

— Ну, так с богом, капитан!

Злыгостев захлопал глазами. Он не ожидал этого и почему-то думал, что поручик вступит с ним в препирательства из-за командования. Поэтому он и придумал подкупить поручика производством. Растерявшись, он отдал поручику честь, как полковому командиру, когда-то с теми же словами посылавшему его в атаку, и вышел, не находя больше слов.

Хорошаев знал, что Злыгостев теперь в его руках. Он даже не ожидал от капитана такого честолюбия. Он, не спеша, оделся, прошел в помещение генерала, достал из-под кровати шкатулку с армейскими деньгами, а из-под подушки — генеральский бумажник, и вышел на улицу, предварительно положив деньги из шкатулки и бумажника к себе в карман. На улице он увидал английского лейтенанта, которому Злыгостев не позволял сесть на лошадь и уехать. Лейтенант ругался и грозил, но Злыгостев, как в чин свой веривший в дипломатические способности Хорошаева и правильность его распоряжений относительно англичанина, был неумолим и твердил:

— Принужден задержать вас ввиду начинающихся военных действий.

— Вы с ума сошли! Вы ответите! Как вы со мной обращаетесь! Вы забыли, кто я? Вы идиот! — вопил англичанин.

Злыгостев отвечал невозмутимо:

— За оскорбление старшего и начальника отвечать будете вы перед военным судом. Я — начальник отдельной армии по праву старшинства и никому не подчиняюсь.

Лейтенант, увидав поручика, в отчаянии обратился к нему. Поручик пригласил его в саклю и сказал, когда они остались наедине:

— Вам ясно, господин лейтенант, что вопрос нашего существования — только вопрос распорядительности красных, не правда ли? Ведь вам, все-таки, известно военное дело настолько, чтобы понять это. Как только красные узнают, что такое армия капитана Злыгостева, — а они это узнают сегодня же от перебежчиков, — они возьмут нас голыми руками.

— Тем более вы не смеете подвергать риску английского офицера!

— Но мы подвергаемся более, чем риску, мы ждем смерти. Не думаете ли вы, что было бы справедливо, если бы наша судьба была разде-

лена теми, кто нас, так сказать, вдохновлял, хотя бы вами? И вспомните — нам ведь было кое-что обещано в награду за то, что мы исполняли ваши директивы. А именно...

— Вы ничего не исполнили, и мы вам ничего не поручали, а только получали от вас сведения. И у меня нет распоряжений начальника, чтобы перевести вас через персидскую границу.

— Очень мило со стороны вашего начальника. Если мы еще будем ждать этих распоряжений, то нас убьют. А если отпустить вас, вы не вернетесь. Придумано не плохо. Слушайте, лейтенант! Я не знаю, что вы докладывали вашему начальнику, и не хочу догадываться, что̀ за судьбу он нам готовил и на что мы были ему нужны, хотя это вполне ясно. Во всяком случае, планы, которые вы нам предлагали, были безумны и невыполнимы. Но мы все сделали, чтобы их осуществить, и не далее, как вчера, я расстрелял одного красного командира за отказ взорвать нефть. Вы знаете, что ждет меня за одно это у красных. Будем говорить прямо. Вы, может быть, ни в чем не виноваты. Но вы в моих руках. Я хочу, чтоб вы взяли меня одного, только меня одного с собой и перевели через границу и внушили персам, что меня ни трогать, ни выдать красным нельзя. Дальше я устроюсь сам.

— Но я не имею права...

— Тогда вы разделите мою судьбу. Не надейтесь, что красные вас не тронут. Я успею им кое-что рассказать.

Лейтенант долго думал, потом сказал робко:

— Но разве не все захотят перейти границу?

Поручик улыбался, как всегда. Он знал теперь, что дело его выиграно. Ему нужна была только защита от персов. Он велел лейтенанту дожидаться, предупредил его, что если он вздумает рассказать что-нибудь капитану, то придется обоим остаться здесь, и пошел искать Злыгостева. Злыгостев распоряжался рытьем окопов. Поручик сказал ему, что лейтенант решил принять участие в обороне аула, что он, Хорошаев, ввиду серьезности положения, тоже решил итти в строй и что они вместе просят капитана, как начальника, разрешить им сделать рекогносцировку, так как поручик боится, что красные уже начали наступление. В последнем Хорошаев действительно был уверен, потому что не сомневался, что Кондрат расскажет красным, какое войско укрепилось в горах. Почтительный тон Хорошаева был очень приятен Злыгостеву. Он спросил только, почему бы не послать простых солдат. На это Хорошаев таинственно ответил, что он не уверен в их преданности. Сдвинув брови, Злыгостев многозначительно кивнул и предложил Хорошаеву взять солдат с собой. Хорошаев втолковал ему, что двоих вполне достаточно и что у них лошади лучше солдатских. Злыгостев отпустил его, важно велев помнить об осторожности. Поручик, вежливо откозырнув, приказал седлать лошадей.

Капитан Злыгостев переживал томительные минуты. Он мало думал об опасности, он, может быть, даже хотел ее. В первый раз в жизни он оказался самостоятельным командиром, титул которого был ни больше, ни

меньше как командир армии. Он никому не был подчинен, и у него не было даже настоящих помощников. Пусть армия его состояла из нескольких десятков достаточно небоеспособных солдат — разбойников и мародеров и мобилизованных гимназистов. Но он не верил, что красные могут быть сильны. Он был убежден в неприступности аула. Он боялся только споров с Хорошаевым за право командования; он боялся, что Хорошаев захочет отнять у него в свою пользу возможность выдвинуться и сможет достичь этого красноречием. Поэтому, когда Хорошаев добровольно уступил ему все права и обязанности, он забыл все былые хорошаевские издевательства и даже почувствовал глубокую благодарность к поручику. Он разрешил бы ему сейчас что угодно. Ведь настала та минута, когда он, Злыгостев, наконец, покажет, на что способен несправедливо затертый русский капитан. Он смутно мечтал уже о том, как он прогонит красных, овладеет всем Ленджистаном и на предложения англичан гордо ответит:

— Я — российской армии капитан и капитаном останусь на всю жизнь, потому что это такой чин... такой чин...

А может быть принять тогда полковничьи и потом генеральские погоны?

Но он не умел вкусно и длительно мечтать. Мечты его были смутны. Пока что он суетливо распоряжался рытьем окопов в твердой горной земле и установкой единственного, до сих пор безработного пулемета. Но проверить затвор у пулемета ему не пришло в голову. Он думал, что у такого командира, как он, всегда все в порядке. Солдаты, как и весь мир, казались ему много лучше, чем вчера. С такими героями... С таким командиром... Он почти хотел, чтоб как можно скорее показались красные; если же они не покажутся, он сам нападет на них, как снег на голову, да, как снег на голову. От его обычной унылости не осталось и следа. Он действовал в каком-то вдохновении. Как будто бы многолетнюю пыль сдунули с его глаз, и они заблестели. Пыль сошла и с лица его, оно стало подвижным. И голос, которым он отдавал распоряжения, подбадривал, — правда, только его самого. А когда Хорошаев и лейтенант проехали мимо него, и лейтенант презрительно отвернулся, а Хорошаев насмешливо козырнул, Злыгостев, не подозревая, что видит их в последний раз, и не догадываясь, что поручик увозит с собой всю армейскую казну, вспомнил недавнюю сцену и, почувствовав всю прелесть ее традиционности, широко перекрестил новых разведчиков и крикнул:

— С богом, поручик!

18.

Лошадей оставили в дальнем ауле, и никто не хотел остаться сторожить их, ни принять участия в последнем походе, в последнем разгроме. Весь день, несмотря на лихорадку, взбирались узкой дорогой: с одной стороны пропасть, с другой — отвесные кручи. Головы кружились, пропасть манила, солнце и камни жгли. Кавалеристы карабкались в гору,

опираясь на винтовки. Солнце сопротивлялось, как будто за ним, за его расплавленным золотом, шли юмашевские конквистадоры в неприступные крепости охраняющих золото гор. Родники поили, но коварным течением своим указывали единственный путь, — вниз. И вниз срывались потревоженные камни, показывая, как долго лететь мертвому телу до родной, до ровной земли, чтоб разбиться, расплющиться о нее. Но конквистадоры шли, не боясь угроз и предостережений, и Степан удивлялся выносливости российских. Домашнев шел первым, низко опустив голову, размеренным и упорным шагом охотника, который день преследующего убегающего оленя, не подпускающего к себе человека на ружейный выстрел. Домашнев вряд ли замечал, что идет по горам. Он шел за своей любовью, он шел за своим другом, — увидеть их хотя бы мертвыми. Он как будто не спешил. Но и ничто не могло остановить его размеренный шаг.

За Домашневым, бесконечно ругаясь, поминутно подзывая Сисенкова, отдуваясь и останавливаясь, шел Тюделеков. Неопиханов требовал, чтобы впереди шел только один человек из комсостава, а не подвергались первой же бессмысленной опасности все, но его не слушали, и в результате он сам со Степаном, не выпускавшим Домашнева из виду, шел третьим. Он пытался отослать в тыл хоть Степана, но тот решительно заявил:

— Внучка-то, милый, моя.

За ними шли красноармейцы, подсаживая друг друга, остря над пехотным своим положением, веселой, уверенной толпой. Для них сама пешая экспедиция в силу одной уж необычности своей имела вид прогулки. За год кавказских боев они научились ничего не бояться.

От солнца, от головокружения, от чистого воздуха гор у усталых людей бывают галлюцинации. Домашневу показалось, когда отряд поровнялся с лесом, последним лесом на горах, что кто-то поднимает его опущенный лоб, что какая-то сила тянет его выпрямиться и взглянуть вперед. Он отмахнулся, но, казалось, кожа на лбу его чувствует, как ее отрывают от кости, поднимают голову кверху. Чтоб избавиться, он поднял глаза. На дороге стояла Лизавета.

Когда близорукие люди теряют пенснэ, единственное свое, когда они ищут его мучительно, внезапно ослепнув, выброшенные из жизни, ищут целый час, готовые, кажется, разбить пенснэ или целовать его, если найдется, и когда, полупримирившись со своей слепотой и отчаявшись, они неожиданно находят его в таком месте, куда оно как будто никак не могло попасть, — они только одевают его на нос и удовлетворенно возвращаются к жизни, может быть, даже не испытывая особого счастья. Но они прозревают. Домашнев, увидев Лизавету и удостоверившись, что это не галлюцинация, не кинулся к ней, не заплакал и не засмеялся. К нему — всего-на-всего — вернулась жизнь, и он спокойно на вид принял ее. Он подошел к Лизавете, сжал ее руку и тихо спросил:

— Что?

И она поняла и так же тихо ответила:

— С тобой я.

Их окружили. Степан ругал и целовал внучку. Но никто еще не пожал ее руки, а Домашнев уже знал, что Юмашев убит. Он отошел в сторону и прислонился к дереву. Не на одну радость возвращаются к жизни даже прозревшие.

А забытый Лизаветой Кондрат вытянулся перед Тюделековым, приняв его за главного, потому что рыжая шевелюра и молодцеватость бывшего офицера напоминала бывшему денщику его командиров. Кондрат тянулся так долго, что Тюделеков отвел его руку от фуражки и ткнул его пальцем в живот.

— Чего надулся? Человеком стой! Что тебе?

Смущенный Кондрат стал путано объяснять. Тюделеков прервал его:

— Не мне. Вот кому.

И подвел Кондрата к Неопиханову, шептавшемуся с Домашневым и без смущения стряхивавшему теплую каплю с ресниц. Кондрат окончательно растерялся. Он не мог понять, что этот простой и щупленький солдат — командир над странно ведущим себя офицером. А в довершение его замешательства Лизавета подбежала к Домашневу и что-то шепнула ему, и Домашнев протянул Кондрату руку.

— Я — военный комиссар. Я принимаю вас, товарищ, в Красную армию и от ее имени благодарю вас за все... за все.

А Неопиханов заботливо сказал:

— Ты, товарищ, не ел, может? Ты поди взад, скажи там,—дадут. А докладывать нечего, мы не генералы. Перешел к нам, и хорошо. А для нас ты свой. И что генерала убил — хорошо, нам легче.

Степан щурил глаза и качал головой. Ему не все казалось хорошим, в частности — убийство генерала. Но Кондрат, в первый раз в жизни, должно быть, потрясенный невероятностью происходящего, потому что невероятным могло для него быть только человеческое к нему, Кондрату, отношение, — рухнул вдруг на колени и в диком исступлении своего счастья завопил что-то совершенно неразборчивое о своей преданности новым людям и новым порядкам. Неопиханов склонился над ним, успокаивал его.

Лизавета не захотела оставить отряд, несмотря на уговоры. И Домашнев был этому рад, он не мог расстаться сейчас с ней. Они почти не разговаривали друг с другом, они шли рядом и только изредка, с длинными промежутками, одним-двумя словами, улыбкой, движением бровей передавали свои переживания, мысли и чувства. Домашнев хмурился: он не мог забыть о Юмашеве и шептал глупости, вспоминая пророчества друга о гибели. Человек умер, — Домашнев давно привык относиться к этому просто. Но простота подчеркивала боль, не затемняя ее рассуждениями.

Рассказы Кондрата пристыдили Неопиханова. Он видел теперь, что, пожалуй, и раньше можно было прикончить белых. И уж всем окон-

чательно казалось, что поход — только прогулка. Но это было не совсем еще так.

Лизавета думала о том, что желанный мир открылся ей сразу смертью, насилием, ужасом, что в этом мире сурова даже ведущая его любовь. Но мир этот, может быть, именно человеческой кровью был тепел; в нем, как в крови самой Лизаветы, перекатывались темные и жгучие волны Она радостно принимала этот мир, — в нем было что делать ей. Она шла в гору — рядом с Домашневым — дорога после пережитого была трудна, но зато было куда итти...

На закате Кондрат остановил Домашнева и предложил ему послать часть отряда той же дорогой, какой бежали денщик и Лизавета. Если веревка цела, можно по ней взобраться и захватить белых врасплох. Если нет, обойти кругом и соединиться потом с главным отрядом. И еще удивлялся Кондрат, что за поворотом к аулу не стоит охранение. Он не знал, что Злыгостев стянул все силы в аул, надеясь на своих разведчиков, которые предупредят о наступлении. А разведчики были уже в Персии...

Домашнев принял план Кондрата. Он сам пошел с ним и с сотней красноармейцев в обход, поручив Лизавету Степану и пожав ей руку наравне с остальными. И Лизавета радовалась тому, как умеет ее спутник итти по большой дороге жизни, как он знает эту дорогу и ее законы...

Ночью, в темноте, Кондрат привел свой отряд к тому месту, где спускался он с Лизаветой. Без веревки взобраться было бы немыслимо, но веревка была на месте. Кондрат подергал ее, поплевал на руки и предложил, что он взберется первым и втащит одного за другим остальных. Красноармейцы зашептались об измене; Кондрат снова почувствовал себя несчастным и отверженным, но Домашнев сказал ему:

— Лезь. За тобой полезу я.

Кондрат просиял и осторожно, сдерживая дыхание, полез. Он сам впервые, вероятно, обнаружил в себе такую ловкость, — спускался он вчера куда грузнее. Веревка была крепка, но — вдруг ее заметили белые, вдруг следили за ним. Раскачиваясь, натирая руки, обхватывая веревку ногами, Кондрат, наконец, взобрался. За ним полез Домашнев, за Домашневым уже быстро влезли остальные. В это время раздался условленный выстрел, — головной отряд подошел к самому аулу. Домашнев разрядил в ответ револьвер, и оба отряда кинулись на аул. Растерявшиеся белые были побиты или схвачены. Один Злыгостев, которого хотели взять живьем, в бешенстве кидался на всех, пока его не приперли к стене. И тогда он не хотел еще сдаться, нелепо махал шашкой и кричал:

— Я — капитан! Капитан!

Но когда он увидел, что все пропало, он с такой яростью кинулся на ближайшего красноармейца, что тот невольно подставил ему штык. Так умер последний капитан. Когда обыскали аул, когда выругались, узнав о бегстве Хорошаева, когда улеглось волнение и были пересчитаны свои и чужие, Неопиханов сказал:

— А ведь наш Ленджистан-то!

Тюделеков свистнул.

— А персюки?

— Персюки тогда страшные, когда русские с русскими воюют. А теперь.

Тело Юмашева нашли в яме и похоронили, когда уже брызнул рассвет. Домашнев отошел в сторону и увидел кругом снежные вершины в золотой россыпи зари. Тоска похорон и смерти, победа и близость Лизаветы и эта брызжущая россыпь и нестерпимое солнце, опирающееся на горы, чтобы выйти в мир, — сложностью томительного счастья и печали кинули сердце Домашнева ввысь. Он вспомнил слова Юмашева о Жар-птице, о новом солнце Ленджистана, которое стало домашневским солнцем, которое всегда приходит из страны невероятной и манящей, и зовет конквистадора в новое путешествие, в новую непокоренную страну,— страну, о которой грезят поэты, но которую знают и в которой живут — Домашневы и Лизаветы.

Ленджистан же был покорен.

На перекате.

(Рассказ).

Ал. Смирнов.

Обрывистый, песчаный берег Волги. Внизу у воды песчаные же отмели. На краю обрыва стоит желтенькая будочка перекатного поста: рядом с ней высокий полосатый столб с перекладиной, на которой висят водомерные сигналы, в виде черных прямоугольных досок и кругов.

Возле самой будки на заваленке сидит старик, пришивая козырек к старому картузу просмоленными, корявыми пальцами. А около него, на траве — парень, сидит на пятках перед протянутым шестом и разбирает спутавшиеся петли в рыболовной сети.

На Волге тишь. Вода перед вечером — как зеркало. В теплом воздухе толкутся комары. Высоко над землей летают стрижи. Весь берег покрыт множеством дыр от их гнезд. В единственном окне будки отражается закат, и кажется, словно в ней горит огонь.

— Вот они какие эти лекаря-то, — сказал старик. — А то вот тоже намедни... пришел это я насчет груди. Хорошо. Усадил он это меня, и все как есть. И давай меня щупать, вертеть туда и сюда, стучать мне и в грудь и в брюхо. Я смотрю, что будет. А он: «это, — говорит, — у вас застарелый ревматиз»... Да... ну что ж, я ничего... сижу. А потом, — говорит, — в начатке туверкулез как будто есть. Во как! А что это за штука такая, Митяй?

— А это болезни такие, вроде как чахотки... В теплых странах от них лечатся.

— ... В теплых?.. А где они?

— Кто ее знает. Туда, книзу должно, — говорит Митяй, махнув рукой вниз по течению Волги и посмотрев на сиявшую от заката широкую гладь реки.

— Вам, — говорит, — усиленно питаться надо, и чтоб, — говорит, — вечером в сырости не находиться — это, — говорит, — для вас смерть...

— Смерть?

— Да... Я, — говорит, — вам пока никакого лекарства не пропишу, потому вам от него все равно никакого толку, а вот только насчет сырости.

Ладно, думаю, что ты меня бесплатно лечишь-то, а то бы я тебе прописал лекарство, очкастому бесу... Я от этой сырости-то кормлюсь. Всю жизнь в ней прожил — ничего, а теперь — на-поди — смерть! Да еще, — говорит, — вам на солнце голяком хорошо бы лежать. Что ж я — сумасшедший или дачник!

— Годов тридцать будет, как тут живешь? — спрашивает Митяй.

— Какой — тридцать! Все пятьдесят. С одного перекату на другой так и перехожу.

— Я б тут не остался, — говорит Митяй.

— Не остался... А куда ж ты пойдешь?..

— Мало ли куда, туда куда-нибудь...— говорит парень, махнув рукой на светлую широкую гладь.

— В теплые страны?..— насмешливо говорит старик, — грамоте сначала поучись... Вон уж темнеет-то как, бакены пора зажигать. Ты засветишь, что ли? А я пойду на жерлицы погляжу, не попалось ли нам чего с тобой на ужин-то.

Вечер все больше густеет. Солнце совсем уже зашло. От воды тянет влажным теплом и пахнет Волгой.

Митяй, взяв весла, ушел к реке. Старик с большой корзиной-садком для рыбы тоже, немного погодя, пошел к обрыву. Слышно было, как он бормотал, подойдя к круче:

— Сколько разов говорил этому сукину сыну — Митяйка, мол, изделай приступки тута... Так нет ведь — кажный раз приходится на заду съезжать!...

Все еще что-то ворча себе под нос, он, спустившись, идет по берегу. Потом, вернувшись, чистит рыбу.

Немного погодя возвращается к берегу Митяй. Долго гремит цепью. Деревянным черпаком отливает из лодки воду.

Уха в котелке уже кипит. Старик, сидя на корточках, мешает ее ивовым прутиком, щуря от дыму глаза и изредка хлопая на шее надоедливых комаров.

Относит в будку пустой лоток из-под ламп и возвращается оттуда с краюхой хлеба и ложками.

Совсем уже ночь. По всей Волге огоньки бакенов. Митяй лежит у костра, подперев щеку ладонью, и пристально смотрит на огонь.

Потом, обжигаясь, едят деревянными ложками уху, подставляя под них, чтоб не пролить, куски ржаного хлеба.

Старик сидит, поджав под себя ноги и говорит:

— Нынче дачников этих, что собак нерезанных. И отколь, скажи пожалуйста, столько привалило!

— Из города... отколь, — отвечает Митяй, лежа на боку и дуя на ложку.

— Ведь прямо из городов. Я уж и не помню, когда столько бывало. Только дачник теперь другой пошел. Посерей будет.

Сверху идет большой пассажирский пароход. Мерно стучит колесами. Огни ярко освещенных кают, рубки и круглых иллюминаторов, в кузове, у самой воды, отражаются в ней дрожащими зигзагами.

— Теперь небось и наш брат ездит...

— Образовались...

Митяй перестает есть. Приподнявшись, долго смотрит на поровнявшийся с ними пароход.

На корме, освещенная фонарем, стоит одинокая пара.

Митяй, задумавшись, долго смотрит вслед удаляющемуся пароходу, ковыряя в зубах рыбьей костью. Парочка еще видна. До сих пор еще белеет шарф молодой женщины.

Хоть бы в руках подержать такой...

А уж откуда-нибудь они едут. Сколько народу проехало мимо него. Вон хоть эти двое, небось в теплые страны поехали. У них там любовь и все, а он все на одном месте сидит да фонари для них зажигает. Река кормит, да от себя никуда не пускает. И окромя деда никого... Да... хоть бы в руках подержать. А то вот проехали и нету, так и все...

— Чего уставился-то? — говорит старик.

— Так, ничего.

Комары пропали. Оставшаяся на западе тоненькая, желтенькая полоска не пропадает, медленно переходя по горизонту к востоку. Через какой-нибудь час начнет светать, — заря с зарей сходится.

Митяй ломает сучья, бросает в огонь. Костер разгорается. Старик надел валенки и накинул на плечи старый армяк. Сидит на песке вытянув ноги, плетет из конского волоса лесу для удочки.

Спать не хочется. От безделья оба выспались днем.

Митяй, прислонившись спиной к углу будки, пристально смотрит на горизонт, на темную, волнистую полоску лесов за Волгой. Там видны два желтых зарева. Одно от лесного пожара, другое — от фонарей станции.

— Да, проехали и нету. Так и все... Эх, матушка, кормилица!

— Чего?

За Волгой на берегу вспыхивает огонек. Рыбаки, наверное. Трещат цикады в кустах.

Вдруг на тропинке, ведущей к будке, раздался шелест веток и звук чьих-то торопливых шагов. Через мгновение у костра уже стояла молодая женщина, в накинутом на плечи и на голову черном, кружевном шарфе.

Старик поднял голову и, разинув от неожиданности рот, удивленно смотрел. Митяй, весь встрепенувшись, тоже молча, неподвижно смотрел на нее.

— Я пришла... Мне нужно... Не можете ли вы перевезти меня через Волгу?

Видимо, она очень волновалась и запыхалась от быстрой ходьбы.

— Через Волгу? — переспросил старик, переводя глаза на Митяя.

— Да, да... Пожалуйста... скорее!..—сказала женщина, прерывисто дыша и сделав нетерпеливо-умоляющий жест рукой.

После некоторого молчания старик сказал Митяю:

— Что ж, Митяйка, валяй, пойди.

Митяй уже шел к обрыву. Старик от костра закричал ему:

— Эй, ты, лисипед, погодь лететь-то! Помогни барышне-то сойтить, а то вишь у нас тут... на заду только съезжать. Сколько разов я ему...

— Ладно, ладно...

Митяй подал женщине руку, помогая ей сойти, спускаясь сам спиной к реке.

— Да, у нас тут эт-та... да...

— Ничего, ничего, только скорей пожалуйста.

— Мигом...

Через минуту они уже сидели в лодке. Усадив ее на корме, Митяй оттолкнулся веслом и лодка, мягко шурша, сошла с мели.

Митяй работал веслами и украдкой смотрел на молодую женщину. Она была очень молода и красива. Так ему показалось. А главное очень тонка. Шарф оттенял бледность ее лица. Пахло духами.

Куда она? Что с ней могло случиться? Вот рядом сидит, а не спросишь. Другой, может, и спросил бы...

Утро уже занималось, начинался рассвет. Желтенькая полоска делалась все шире и шире, переходя в зеленоватое небо. Гасли звезды.

Молодая женщина напряженно-неподвижным взглядом смотрела куда-то вдаль, иногда до боли закусывая губы. Пальцы ее все время лихорадочно мяли край шарфа на коленях.

Лодка у Митяя почему-то вихлялась и вертелась, как чумовая, точно он не на Волге родился и в первый раз только весло в руки взял.

Когда они были на середине Волги, он только пробормотал ни к селу, ни к городу каким-то хриплым, не своим голосом:

— Быстряк самый... тута...

Женщина, все так же упорно глядя вдаль, ответила, думая о своем:

— Да?..

Митяй не нашел, что сказать, и только еще усиленнее стал грести веслами. Вдруг весло, сорвавшись, шваркнуло по воде, подняло целый столб брызг и обрызгало незнакомку.

Она вздрогнула от неожиданности, зажмурив глаза и испуганно выставив вперед руки.

Митяй покраснел до самых ушей.

Наконец, они приехали. Он с разгону пустил лодку к берегу, складывая вдоль бортов весла. Лодка с шуршанием врезалась в песчаную отмель и встала. Он соскочил на берег, подтянув за цепь ее еще дальше.

Когда Митяй помогал молодой женщине сойти на берег, на него еще раз пахнуло духами...

Уже светало. От воды и камышей в соседнем болоте тянуло тиной. В чаще кустов шиповника и тальника крякали дикие утки.

Молодая женщина торопливо достала из сумочки Митяю полтинник, как-то через силу ласково кивнула головой и, сказав: «прощайте», быстро

пошла по направлению к тускло горевшим, в сизой дымке утреннего тумана и лесной гари, — фонарям станции.

Розовело небо. Митяй долго смотрел в том направлении, куда ушла незнакомка. На фоне зари долго виднелась ее тонкая фигура в черном шарфе. Она все меньше. Вот уже еле видно. Скрылась.

В ладони зажат полтинник. Митяй тупо пристально смотрит на него, как бы силясь что-то сообразить... Потом сует его в карман и, махнув рукой, едет обратно.

Кольцо.

Вяч. Шишков.

Афоньке шесть лет, его двоюродному брату, Степану,—шестнадцатый. В третьем году Степан уехал с отцом в Москву; уехал Степкой, вернулся Степаном Обабкиным, «комсомольцем молодежи». Голодное время его отец работал в деревне на своей земле, потом вновь поступил на фабрику.

— Батька мой большевик, — с гордостью говорил Степан. — И как где собрание, обязательно речь сказывает... Называется — предшествующий оратор. Я всякий раз на собрания ходил. Речей двадцать завсегда. Слушаешь, слушаешь, уснешь: уж очень люблю я речи слушать. Батька мой, конешно, в общем и целом слесарь, а я комсомолец молодежи теперь. Хочешь в комсомол? Я здесь организую. У вас тут засилье, ни одного комсомольца нет.

И много, много говорил Степан Обабкин белобрысому, большелобому Афоньке. Тот хлопал глазами, во все уши слушал, от напряжения потел. О разных московских чудесах говорил Степан: об электрическом свете, о трамваях, кинематографах, аэропланах, и какие представления в театрах, и о том, как в майский праздник вся Москва на площадях, все красным-красно, и двадцать миллионов рабочих масс...

Заманчивей, упоительней всего для Афонькиной души рассказы о полетах ввысь и кинематографе.

— Ну и картинки... Вот картинки! — поддавал жару Степан Обабкин. — Например, охота на диких зверей в Африке — неограниченная республика такая существует: тигры, слоны, львы. Ужасти до чего занятно. Эх, вот бы тебе, Афоня, в общем и целом поглазеть...

— А звери-то настоящие? — раздувал ноздри Афонька.

— Неужто нет! Все настоящее... Опять — дворцы, и как в них тираны-короли живут-прохлаждаются, или, например, города разные, моря, корабли. Все настоящее... Гонщиков еще показывали на автомобилях. Знаешь? Называется — знак тринадцать. Все натуральное, всамделишное, обмана нет.

— Вот бы...— прошептал Афонька, и вдумчивое, выразительное лицо его умилилось.

А тут... В этакую глушь, в трущобу нежданно-негаданно прибыл какой-то человек, называется — кино-спец, фамилия непонятная. Росту он небольшого, коренастенький, — на носу глазастые очки, — из каких он народов, — неизвестно. Даже Степан Обабкин не мог определить.

— Лоб китайский, нос чухонский, глаза цыганские, а голова с плешью, — говорил он. — Надо полагать — интернационал. Только не музыка, а личность.

И вот началась история.

Кино-спец снял у крестьянина большой пустовавший сарай, быстро приспособил его для кинематографа и вывесил афишу, что, мол, будет показано самое настоящее кольцо Нибелунгов, замечательная картина, мировой боевик, от которого ахнешь, — а кто не верит, может убедиться за 15 копеек серебром или 5 штук свежих яиц, не болтунов. После же сеанса, мол, будут со сцены кушать семидюймовые гвозди с демократическим подходом к событиям, а не как довоенные жулики-шпагоглотатели с буржуазной точки, и прочее и прочее, да здравствует Советская власть!

В этой глухой, но зажиточной деревне сроду никто не видывал кинематографа, и, несмотря на приманчивые зазывы кино-спеца, билеты вовсе не раскупались. Тогда, в подмогу кино-спецу сам себя мобилизовал Степан Обабкин; согласно идеологии, он с жаром взял под свою защиту это культурное начинание. Вместе с Афонькой, тоже пожелавшим принять горячее участие в деле столь высокой важности, они бегали из избы в избу с агитацией. Степан Обабкин, в новых брюках-клёш и картузике с светлым козырьком, уверял мужиков и баб, что невиданной живой картиной все останутся довольны, там все движется: лошади бегут, собаки лают, люди дерутся или целуются, как живые, и все живое, настоящее, без всякого обмана, даже можно испугаться, когда вдруг пожар или в пропасть вниз башкой, а за ним погоня.

Однако красноречие не помогало. Тогда Степан Обабкин, забыв заветы комсомольства, начинал клясться и божиться, как цыган, размашисто крестясь в передний угол:

— На, черти, на! Вот те Христос... Да дядя Степан, не веришь-то?!

С ним заодно усердно крестится и торжествующий Афонька. Парнишка сразу вообразил себя большим, даже пробовал щупать верхнюю губу — не выросли ль усишки. Под влиянием Степана Обабкина он чувствовал и сознавал всю важность лежащей на них двоих задачи. Степан же Обабкин, если прижимистые мужики не шли и на божбу, употреблял угрозу, как последнее средство агитации:

— А кто не придет, — становился он в позу и смахивал на затылок кепку,— кто не явится, тот будет в подозрении, потому что тот человек не верит в Советскую власть плюс литрификация! А верит в попов для одурманивания бога и темных масс!

— Темных масс, — вторил и Афонька, делая лицо строгим, значительным.

— Неужто вы не можете понять, — гремел комсомолец, — раз город повернулся лицом к деревне?!

— Лицом к самой деревне...—толстым голосом прохрипел и Афонька, но пуговка на его вздутом животе вдруг лопнула, и штаны упали на пол.

Все захохотали, Афонька же быстро натянул штаны и весь вспыхнул. Внезапный провал его деловой солидности сжал его гражданское маленькое сердце, и он, поддерживая проклятые штаны, с горьким плачем выбежал на улицу.

Положение дела с сеансом спас милицейский. Он приехал для порядка из соседнего села, где в прошлое воскресенье кино-спец показывал фильму.

— Успех обеспечен, товарищи, — говорил он собравшимся на лугу крестьянам. — Прямо удивительно. Да вот увидите... Волосы дыбаром встанут. Ленту покажут первый сорт.

— На кой нам его лента-то? Девки мы, что ли? — отнекивались, галдели мужики. — То кольцо, то лента... Нам правильное кажи... Чтоб польза... Клевер там, либо удобрение какое... Небось, драть дерут, а тут так...

Однако народу на сеанс привалило много: огромный сарай едва вместил. Добрая половина зрителей пролезла, конечно, даром: под шумок, когда начался сеанс, парни с ребятами разобрали угол крыши и скакали в мрак, как в омут жабы.

Дед Вавила, что глазами недоволен, на первую скамейку с внуком Афонькой сел.

— Сеанс начинается! — крикнул кино-спец.

Что-то замигало, замигало, вспыхнуло, гладкая выкрашенная известкой стена вдруг провалилась, и вместо нее — живая жизнь. Раздался общий удивленный вздох, затем глаза и рты широко раскрылись, таинственный полусумрак онемел.

Афоньке стало жутко и приятно. Афонька слышал много сказок и вот теперь перед ним, перед самым его носом — имай, бери! — настоящая сказочная явь.

Дрожащим шопотом Афонька объясняет:

— Вот, гляди, дедушка, все настоящее это... Гляди, гляди!.. Лес-то какой, домище-то какой... И господа́... Кажись, короли да королевы...

— Франциль Винциял, — прошамкал дед. — Либо Бова королевич представлен это.

— Нет, дедка!.. Настоящее. Спроси-ка Степку. И лес настоящий... Гляди, ветром-то как его треплет... Аж шумит.

Вдруг лесной тропинкой какой-то длинноволосый дурень на белом коне мчится. И прямо на деда. Дед как вскочит, Афонька за ним.

— Не озоруй!..— крикнул дед в стену, где шумел, качался лес.— Пошто озоруешь?! Пошто коня на народ пускаешь?!. Неужто он, дьявол, ослеп, — скачет прямиком на нас с Афонькой...

— В чем дело? — спросил сзади кино-спец, он бросил накручивать, и картина остановилась.

— Лопнула, лопнула, — зашуршало по толпе.

— Ничего подобного, у нас нет лопнутых картин, — обиделся кино-спец.—Сейчас увидите небывалую от сотворения мира битву великого витязя Зигфрида с невиданным драконом, длина которого семьдесят две сажени, а в метрах значительно больше.

Все ахнули и покачнулись. Драконище, поводя огромной, величиною с хороший дом, страшной мордой пил воду из гремучего ключа. Многие заплевались, кто-то крикнул: «вот так, братцы, коркодил!..». Дед Вавила крестился, неумолчно творя вслух молитву:

— Заступница усердная... Мати господа высчего... Всех нас заспаси, спаси, помилуй, — кряхтел он, обливаясь страхом. Надо бы без оглядки прочь бежать, но уж очень интересно, как Франциль Винциял будет с окаянным биться. Однако, когда зверь повернул свою трехэтажную устрашительную морду к деду и чихнул, возле деда запахло редькой, Афонька же прошептал:

— Настоящий... Ох, сожрет он рыцаря. Вот, дедка, каких зверев господь создал...

— Чтоб ему лопнуть, нечистой силе!!. Свят-свят-свят...

Вот показался рыцарь. Он сбросил с себя одежду и, нагой, бежит по тропе к чудовищу.

— Голый, голый!—захихикали бабенки... — Эй, молодчик, беги к нам!

Рыцарь сверкающим мечом удар за ударом наносил дракону. Зверь бил хвостом, шевелил лапами, крутил мордой, и глаза его, каждый по стогу сена, свирепели.

— Кончины живота нашего... безболезненны, непостыдны, мирны,— крестился, шамкал дед. — Ох, язви-те... Гляди, гляди!.. Обранил!.. Так его, собаку... Дуй!..— закричал он и замахнулся на зверя батогом.

А Афонька:

— Настоящий! Глянь: кровь текет из ноздрев. Глянь: блюет, блюет!..

Зверь изрыгал из пасти потоки крови, кровь лилась из раны и ноздрей. Его глаза смежались смертью. Дед дрожал, хватался то за скамейку, то за внука, ему казалось, что подыхающее чудище перевернется через башку и всех, сколько есть в сарае народу, раздавит в смятку.

— Живот чего-то схватило, — прокряхтел дед.—Побудь тут... А я сейчас... До ветру...—закултыхал в раскорячку вон.

Свет погас. Кино-спец сказал:

— Сейчас будет девятая, последняя часть...

— А где же седьмая-то с осьмой? — удивились голоса.

— А это благодаря опечатке, — отрапортовал кино-спец, и его очки перескочили с горбины на лоб. — Но это, товарищи, ничего, поймете. Остальное я дополню игрой воображения.

— Чорт с ним... Игра, так игра, — брюзжал народ. — Крути скорей. Эй ты, облакат!..

Картина менялась долго. Дед пришел и со слепу чуть не сел на какого-то младенца.

— Я, дедка, здесь!.. — позвал Афонька.

— Ах, ядрена каша, — удовлетворенно сказал дед, когда победоносный рыцарь появился во дворце прекрасной принцессы.

Дед вытер с лысины пот и не отрывался от картины. Но вот кино-спец объявил, что сеанс окончен.

— А где же кольцо?—прошил примолкший полумрак чей-то голос, колючий, как веретено.

И заскакали голоса, перебрасываясь от стены к стене:

— Мошенство это!.. Обещались небелужье кольцо какое-то да ленту.

— Да и то не показали... Где оно? Омман!

— Крути еще! Хозяин,.а хозяин!

— Братцы, требуй! Ах, занятно до чего...

— Вот чудеса-то, братцы!..

— Ну, ребята... У меня от удивленья аж рубаха взмокла вся...

— Крути!.. Чего молчите, требуй!..

— Сеанс окончен! Надо ленту перематывать...

— А ты не перематывай, крути... Занятно, слышь...

— Я сказал: сеанс окончен!

— Братцы! По афише — гвоздье глотать... В таком разе — требуй!

— А неужто отступаться... Эй, товарищ из городу!..

— Гляди не сбежал ли?!. От них, от лягавых как раз...

— Иди гвоздье, сукин сын, глотать, раз обещал!.. А нет — мы те...

На опрокинутую вверх дном бочку поднялся кино-спец:

— Тшшь... Спокойно!

— Товарищи! Граждане! — он был бледен, бритое лицо его покрыто потом, голос глух. — Гвоздей требуемого размера в продаже нет благодаря огромного спроса.

— Ах, не-е-т??. Так мы те шурупов принесем. Винтов да гаек. Жри!

— Помимо сего, товарищи, мой помощник, спец по едению гвоздей, украл у меня три с полтиной и как человек, подверженный алкоголю, скрылся. Он, наверно, где-нибудь сидит и наслаждается пьянством, поставив меня в невыгодном свете среди вас. Я как директор прошу снисхождения.

— Деньги назад! — загремел сарай. — Сколько пятиалтынных в карман оклал? Ишь ты... Яичками сбирать... Пять штук за вход.

— Товарищи! — вздыбил на бочке милицейский и помахал картузом. — Это недопустимо, товарищи, чтоб назад деньги. Он, как-ни-как, трудился, ехал, крутил машину... Расход и все такое...

— Не желаем! Глотай гвоздье, раз взялся... А нет, мы те сами в рот вбякаем... Обманщик, жулик...

— Товарищи!—протрясся голосом кино-спец. В его острых глазах вдруг заиграли зайчиками лукавые смешинки, но губы опасливо вздрагивали. — Я предвижу выход из положения, товарищи... Вместо всем приевшихся гвоздей я покажу фокус египетских магов: живой овце публично отрежу голову, а потом приставлю к тому же пункту, голова сра-

стется, и овца начнет, как ни в чем не бывало, кричать по-бараньему. Желаете?

— Ребята, как?

— Желаем! Кажи!.. Просим!

— Тогда тащите сюда хорошую, вполне живую овцу, — и киноспец обвел собрание веселым взглядом. Скрытый смех кривил его бритые, взнузданные кверху губы.

Минуту стояла тишина, огрузшая тяжким сопеньем, точно волокли все миром в гору стопудовый воз.

— Митрий, — несмело раздалось из темного угла — тащи, шутки ради, овечку. У тебя много их.

— Нашел дурака, — окрысился Митрий и сердито повертел во все стороны длинной шеей. — Где ж ему, к лешевой матери, овечью башку пришить на то же место, к тулову, раз он срежет? Да что он бог, что ли, или угодник?..

— Напрасно, товарищи, сомневаетесь... Все исполню, как сказал.

— Дед, приведем овечку, — ткнул Афонька сладко дремавшего деда. — А, дедушка!

— Какую овечку? — вытер дед слюни. — Я-те приведу...

Амбар жужжал, как улей. Крестьяне уговаривали друг друга притащить овцу. Никто не соглашался. Посыпались укоры, ругань: «Жадный чорт...» — «Сам дьявол некованный, жаднюга...» — «Ты в председателях ходил, набил карман-то!..». В углу бранились бабы. Антип тряс Митрия за грудь и кричал ему в рот, как безнадежно глухому. Бранливые голоса скрипели, трещали, ломались, будто усердные старатели швыряли лопатами щебень и камнищи. Вот у стены взмахнул кулак и, как грач в гнездо, пал с налету в чью-то бороду. «Ах, ты драться, тварь? Выходи, коли так, на улку!» — «Я те и здесь влеплю леща!» И еще десятки ртов смачно переплевывались гнусными словами из конца в конец. Попахивало мордобоем, свалкой.

— Стой! Братцы! Что это за безобразие! — надрывался милицейский.—Всех перепишу и к допросу... Дьяволы какие, а?..

Шум постепенно стал смолкать.

— Товарищи! — вопил с бочки комсомолец молодежи и что есть силы топал ногами в дно: клёш мотался и шлепал, как собачьи уши.

— Товарищи! — перхая и кашляя, кричал он. — Такой неорганизованный скандал из-за шелудивой овцы — позор культуре!..

Шум потух, как во тьме костер, но сердитое пыхтенье клубилось серым пеплом, и, словно угли, тлели обозленные глаза.

— Неужели вы, будучи сознательны, — говорил комсомолец молодежи, — не можете предоставить один комплект овцы, которая будет возвращена хозяину в общем и целом, да я еще гривенник от себя прибавлю тому сознательному товарищу, раз он постарается для процветания науки. Ведь это фокус, товарищи! Я и не такие еще фокусы видывал, будучи в Красном Ленинграде. Да не шумите вы! Желаете, нет?!

— Просим, сыпь!

— Например, фокусник берет у гражданина новую дорогую шляпу, разбивает туда десяток яиц, кладет масла скоромного, соли и жарит в шляпе, как на сковородке, яичницу-глазунью. Все удивляются и сидят, разинувши рты от удовольствия, а гражданин, будучи голова босиком, хочет звать милицию, что испортили евонную шляпу. Все оцепенели, как при ужасном преступлении, а из шляпы с яичницей валит пар. Ну, в это время ударяют, конечно, в барабан, а фокусник — пиф-паф! — кидает вверх гражданскую шляпу с яичницей, и — гоп-ля! — шляпа в новом виде, будто сроду не надевана, делает мертвую петлю и летит к гражданину, который рад. А яйца, не разбитые, а в общем и целом падают в фартук фокусника...

— Правильно, верно... — подтвердил милицейский. — Я видал.

— А вы овцу жалеете... Эх вы!.. Народы! — комсомолец подбоченился, гордо взглянул в сторону Афоньки, взглянул разом на весь сарай и ударил криком в низкий потолок:

— Даешь овцу?! Кто сознательный?!

— Я! — поднялся крестьянин из бедноты, Акинфиев. — Я самый сознательный и есть. — Сонное лицо его помято, как у горького пьяницы. Он зевнул, сказал: — Сейчас пымаю, — и, неуклюже натыкаясь на людей, направился к выходу. Из дверей заспанным, потным голосом спросил:— А замест овцы поросенка ежели, сосунка? — и, не дождавшись ответа, скрылся.

Томительные минуты ожидания прервал Степан Обабкин. Он вскарабкался на бочку, заложил руки в карманы и, повертываясь на каблуках во все стороны, начал:

— Вот, товарищи, благодаря хождению за овцой, можно митинговать о картине, которую рассматривали в упор. Я, будучи комсомольцем молодежи, во всяком разе должен вести агитку согласно идеологии, как отец учил. Воротимся к зверю. Вот видите, граждане, обратите ваше внимание, какие в царских лесах водятся первоклассные драконы. Вот оно, засилье буржуев! Эти самые буржуи, потрясая кровавыми челюстями и пуская из рабочих кровь, окопались с королями — и завладели всем огромадным, примечательным зверьем. Называемые рангутанги или по-русски — драконы ни в какой ковчег не влезут. И этими чудовищами владеет преступная кучка буржуазии. Им с таким зверьем, товарищи, жить тепло и не дует. Не надо никаких тракторов, товарищи, ни волкостроев, ежели и такого чорта обучить пахать. Да этот зверина тыщу вагонов попрет и не крякнет, ежели зацепить за задние лапы. Вот они, паразиты-буржуи, какое окружение делают нашей стране! Долой соглашателей!!

Семен Обабкин, маленький и вихрастый, взмахнул рукой и победоносно осмотрелся.

— Теперь вникните, товарищи, какое же наследие оставила буржуазия пролетариям и нам, крестьянам? Что за звери достались на нашу угнетающую долю? А достались нам, товарищи, замест замечательных

допотопных драконов, какие-то паршивые объедки с барского стола, какие-то крысы с кротами, да хомяки. Вот что с нами делают заграничные банкиры!.. Самый же крупный зверь у нас, это ведмедь, и тот косолапый, не говоря уже про мировой масштаб. А мясо евоное в рот не возьмешь даже и в голод. Вот, товарищи, вы теперь очень даже наглядно видите, как нашего брата облапошивает иностранный капитал, какую выдумывает блокаду. Вот где окружение-то, вот где постольку-поскольку зарыто небелужье-то кольцо!.. — Комсомолец молодежи азартно сплюнул и закричал, потрясая кулаками и клёшом: — Но настанет час, товарищи, когда мы с красным знаменем в одной руке, с ручной бомбой в другой...

— Товарищ! — прервал его кино-спец, — за поздним временем — сядь. Граждане, он ничего не понимает в сценариях. А дело в том, что здесь все искусственно: как первобытный лес, так все дворцы и действующие лица, это все искусственно, то-есть не натурально, а сделано в Америке или в Германии, в особых павильонах,—вам не понять в каких, но мы не будем вдаваться в философию. А дракон и подавно не настоящий, таких чудовищ на свете нет, это оптический обман.

— Ага, обман!.. — задирчиво, как дратвой, кто-то протянул. — Видали, братцы?!

Афонька же широко открыл глаза и позабыл дышать. Нет, врет этот самый гражданин, будто все не настоящее, врет, врет, людей морочит!

А кино-спец свое:

— Этот колоссальный дракон сделан из дерева, проволоки и брезента, а сверху выкрашен, — клевал он носом и поправлял очки. — В середке же, в брюхе у чудовища и в морде, сидят люди, в каждой лапе тоже по человеку для механического воспринятия. Эти люди производят там манипуляцию вправо, влево, отчего чучело оживает. Понятно теперь? Я слышал во время сеанса детский голос, что чудовище блюет. Ничего подобного! Он употребляет в пищу только нефть, как физический механизм. А из раны и прочих природных отверстий у него течет красная вода, которую выкачивают спрятавшиеся туда рабочие, когда им крикнут, что, мол, шкура протыкнута, качай, ребята, со всех сил. Значит, тут все основано на иллюзии, на оптическом обмане, и пугаться нечего, как сделал сидящий предо мной старец возле милого мальчишки. Надо только восхищаться полным усовершенствованием и до чего дошла наука в СССР.

— Врешь, дурак, врешь, — шептал сквозь слезы Афонька, — зверь самый настоящий... Врешь!..

— Товарищ кино-спец! — закричал Степан Обабкин, сменяя говорившего. — Вы мне за поздним временем подали сигнал — садись, мол, но это абсурд. Я не маленький и спать постольку - поскольку не хочу. Я тоже платил пятиалтынный, заработанный самым кровавым трудом.

— Вальни, вальни его, Степка, пошибчей! — сердцем, кровью беззолосо прокричал Афонька. — Сволочь какая, враль.

— Я приветствую вас, товарищ кино-спец, от имени всего комсомола, как предшествующего оратора, а раз зверь не настоящий, то я извиняюсь, повертываю идеологию и иду дальше. Очень хорошо, что таких зверей на свете нет, а это американское чучело, — сказал Степан Обабкин и взглянул на Афоньку. Тот вдруг опустил голову, замигал и стал колупать скамейку. — И очень хорошо по двум пунхтам: первый пунхт программы, если такие звери, спаси бог, водились бы в трудящей стране, они сожрали бы весь урожай предыдущих годов. Ведь одному такому дьяволу к ужину тридцать возов сена нужно, окромя пойла и прочих нарпитов. Что касаемо второго пунхта, вникните, товарищи, в положение американских рабочих. Одни рабочие попали чудовищу в ужасные лапы и там сидят, как со строгой изоляцией... А другие рабочие в брюхе корячутся вправо, влево, не имевши кубатуру воздуха. Я вас, товарищи, спрашиваю: нормально это или позор? Ага, вы молчите из полного сочувствия, факт! Вы, товарищи, обратите внимание, ежели читаете газеты, где сидит наш рабочий и крестьянин, и где заграничный? Наш сидит летом в Крыму, во дворцах, а заграничный настолько забит буржуями, что лезет в общем и целом во что попало: дракон встретится — в дракона, чорт искусственный валяется на дороге, он и в чорта постольку-поскольку рад залезть, благодаря малосознательному затемнению масс... Позор буржуям и всемирным лордам! Бей их, анафемов, как бил голый человек на картинке, хотя одетый рыцарем, а наверняка из трудовой глубокоуважающей интеллигенции... Как этот оратор... нет, не оратор, а как его... проткнул пузо анафеме. И примем, товарищи, единогласную резолюцию, чтобы после этого удара у дракона, который есть всемирный буржуй-капиталист, потекла не вода из насоса, а настоященская кровь, согласуемо идеологии! Я кончил, товарищи...

Степан Обабкин форсисто вынул из кармана аккуратно сложенный платок, ловко встряхнул его и, помахивая в раскрасневшееся счастливое лицо, соскочил с бочки.

Керосин в лампе выгорал. Конопатый дядя подбавил свету. Слышались утомленные позевки. В двух-трех местах безмятежно похрапывали. Бабы, как белки, лущили семячки, сплевывая шелуху на колени, на головы соседей. В заднем углу парни прищучили девок к стене и жали из них масло, девки повизгивали и пыхтели, сопротивляясь ядреными задами и спинами натиску парней.

Афоньке же хотелось плакать, хотелось броситься на кино-спеца, разбить его глазастые очки и бежать без оглядки в лес.

— А ведь правильно, паршивец, разъяснил, — грубо упал в шаршавое затишье готовый к скандалу голос. — Комсомолишка-то...

— Степка молодца, с понятием...

Степан Обабкин, публично названный паршивцем, встопорщился, как на червяка галченок, и уже занес ногу, чтоб с горячей отповедью вскочить на бочку, но его нога миролюбиво опустилась: ведь, оскорбивший его обидчик все-таки сказал, что он разъяснил правильно, и это

комсомольцу льстило. Он только крикнул, грозно рассекая воздух кулаком:

— Тут паршивцев в общем и целом нет! — и сел.

— Жулик! — резко отчеканил, как кулик в болоте, тот же голос.— Наобещал, наобещал, а показал фигу. Тоже, картинки двигательные...

— Да мы на такие картинки и чхать-то не стали бы. Тьфу! Какой в них прок? Одно непонятное...

— Чего мелешь! Пес с ней, что непонятная.. Зато живая...

— Лес фальшивый, этот окаянный коркодил тоже фальшивый, дворцы фальшивые, и господа с царями фальшивые... Тьфу!

У Афоньки пуще заныло сердце, кончик носа стал холодный, словно лед, уши горели.

— Все фальшивое! — опять прохрипел скандальный голос. — А, небось, денежки с нас стребовали нефальшивые... Ишь ты!.. Губа-то не дура... Жулики...

— Врешь! Очень интересный сеянец. Просим еще посетить...

— Ах, еще? Кому это желательно еще? Ну-ка, высунь морду на свет. Эй, шапка!

— Картина первый сорт! — раздались молодые голоса. — Только, вот, кольца нету. Где кольцо? Хозяин, а хозяин!

— Кольцо Нибелунгов, товарищи,—поблестел очками кино-спец,— оно находится в последней части, оно будет показано в следующий специальный приезд. А то нашему брату, частному предпринимателю, обрезаны права, и ленты дают с изъянцем, — он бросил окурок и притоптал американским сапогом.

— Правильно, — поднялся милицейский. — Товарищи, я как представитель власти должен вас обнадежить так: в газетах получено известие...

— С живого-мертвого налоги драть?

— Ничуть не бывало! — строго боднул головой милицейский. — Правительство, повернувшись лицом к деревне, хочет образовать правильную постановку через показывание натуральных картин казенным способом. Будут агитки показываться, боевики, а также и хорошие картины насчет обработки земли, как в России, так и за границей. Это факт.

— Просим, просим!

— И все будет бесплатно, товарищи! Даже театры выстроят и ни копейки не возьмут.

Забредили ленивые хлопки, взорвалось молодое, игривое «ура». Степан Обабкин сказал:

— Выразить благодарность от лица крестьянской бедноты!

— Просим, просим!

Кто-то засмеялся:

— Беднота за овцой ушла... Где он, дьявол?

На светильне нагорела черная шапка. Пахло копотью, онучами, пареной брюквой и деревенской духмяной дремой.

— А теперь, товарищи, пойдемте спать, — предложил милицейский.— Два часа уже...

— Кто против? — бодро вскочил комсомолец.

— А овцу-то резать? — всполошились голоса.

— Эй, сходите кто-никто за Акинфиевым!.. Что он тетерев мохноногий, шутки-то шутит... Да карасину бы...

— Поздно, ну его к чертям с овцой-то...

Кто-то запел по-озорному:

— «Вставай, проклятьем заклейменный!» — и резко свистнул. — Айда домой!

Зрители проснулись и, позевывая, стали выползать на свежий воздух.

— Враки какие, чтоб, значит, барану голову долой и опять срослась, — вяло бубнил народ, толпясь у выхода.

— Да ежели мухе башку оторвать, и то сроду-родов не припечатать...

— Вот так нас, темных дураков, и водят за нос-то.

— Так нам и надо...

— А вот послать телеграм Калинину... Жулики!

Было темно. Вдова Агаша-красна ягода напоролась на плетень, разорвала форсистую кофточку в разводах и звонко заругалась в печенку, в селезенку, во всяко место. Парни подсвистывали, гоготали:

— Эй, Агаша! Иди, заштопаем!..—и, нарушая собачий сон, орали песни.

Кучка человек в пять ради озорства постучала к Акинфиеву. Тот вздул огонь, открыл окно.

— А овца? Ты чего же это, лешегон? Какой же ты, к чортовой матери, сознательный? Сколь часов порядочных людей заставляешь ждать не жравши. А?!

— Да бра-а-тцы... Баба не дает, — виновато прохрипел лохматый Акинфиев, почесывая бороду. — Говорит, зарежут до смерти, а там судись.

— Какого же ты чорта!.. Пришел бы, упредил.

— Да бра-а-тцы... Нешто не знаете? У меня нет овцы-то...

— Как нет?

— Третьеводнись продал прасолу... Дюже в сон бросило меня с картины-то, вот я и пожелал уйтить...

— Тьфу! Чтоб те сдохнуть, — и кучка со злобным смехом удалилась.

Летучая мышь едва коснулась крылом белоголового, в белой рубахе Афоньки и беззвучно упорхнула. Афонька еле двигался, он вел деда за рукав и был подавлен виденным и слышанным. Его душонка была пуста, как вывернутый карман. Эх, Степка, Степка!

— Ты что в молчанку-то? — спросил дед, шаркая ногами по невидимой земле.

Афонька вздохнул и продолжал путь молча.

— Замаялся, что ли? — опять спросил дед.

— Так, ничего, — булькнул, всхлипнул Афонька.

Он много слышал сказок от бабушки, от деда, от товарищей. И душа его, как жаворонок в свете солнца, трепыхала в ребячьих сказочных мечтах. Афонька верил в сказку, как в явь, как в быль. В сказке все живое, настоящее: и Кащей бессмертный, и Конек-Горбунок, и Баба-Яга, и Францыль Венциял — все быль и явь. И — словно волшебный сон — Афонька, сидя рядом с дедом, увидал в натуре живую сказку: и Змея-Горыныча, и Францыль Венцияла, и бородатых колдунов, и прекрасную Миликтрису Кирбитьевну. И всю жизнь был бы Афонька по горло счастлив, не открой рта этот очкастый цыган-китаец. Прахом рассыпалась Афонькина мечта, нет на свете сказки и не будет!

И вот, спотыкаясь и сопя, лобастый, вдумчивый Афонька ведет деда в свою душную маленькую избу, и ему представляется теперь, что и деревня их не настоящая, и лес, и пашня, и небо — все фальшивое, и люди не настоящие, поддельные, и дед, да, может, и он сам, Афонька. Настоящей же, всамделишной казалась ему лишь одна темная ночь, сквозь которую он тащил упиравшегося деда.

«И чего это сплоховал Степка, дурак. А еще я, говорит, комсомол. Оробел, видно, струсил. Дурак, дурак».

Ночью все крепко спали. Даже милицейский, кот, курицы, петух и кино-спец, даже комсомолец Степан Обабкин. Афонька же не мог уснуть. Афонька плакал неслышно, в подушку, крадучись.

Плакал, плакал, а Степка и говорит ему: «Пошто ты это в общем и целом воешь?» — «Ничего нет на свете взаправдашнего, настоящего»,— пустил пузыри Афонька. — «Брось, — сказал Степка, — садись скорей...». Афонька сел, и — полетели. Все выше, выше. Глядь — облака, словно кисель. «Эх, поесть бы», — подумал Афонька, но ложки не было. — «А где же солнышко?» — спросил он друга.—«Ночь еще», — ответил комсомолец молодежи. Глядь — месяц, и совсем будто недалечко, версты две-три, ох, и большой, и светлый! И какие-то жители кирпичом толченым его трут, — поплюют-поплюют, да ну тереть тряпицей. — «Это субботник называется, — пояснил Степка, — трудповинность».

А кругом звезды так и подмигивают, так и смотрят во все шары на летунов. «Удивительно как», — улыбнулся Афонька голосом, а самому страшно, сердце мрет. Летят, летят. Города, деревни, пашни, лес. «А это Москва, — гордо сказал комсомолец молодежи, Степан Петрович Обабкин. — Кремль, видишь? Солнце встает». — «Солнышко, солнышко!..— громко закричал Афонька и с тревогою вдруг спросил, как бы спохватившись: — А он настоящий?» — «Кто?» — «Этот самый... Вот летим-то... Ироплан?» — «Знамо дело, настоящий, раз вверх летим... И мы с тобой настоящие». Афонька любовно гладил струны:—«Настоящий! Милый мой...» — и чует: трудно дышать от радости, вздыху нет, фу-ты...

— «Держись, садимся!»—и на землю хоп. Афонька вздрогнул, открыл глаза и сел.

Белое утро, настоящее. Туман глядит в настоящее окно. У печки мать овсяные блины печет, самые настоящие, со скоромным маслом, и настоящий кот лапой личность промывает. А дед богомолебствует в углу: перекрестит лоб, зад поскребет да в окошко лысиной уставится: проехал кто-то, прошагал. Афонька улыбнулся, крикнул:

— Дед, а дедушка!

— Заспаси-спаси, помилуй... Ну?

— Я, дедка, самый настоящий. И Степка настоящий, Степан Петрович...

— Чего эта-а-а?

— А ты—нет... Ты, вопчем и целом, так, обман...—сказал Афонька и стал надевать настоящие портки.

Встреча [1].

(Повесть).

Л. Сейфуллина.

Часть II.

Чужой путь.

I.

Гребнев вернулся домой необычно рано. Всего десятый час вечера на исходе. Еще в сенях он услышал голоса на Лизиной половине и досадливо сморщился. В последнее время к выздоравливающей часто забегали сослуживицы. Раз-два приходили какие-то мужчины. Сегодня его тянуло к Лизе, но на людях он не умел и опасался с ней разговаривать. Сбив с сапог налипший снег, он недовольно рванул дверь. Тишина просторной комнаты нарушалась только неясным разговором за стеной. И как только он вступил в эту тишину, ему сразу стало скучно и душно. Он щелкнул выключателем, прижмурился от брызнувшего в глаза света и в нерешимости остановился у двери.

Как убить вечер? К Липатовой надо бы... Ну, ее к чорту! Прискучивать начала... Да очень уж... липучая она стала. Эх, некуда итти! Никого нет душевно своего, кроме Лизы. А самому с собой ему всегда делать нечего..

Виктор нехотя снял шинель и папаху. Чтоб нарушить требовательное, тягостное для него молчание одиночества, он ненужно шумно передвинул стулья, посвистал, заходил по комнате ленивыми шаркающими шагами. Попробовал оживить в себе радостное возбуждение... То, что согревало его большим душевным теплом в холодном цирке, на партийном собрании. Это тепло нес он и домой, бодро шагая по слабо освещенным улицам. Сегодня обсуждался вопрос о проведении в городе и уезде недели санитарной очистки. Гребнев выступал с критикой чужих предложений, вносил свои, дал несколько действительно дельных советов. Его слушали с большим вниманием, с ним соглашались. Дорогой он вспомнил все, что сказал. Думал, что надо сделать завтра, через месяц, через год. От бодрых

[1]) Продолжение. См. № 7 «Красной. Нови».

мыслей, от уверенности в себе он шагал четким шагом и громко, на ходу, напевал:

— Никто не даст нам избавленья,
Ни бог, ни царь и ни герой...

А в тишине одинокого жилья сразу вся радость пропала. Что же сейчас-то делать? По жилам еще переливается удаль, а израсходовать ее не на что. Он умел жить только отраженной жизнью, действовать вместе с другими. Наедине он всегда ощущал большую душевную пустоту. Походил по комнате, снова, было, затянул:

— И если гром великий грянет
Над сворой псов и палачей...

Но голос, прозвучав уныло и неверно, оборвался. Гребнев вздохнул, тяжело сел за стол.

— Д-да. Позаниматься надо.

Редкие свободные часы Гребнев обычно заполнял учебой. С добросовестностью старательного ученика напряженно втискивал в мозг, в память различные сведения. Зубрил по всем предметам, указанным в старой пожелтевшей программе мужской классической гимназии. Но дольше и настойчивей всего корпел над медицинскими книгами. Целая груда их заполняла хлипкую этажерку в углу: набрал в книжном коллекторе политпросвета и приобрел на толкучке в обмен за белье. Наиболее ценными казались ему наименее понятные. И эти тайные занятия в теперешнем его возрасте и настроении были для него большим и почти всегда безрадостным трудом. Мозг здоров, цепок, но от бессистемной зубрежки часто получалась в нем такая каша, что тяжелела голова. После радостного сегодняшнего возбужденья особенно трудно было приняться за книги. Оттого Гребнев долго вздыхал, прежде чем раскрыть учебник психологии.

Наконец, будто придавленный невидимым грузом, низко склонился над столом и невнятно забубнил.

С улицы в ставню кто-то застучал нерешительно и негромко. Гребнев радостно сорвался со стула. Только у двери вспомнил, что без очков. Поспешно вернулся к столу, надел их и вдруг подумал:

«С опаской стучат. Кто-то не свой...»

Покосился на ящик стола, где лежал заряженный револьвер, но не взял его, круто повернулся и вышел.

Когда он пропустил вперед посетительницу, у него было удивленное, даже оторопелое лицо.

Невысокая тяжеловатая женщина вошла легко и живо. Остановившись среди комнаты, она коротким и ловким движением рук сняла с головы потертую барашковую шапочку старинного фасона, пирожком, быстро вернулась к выходной двери и небольшой крепкой рукой в старой замшевой перчатке сбила с шапочки снег. Потом так же хозяйственно,

как дома, не торопясь, но быстро сняла шубку на заслуженном полысевшем меху, повесила ее, постучала валенками нога об ногу и вернулась в комнату.

Гребнев, ссутулясь и беспокойно поправляя очки, ждал в сторонке у окна.

Гостья улыбнулась. Лицо, тронутое желтизной увяданья, с четкими уже морщинками у глаз, от хорошей, открытой улыбки стало молодым и душевным. Тряхнула головой с коротко стрижеными волосами, очень густыми, темными, с заметным перебором седины.

— У вас, коллега, такой вид, будто я вас из-за угла дубиной оглаушила. Я чувствовала, что вы меня так примете. Сама смутилась, когда застучала в ставню. Ну, я все-таки присяду, коль в дом пустили. А то за день-то оттопала ноги, устала.

Неприятная, слишком торопливая, с нервными придыханьями речь, резкий голос странно не вязались с размеренными движеньями, со всей небольшой, широкой устойчивой фигурой и очень спокойными усталыми глазами. Получалось впечатление, что за спиной говорит кто-то, совсем на нее непохожий: тонкий, вихлястый, сильно возбужденный. Гребнев придвинул стул, дернул очки, неловко засуетился.

— Пожалуйста, пожалуйста... Вот сюда, к столу, присядьте. Я очень, знаете ли, доволен. Пожалуйста. Милости прошу. Это очень хорошо... Очень приятно, что вы собрались зайти.

— Я поговорить, узнать пришла. Ну, знаете, диковинку вот посмотреть, пощупать душевными такими щупальцами, понять. Скажите, пожалуйста, для вас все ясно? Сомнений у вас нет никаких?

Гребнев беспокойно заерзал на стуле, поправил очки и нерешительно промямлил:

— Как сказать. Конечно, бывают и неясности. Д-да... Гм... Гм... Извините меня, я не так хорошо понял. Как вы сказали?

У Хвалыновой на щеках зардели два ярких неровных пятна, и линялочерные глаза ярко разгорелись. Еще неприятней и резче сделался голос.

— Я спрашиваю у вас, у собрата, у человека интеллигентного. Вот вы, интеллигент, доктор, милосердие должно быть вашей специальностью, вы обязаны взять под охрану каждую отдельную человеческую жизнь. Как же вы можете быть членом большевистской партии? Наглости карьериста в вас, как будто, нет. Даже на видные посты вы не вылезаете. Здравотделом заведует фармацевт, а вы, единственный врач-коммунист, все в тени. Значит, надо предположить, вы по убеждению коммунист. Как могли вы им сделаться?

Гребнев выпрямился, поверх очков взглянул на Хвалынову, и лицо его потемнело от недружелюбия. Такие разговоры напоминали ему старика Лугинина, всегда казались приторными и притворными. Господское кривлянье! Не может понять коммунистов, потому что барыня. Обижается. Неохота вровень с необразованными тянуть тягло. Зубами скрипит на все нынешние порядки, чужачка. А туда же исповедывать!

Отозвался злым, повышенным голосом:

— Я не понимаю, чего вам надо. Вас в коммунистическую партию на аркане никто не тянет. Занимайтесь добросовестно своим делом, и ладно. Если потихоньку пошипите в своем углу, нам не страшно. Привыкли уж под ваше шипенье свое дело делать, не боимся. Я думал, вы по делу ко мне.

Хвалынова крепко пристукнула ладонью по столу.

— Удивительная... зоологическая простота! Ни размышлений, ни разговоров не полагается. Страшно, если большинство партийной вашей интеллигенции такое. Все-таки, ведь, образованье, знанье... Вы ведь учились все-таки, размышляли, как же это так?.. Да ничего вы не понимаете. Как в глухую стену говорю.

Голос у нее оборвался, она брезгливо передернула губами, смолкла. Гребнев насторожился. Кровь отхлынула и снова гуще прилила к щекам. Он поправил очки.

— То-есть... позвольте. Вообще, я думаю, мы с вами одинаковое образование получили. Грамотные. Почему же это я не могу понять все, что вы говорите. Я думаю, что все могу понять.

— Иной раз ученье впрок нейдет. Человек остается мало интеллигентным. Вы — мало интеллигентный человек. Куцый интеллигент! Может быть, это потому... Я слышала, вы — пролетарского происхожденья. Может быть, поэтому. В настоящее время это, конечно, лестно... для анкеты. Но душевному, духовному развитию иногда бывает препоной. Наследственный интеллигент, возросший в среде, содействующей духовному развитию, конечно, полнее овладеет...

Гребнев злился... Но не мог оборвать разговор с Хвалыновой. Против воли он подчинялся силе человеческой искренности. То, что она говорила, — ее правда. Но у него есть своя, и при свете этой, своей — правда Хвалыновой ему чужда и ощущается им, как ложь. Но в смутном еще сознаньи вставало и новое для него ощущенье: Хвалынова сильней, человечески сильней, его, и нельзя ее просто оборвать, выгнать, обругать. Надо ее убедить, что его правда большая, истинная, а ее — слепота, заблужденье.

Впервые он ощущал подлинное душевное смятенье. Была в этом смятеньи и необычная радость. Будто приподнимались какие-то невидимые бельма, мозг и сердце вот-вот станут зрячими, и тогда найдутся и необычайно веские убедительные человечьи слова. Но слов он не нашел... Только злость внезапно исчезла. Выговорил просто и дружелюбно:

— Я — партийный.

Слова, самые неубедительные для Хвалыновой, надоевшие ей. Но от голоса его, от тона слов она встрепенулась. Пристально взглянула. Тоже мягче, тише, медленней сказала:

— Видите ли... И тут вот для меня препона. Вот именно вы — партийный. Существуют различные партии, но вы об этом, как вам полагается, и не думаете. Одна партия у власти. Значит, ясно. Нечего о других и думать... Достаточно сказать «партийный», понятно, что коммунист. Только победи-

тели — люди, о них стоит говорить. Победитель — свято! Его не судят. Его признают, а о побежденных никаких разговоров! Они не существуют. А ведь они существуют. И русская интеллигенция никогда о них не забывала. Как вы можете так безоговорочно принять все, что диктует партия власти. Ведь природа власти не изменилась. Власть есть власть, понимаете? Насилье. И степень этого насилья, размах его вовсе не безразличны. Об этом вы никогда не думаете? Не будит это в вас хоть маленькой, малейшей душевной тревоги, а?

Глаза у Гребнева сияли, он беспокойно двигал руками, продольные и поперечные морщины тяжело играли на лбу. Он томился косноязычьем. Выговаривал медленно, мучаясь сознаньем, что в мыслях это лучше выходит, давился бесцветными словами. Неуклюже и ненужно разводя руками, говорил уже, стоя:

— У вас все с вывертами. Со вздохами, с ахами. А так вот, по-житейски если? Свой своему поневоле брат. Так попросту, если мы с вами станем рассуждать, вы, скажем, жалели простой народ. Ну, бедноту там, сочувствовали ей, помогали. Страданья за него даже терпели. Против прежней власти возмущались. Ну, все-таки ожидали, с приятным ожиданьем жили, что вот вы пролетария жалели, а как придет этот пролетарий, вы ему из своих ручек все это отдаете, все для хорошего житья, а он вам в землю лбом за это, спасибо вам станет отбивать...

— Да не об этом же я! Никакого спасиба не надо. Я говорю, что ушибленные насильем, тем же молотом по живым людям бьют. По человеку, поймите, по человеку! Даже не врага бьют, а друга. Да, друга...

— Власть не может миндальничать. Только вот, вы одной ножкой там, другой — здесь, своих-то у вас и нет. У настоящих контр-революционеров, у тех свои есть, а вы между двух сторон манежитесь, у вас своих нет. У нас тоже есть свои. Плетка больно бьет, да за нас. Вот ведь в чем сила! Насилье, насилье. А если свою жизнь оберегать, как вы ладком да мирком обойдетесь? Что же, вы по морде разве не хрястнете?

— Возможно, что и не смогу хрястнуть. Для меня эта морда — человек, живое. Может, пожалею, сама погибну, а не хрястну.

— Э-эх! Ведь какая власть теперь. Пролетарская. А пролетарии от прежнего еще не отдышались, а вы хотите, чтоб он еще как блаженненькие на погибель лезли. Миром да ладком себя не устроишь. «Правда, высшая правда». Вот пролетариат, как говорится, то-есть вот класс, из-под низу вылез наверх и должен укрепиться! И это наш класс! Вот. Это и есть правда, высшая правда!

— Да ведь этот класс... Вы-то должны хорошо знать этот класс. Ведь он слепой и глухой.Но вы, человек зрячей среды, должны понять, что пролетариям не выжить без интеллигенции. Как же вы можете допускать, утверждать ее истребление?

— Ну, вы тоже оставьте! Тоже слыхали! Никто интеллигенцию не истребляет.

— Нет, истребляют! И в частности вы такому истреблению помогаете. Вы, работник здравоохраненья, вы поддержали приказ губисполкома о мобилизации учителей на уход за сыпнотифозными. Вы завалили школы больными сыпняком и притянули учителей ухаживать. У вас наперечёт врачи, теперь вы гоните под угрозу смерти учителей. На жертвенную смерть, стадом гоните, а? Ни мало не задумываясь, уничтожаете интеллигенцию. А знаете вы, думаете вы о том, сколько ее в нашей стране? Знаете? Знаете, как драгоценна в России одна личность, один человек, хоть просто грамотный, особенно сейчас, а? Вот с чем я к вам шла, господин коммунист! Товарищ русский интеллигент! Как вы могли, как вы смели соглашаться с таким распоряженьем? Как смели ратовать за него?

Жилы явственными жгутами проступили на лбу у Гребнева, он побагровел и выкрикнул с огромной силой:

— А вы знаете, сколько народу перемерло? Знаете, что уходу умелого нет, а? Нашим, вот нашим... этим, которых вы чисто грязь под интеллигенцией своей, этим и к чистоте приучиться некогда было. Опытных сиделок нехватает. Какой уход, если человек не понимает, как надо выхаживать? А вы нам помочь не можете? Мы-то сами тоже ведь не отказываемся. Чего же снова, за ту же лямку, своей спиной вас загораживать? Нет, были вы над нами, так и не хотите вровень с нами стать! Своих мы не жалеем, а вас за то, что шибко грамотные, обучились на чужих спинах, за это вас беречь? Одним необразованным отдуваться? Опять под ножки, в прах? Угнетатели вы! Вам наверху в спокое, обязательно на готовом, на принесенном, нежиться!

— Да неужели вы не понимаете?.. Неужели не можете понять, какой это ужас — уничтоженье интеллигенции! Ну, вот, вы видите, каково вам при недостатке врачей. Это видите? Это на своей шкуре ощущаете? Ощутите когда-нибудь, и очень скоро, каково вам без учителей. Я... Я никогда никого не угнетала. Жила на свой заработок, на добытое моим трудом. Я теперь не имею отдыха. После дневной работы еле дышу, как замученная лошадь, а вы не даете мне даже отдельного угла! Все уплотнять приходят. Я ни разу не могла получить пайка без лишней волокиты, без утомительного хожденья. Постоянные мытарства, чтобы получить свой, заработанный скудный кусок. Ведь мое время вам отдано. Некогда! Я часто сижу на пустой похлебке. Мой-то труд ведь сто́ит, чтоб покормили за него? Да не в этом дело! Я и на сухарях выдержу. У меня-то есть, у меня есть сознанье, что не о едином хлебе... А вот у вас, кроме куска, ничего нет. Для вас революция только кусок. Хватай... для своего класса. Я говорю так, чтобы вам понятно, наконец, стало. Говорю... про хлеб.

Слова вырывались у Хвалыновой таким бешено-стремительным потоком, что Гребнев не в состоянии был ее прервать. Оба не слышали, как стукнула входная дверь. И Гребнев только сейчас увидел Лизу. Она тихонько прислонилась к косяку двери. Лицо ее под кумачовым платочком казалось в тени страшно бледным. Похудевшая, длинная, она стояла,

прильнув к стене, будто в изнеможеньи. Гребнев в беспокойстве кинулся к ней. Спросил тревожным шопотом:

— Ты чего это? Зачем встала?

А Хвалынова, потрясенная страстной тоской, тяжело поводила плечами. Она не видела их обоих. Дыша трудно, как в лихорадке, говорила больше себе, чем Гребневу:

— Наша Голгофа в том, что мы этих нынешних ждали, как Христа. А дождались, — содрогнулись. И все же от чудовищного лика убежать не смеем, не можем. Ведь это зверье мы кликали. Вот и остаемся с вами и для...

Она вздрогнула и быстро обернулась на неожиданный для нее женский голос. Лиза, не очень твердой еще походкой, поближе к ней подошла и заговорила.

— Я за стенкой слушаю и диву даюсь. Чего это? Вы меня испугались. Не слыхали разве, как вошла? Здравствуйте.

— Я совершенно не слышала. Откуда вы взялись?..

— За стеной живу. Я вас напугала, а я вот за стенкой-то слушала, слушала, да тоже напугалась! Одна другую напугали.

Лиза негромко, но весело рассмеялась. Она села около стола и в упор живыми, любопытными глазами стала осматривать Хвалынову. Хвалынова в ответ тоже улыбнулась. Но от досадливого смущенья, после невольного этого привета, строже сжала губы. Отрывисто, сухо крикнула Гребневу:

— Ну, я ухожу. Собственно и не следовало приходить, но что сделано, сделано. Прощайте.

Лиза ее остановила.

— Слушайте, товарищ Хвалынова, я ведь вас знаю... Погодите маленько, посидите еще. У меня там самоварчик кипит, чайку попьем вместе. У меня к вам и дело есть.

Вдруг спохватилась, что распоряжается в чужой комнате, она чуть зарозовела в лице.

— Доктор Гребнев лечил меня. Сыпняк схватила. Вот только что оправилась. С того вроде, как хорошие знакомые сделались. А коли ему не время с нами чаевничать, пожалуйте ко мне. Тут только по колидорчику перейти...

Гребнев радостно вглядывался в Лизино лицо, на свету другое, чем в темноте у двери. Еще истомленное, но повеселевшее, живое. Поспешно перебил:

— Нет, нет. Можно и здесь. Я самовар принесу. Выздоровленье ваше отпразднуем. Может, только рановато вам ходить?..

— Два доктора сразу, — чать, не помру при вас. Я совсем здоровая, совсем. Посидите еще маленечко, товарищ. Час не больно поздний, а?

Хвалынова растерянно развела руками. И, все еще не оправившись от душевной неловкости, неохотливо отозвалась:

— Да, я могу еще остаться ненадолго, хоть у меня и редкий вечер для себя выдается, отдохнуть бы надо. Но можно...

Обозлившись, крикливо снова сама себя перебила:

— Да не в этом дело! У меня скверно на душе. Мне неприятно сейчас с Гребневым. У нас с ним был тяжелый, враждебный разговор.

Лиза махнула рукой.

— Слыхала я, об политике расспорились. Да ничего, остынете оба, и пройдет. Я слыхала, что вы нас ругали. Я тоже партийная.

Хвалынова шумно продохнула, а Лиза снова засмеялась:

— Что, упарились с нами? Ничего. Я не рассерчала на вас, товарищ Хвалынова, я про вас доброго много слыхала. От нашего брата, от работниц. Посидите маленько, а? Мы про партию больше спорить не будем Посидите, а?

Хвалынова посмотрела на нее и почувствовала, как сразу отмякло сердце. Очень ей понравилась худощавая легкая девушка. Она тоже засмеялась уже легко, искренно:

— Уговорили, осталась! Я о вас ничего не слышала и вижу в первый раз, но с вами мне захотелось остаться...

— Вот и ладно. Я сейчас... Так здесь, что ль, чаевничать будем?

— Погодите, не суетитесь. Если только выздоровели, так не утомляйте себя.

Гребнев кинулся к двери.

Лиза закричала ему вслед:

— Постойте, вы там ничего не найдете. Я сейчас все соберу, потом самовар.

Гребнев остановился. Но Хвалынова придержала Лизу за руку.

Широколобое, с явственно выступающими скулами, но с чудесной линией чуть запавших щек, с крупными, но твердыми целомудренными губами, Лизино лицо не было красиво. Только яркая синева всегда говорящих правдивых глаз делала его прекрасным.

— Ну, я сейчас. Там мне товарка хороший пирог с яйцами да с капустой принесла. Закусим сейчас. Ну, пойдемте, товарищ Гребнев, за самоваром.

В коридоре Гребнев крепко обхватил и прижал к себе Лизу.

— Лапынька, выздоровела! Теперь заживем.

Но Лиза недовольно высвободилась из объятий и строго сказала:

— Погоди тискать-то. Один разговор с женщиной только и знаешь, что лапать.

Но у себя в комнате ласково провела рукой по его лицу.

— Ты не обижайся. Только пока не приставай ко мне. Чего-то настроенье у меня какое-то чудное: и радостно будто, и плакать охота. Да. Постой-ка! Докторица эта — баба очень хорошая. Я про нее много знаю. Печенка у ней нашего порядку не принимает, шут с ней. Разговором только замахивается, а против нас ни с кем не пойдет. Я давно про нее знаю.

— И разговором может повредить. Вон она какой трезвон у меня закатила.

— Дак это она нам в глаза, а так она не трезвонит. Работящая. Вы ее не обижайте. Вон Филатова спроси, копейские бабы шибко за нее держатся. Ее одну на копях только и принимают из всего вашего докторья. Ну, неси самовар. А то она подумает, что мы тут против нее сговариваемся.

Филатов оказался легок на-помине. Только что Лиза собрала все на стол для чаепития, он требовательно застучал кулаком в ставню. Лиза по стуку узнала:

— Ну-ка, скорей отпирайте ворота. А то стекло разможжит. Это — Филатов...

Ввалился он также шумно. Обитая кошмой дверь и то грохнула от размаха. Сразу всю комнату наполнил собой. Валенками стучал тяжело, как сапогами. Тулуп вешал, остальную одежду всю с вешалки поронял.

— Тьфу ты пропасть, что это у тебя тут все как неосновательно. Падает. Ну, здорово! Фу-у, думал к холостому в гости иду. К такому же, мол, бобылю, как я. А тут, на! Семейственная картина. Эта молоденькая — вроде как жена, а барыня Хвалынова — теща. И за самоварчиком! Прямо семейная кутья со всем припасом. Гляжу, дитенок где не ворошится ли?

Хлопнул Гребнева по плечу, лукавыми глазами из-под торчковатых бровей поглядел на женщин, по очереди сунул им жесткую, широкую руку, держа ее ребром, почти не сгибая в рукопожатьи.

Хвалынова засмеялась.

— Ну, долго я буду помнить, как к коммунистам в гости затесалась. Еще этого зверя нанесло!

— Я — красный зверь, хороший, дорогой зверь. И затесался хоть не в свою собственную берлогу, да все одно в свой косяк. А вот как вы, барыня, тут без опаски расселись? Это вот я не пойму.

Лиза поспешно вступилась:

— А вы сдуру-то не натуривайте. И так чуть уговорила товарища Хвалынову с нами посидеть. Об деле еще не успела с ней слова молвить... Сперва Гребнев обижал, теперь — вы. Чисто беспартийному к нам на квартиру и ход заказан.

Оба мужчины враз запротестовали:

— Я ее обижал? Как раз обидишь. Она сама нас чесала.

— Шибко сердитая у барыни охрана. Обличье-то у вас ровно маленько знакомое? Чисто на своих собраниях когда-то примечал. Своя, что ль? Давайте знакомиться. Чья будете?.

— Была отца с матерью, теперь своя личная. Пейте вот чай. Лизой меня зовут. А товарища Хвалынову не задевайте.

Хвалынова легонько хлопнула ее по руке.

— Вы, милая девушка... Мне тоже можно просто вас Лизой звать? Вы, Лиза, не беспокойтесь. С Филатовым мы друг друга очень не любим, но встречаться частенько приходится, — поэтому мы оба научились друг друга терпеливо переносить. Правда, меня из-за него в чеку на допрос таскали.

— Врешь, барыня, из-за себя из-за самой. В контору с визготней пришла ко мне, а я там не один был. Я с вами связываться не стал бы. Пес с вами!

Гребнев, пододвигая к нему тарелку с пирогом, спросил:

— Ты, случайно, горяченького где не хватил? Что-то говорливый опять и задорный.

— С радости. Добычу угля подсчитывали сегодня. Зима, одежонки нет, а против прошлого месяца в числе пудов поднялись. Во-от! Я и хожу гоголем. К тебе на радостях завернул.

Скоро он, повернувшись спиной к обеим женщинам, горячо заговорил с Гребневым. Лиза ласково посмотрела на утомленную, нахмурившуюся снова, Хвалынову.

— Елена Константиновна, во время хвори моей, без меня, позаглазно выбрали меня делегаткой. Ну, что ж, надо поработать! Я охочусь в здравотдел. Можно при вас работу начать? У меня к вам доверчивость есть. Но если вам неохота, насильно я не буду.

— Нет, Лиза, охота. Я даже рада. Трудно, девушка, сейчас нам приходится. Хочется, чтоб около хороших людей побольше было. К вам я тоже сразу доверье почувствовала. Сдается мне, что вы хороший человек.

Лиза отозвалась тихо и просто:

— Нам тоже трудно. И хочешь в чем помочь, да не умеешь как. Кто умеет, от нас больше сторонятся.

— Ну, за это осуждать нас нельзя. Вы вот не слышали, я сегодня Гребневу все, что наболело, высказала. Каюсь теперь, да...

— Я знаю. Я у вас поучиться желаю. Гневливости вашей не боюсь, потому что надеюсь на вас, в вашем деле вы хорошо понимаете, научите.

— Ну и отлично. Давайте вместе работать, научу. Ну, я двигаюсь, пора. Значит, на-днях в больнице или в здравотделе увидимся?

Филатов и Гребнев в это время тихо о чем-то, уж в отдаленьи от стола, переговаривались.

Услышав, как поднялась из-за стола Хвалынова, Гребнев повернул к ней лицо. С затаенным удовольствием, стараясь произносить слова сухо, строго, сообщил:

— Вы относительно учителей беспокоились, товарищ Хвалынова, а об них без вас позаботились. Приказ о мобилизации их на сыпняк губисполком решил отменить. Вот Филатов мне сообщил сейчас.

Он умолчал, что приказ отменяется потому, что получен за него строгий выговор из центра, но Хвалынова догадалась об этом сама:

— Видно, повыше и подальше коммунисты поумней наших губернских. Сами не отважились бы расписаться в своем головотяпстве! Ну, что ж, слава богу. А я вам, товарищ Гребнев, вот что сообщу: многие из них добровольно останутся ухаживать за больными. Ручаюсь. Это безрассудно, но благородно. По-интеллигентски. Ручаюсь, что останутся. Ну, все-таки, у вас-то на душе одним грехом поменьше будет.

С повеселевшим лицом протянула она еще раз на прощанье руку Лизе. Неожиданно Филатов загородил ей дорогу.

— Погодите, барыня. На улице морозище осердился, до становой кишки промораживает. Через полчасика лошади за мной приедут. Пускай сперва вас домой отвезут, потом меня на копи.

— Дойду, здешняя, привыкла к морозам.

— Чего зря артачитесь? Кровь-то не шибко молоденькая, туго уж, поди, разогревает. Застудитесь, а вас велели еще на копи привозить. Нечего фордыбачить! Погодите маленько.

Лиза, осторожно коснувшись рукой плеча Хвалыновой, попросила:

— Останьтесь. Лошади скоро приедут. Вы и не закусили ничего. Теперь вам и на сердце полегче, по-вашему дело повернулось. Оставайтесь.

Хвалынова, смеясь, хлопнула ладонью по столу.

— Вот в заколдованный дом попала. Третий раз порываюсь, все не уйду. Ну, налейте мне чаю. Я вправду только сейчас почувствовала, что голодна.

Лиза поспешно положила ей на тарелку большой кусок пирога и налила чаю. Филатов подмигнул глазом. Смешно приподняв вверх торчковатые брови, он лихо выбрыкнул ногами.

— Нет ли у тебя, Гребень, гармонии или, на худой случай, гитаренки, што ль? Я и на гитаре один вальс оттарабонить смогу. Повеселиться мне легким чем-нибудь сегодня охота. День у меня высокоторжественный!

Гребнев беспомощно развел руками. Лиза радостно отозвалась:

— У меня тоже высокоторжественный! Только не знаю с чего. Постойте, я, пожалуй, отыщу гармонь. От дяди в наследство осталась. Стойте, вспомню, в чулане, что ль, она? Нет, вспомнила! Сейчас принесу.

Гребнев двинулся за ней.

— Лиза, ты очень утомляешься. Тебе еще ведь...

Лиза усмехнулась и ласково отстранила его. Он не обратил внимания, что сказал ей «ты».

Филатов подошел к Хвалыновой.

— Что, барыня, приуныли? Об чем раздумались? Сейчас я вас развеселю, отчехвощу на гармошке, уши застонут!

И рявкнул очень громким, неопределенного, странного тембра, голосом:

— Ух ты, зимушка-зима!..

Лиза вернулась с большой гармонией в руках. Навстречу ей Филатов снова выписал ногами тяжелое антраша. Потом бережно принял гармонь, твердо уселся на стуле, зачем-то откашлялся и начал пробовать лады. Скоро он заиграл. Хоть и обещал тарабонить, играл тихонько протяжные российские песни. Он склонил голову на бок, встопорщил брови и, глядя прямо перед собой остановившимся ласковым взглядом, растягивал и сводил гармонь. Она пела, как голосистая деревенская баба, объятая широкой неуемной тоской. Гребнев побледнел. Две глубокие бороздинки

пролегли меж бровей. Он прижмурил глаза. Ему вспомнилась зимняя деревенская улица и сам он, маленький, шустрый, шныряющий около девок, поющих проголосные старые песни. Но вот парням уж надоел тоскливый мотив. Они беспокойно завозились, двое-трое придвинулись поближе к гармонисту, сейчас зачастит гармонь по-нынешнему. в удалой скороговорке частушки. И будто Филатов думал одну с ним думу. Он вдруг оборвал разливную тоску и лихо зачастил, негромко подпевая:

— У попа-то рукава-то,
Ба-атюшки.
Ширина-то, долина-то,
Ма-атушки.

Тихонько, пристукивая в такт ногой, с печальной улыбкой, подпел ему Гребнев. Высоко и задорно взвился сильный женский голос. Запела Лиза. Трое, одну за другой, пели частушки, притоптывали сидя, потряхивали головами. Но веселым и озорным лицо было только у Лизы. Филатов и Гребнев, оба, выпевали бойкий мотив, а в себе слушали сладкую, но всегда печальную песню человечьих воспоминаний.

Когда Лиза, оборвав пенье, заговорила с Филатовым, он встряхнулся, будто спросонок.

— Вы вот эту песню умеете или нет?

Она запела:

— По До-ону гуляет,
По Дону гуляет
Казак молодой,
А там дева плачет...

Филатов быстро подладил гармонь. Лиза ясно выговаривала слова наивной песни.

Лизино пенье и песня очень нравились Хвалыновой. Даже в горле у ней защипало от сладкого умиленья. Ей было сейчас так хорошо сидеть, слушать пенье этих людей, смотреть на них и ощущать их друзьями, а не врагами. Думала:

«Чудесный, душевный, настоящий русский голос у девушки. И как идут к нему эти бесхитростные слова! Господи, ведь могут же они, вот эти трое большевиков, чувствовать музыку., наслаждаться ей, понимать тоску, жалобу, веселье, жизнь? Откуда, как же умеют от этих чувств переходить к зоологической жестокости, к ненависти, к обесцениванию отдельных человеческих жизней, ко всему своему тягостному строю?»

Надрывный, тревожный, сквозь двойные рамы и ставни, вошел в комнату гудок. Первым услышал его Гребнев. Вскочил со стула, оборвал музыку и пенье:

— Подождите! Кажется, тревога.

Все затихли, затаили дыханье. Далекий, тревожный зов властно вошел в комнату, переполошил всех. Филатов быстро положил, почти бросил на стол гармонь, кинулся одеваться. Бормотал на-ходу:

— Гребень, скорей! Мы тут распелись еще на беду. Может, давно гудит. Эх, мы, черти, черти сволочные!

Гребнев торопливо достал из стола наган, запасные пули. Вынул из глубины стола еще маленький браунинг и протянул Лизе. Она отвела его руку:

— Есть у меня. Возьми с собой про запас. Да одевайся скорей, бери винтовку!

Лицо у Лизы стало строгим, глаза потемнели. Филатов, открывая дверь, спросил:

— А ты чего же сама-то остаешься?

Гребнев крикнул:

— Подожди, Филатов, я сейчас. Вместе! Надо ей наказать, она останется.

Лиза одновременно с ним объяснила Филатову:

— Я приду, коль силы хватит. Ноги еще дрожащие. Все одно, коли что, в руки живая не дамся. Гребнев, иди и ты. Наказы все знаю. Не бойся. На всякий случай, прощай.

Она обняла Гребнева за шею обеими руками и крепко поцеловала. У него перекосились губы, побелело лицо, но он решительно, не задерживаясь, повернулся и пошел к двери.

Хвалынова крикнула:

— Я тоже с вами пойду. Это восстание, да? Тревога? Будут раненые, я полезна...

Филатов от двери резко оборвал:

— Не надо. Пусть идут только наши. Чорт вас знает, помощников... Слышите, оставайтесь! Когда ваше дело понадобится, сами пришлем.

Он глянул на нее таким остро ненавидящим, ярко блеснувшим взглядом, что она невольно подалась назад. А Филатов добавил, выходя:

— Ты, Лиза, лучше ее при себе придержи. Вражьего роду. Языком тоже, недаром, молола. Может, лучше нашего знает, что̀ там, на улице.

Гребнев тоже подтвердил:

— Самое лучшее! Будьте здесь, Хвалынова. После видно будет, что и как.

Оба ушли. Гребнев сзади. Оглянулся и сильно хлопнул дверью. Хвалынова рассердилась:

— Чорт знает, полоумные какие-то, маньяки! Во всех предателей видят.

Лиза холодно и строго взглянула на Хвалынову, сказала, еле разжимая побледневшие губы:

— Не расходуйтесь зря! Я вас отсюда в тревогу не выпущу. Там увидим, занапрасно или нет подозреваем. Я сейчас к себе пройду. Но коль услышу, что уходите, пеняйте на себя!

Вышла. Хвалынова плюнула, хлопнула руками себя по бедрам, покачала головой, села и вдруг улыбнулась.

Лиза вернулась с браунингом. Подошла к окну и стала настороженно слушать, что на улице. Хвалынова задвигалась. Лиза оглянулась и смерила ее предостерегающим злым взглядом.

Хвалынова засмеялась.

— Никуда не уйду, не беспокойтесь. Но неужели вы даже представить себе не можете, чтоб человек, добровольно работавший у вас, не предал вас в минуту опасности?

— Я ничего не знаю, но сейчас матери родной не поверю... Если не наша она.

— Если не коммунистка? Эх, наивные вы все трое, глупые! Из коммунистов из ваших десятка два, наверное, лататы зададут и откажутся от вас, отрекутся семьдесят семь раз... А я сама с вами осталась. Уж, конечно, не для предательства! Ничего ты, девушка, не понимаешь.

— Не понимаю, ладно. Только не выпущу отсюда.

— Арестована, значит, я?

— Да, арестованы. Не выпущу.

— А если побегу? Пристрелите?

— Пристрелю.

— Да ведь зря!

— Зря — мой грех. Я одна в ответе. А вот если не зря, да выпущу, расхлебывать все наши будут.

— Наши, наши! По билетику своих ищете...

— Ну, хватит пустых этих разговоров-то. Вот что, сидите здесь. Я во двор выйду, к воротам, посмотрю. А вы здесь оставайтесь. Слышите?

— Слышу. Не побегу, не бойтесь.

— Да и некуда бежать, я же у выхода буду.

Лиза накинула большой теплый платок, оглядела комнату, проверила будто, что Хвалыновой не уйти без ее разрешения, и ушла.

Во дворе она приоткрыла ворота и выглянула наружу. Их улица была пустынна. Небо с яркими звездами горело в холодном сияньи над безлюдьем. Закутанные снегом, нежилыми казались дома. Но зоркий Лизин взгляд видел приоткрытые калитки, кое-где затаившиеся в пугливом, настороженном любопытстве черные силуэты. На соседнем дворе слышался осторожный шум, похожий на тревожную мышью возню. Издалека, в морозной тишине отчетливо доносился гул многочисленной толпы, просекаемый топотом лошадиных копыт, шумным шуршаньем автомобилей и хрустящим под ногами пешеходов снегом. Гудок уже молчал. Мороз жег щеки, глаза, все тело под легкой защитой платка. Ресницы быстро заиндевели, примерзали. Лиза задрогла. Бегом вернулась в дом.

Хвалынова спросила тревожно:

— Ну что?

Лиза ничего не ответила, даже не взглянула на нее. Прошла мимо и прислонилась спиной к печке, дрожа мелкой дрожью и от холода и от волнения. Хвалынова отвернулась. Обе, молча, ждали.

Вдруг за окнами послышался скрип полозьев, голоса и как будто смех. Лиза кинулась к двери. Ее сразу бросило в жар. Вспомнила, что ворота забыла запереть. Но в сенях услышала знакомые голоса и радостно, очень громко крикнула:

— Свои?

Гребнев распахнул дверь с громким смехом. Филатов весело притопывал за ним.

— Ну что? Ну что? Что такое случилось?

Гребнев ласково обхватил ее плечи.

— Оказалось — пустяки, ложная тревога!

Филатов, смешно вертя головой, перебил его:

— Ну, история! Всполошили! Грабители - громилы взламывали продовольственный склад в горпродкоме. Их накрыли. Громилы вооруженные тоже. Началась пальба, перестрелка! Ну, услышали, — решили, что белогвардейщина взгомонилась. Значит, давай нас скликать!

Гребнев, протирая очки, взволнованно сообщал:

— Ну, Лиза, здорово себя наши показали! Почти все явились, полняком. Эта тревога, как смотр. Мы оттуда с песнями возвращались. Ну-ка, я сейчас пойду самовар подогрею. Согреться надо.

Филатов, снимая с усов намерзшие блестки, остановил его.

— Ну, тоже доктор... Самовар. Спиртишку разыщи. Ну, мороз! Все кишки смерзлись.

Лиза весело подхватила:

— А я на керосинке яичницу сготовлю.

— Яишенку! Горячую! Вот хорошая хозяюшка. Вот спасибо!

Хвалынова злым голосом спросила:

— Теперь я, надеюсь, свободна?

Разом все кинулись к ней. Заговорили все вместе:

— Вы не сердитесь, пожалуйста!

— Никак иначе нельзя!

— Сейчас, барынька, хорошая барынька, закусим, и вас Федор отвезет. Он сейчас придет. Там около лошадей что-то замешкался.

Хвалынова гневно отстранила их всех рукой:

— Выпустите меня. Не надо мне никаких ваших закусок, ни лошадей! Пустите.

Властно перебила виноватый галдеж:

— Я не желаю больше оставаться с вами.

Она торопливо кое-как оделась, не отвечая ни слова на уговоры, объясненья, и почти выбежала из комнаты. Филатов без шубы бросился за ней.

Он скоро вернулся, ежась от холода и потирая затылок. Двигая торчками бровей, произнес с уважением:

— Нравная баба.

— Что? Не поехала?

— Никак не мог усадить. Топочет, бежит! Федор так и уехал за ней. Она бежит, он рядом едет, уговаривает. Они — знакомцы. Бабу его лечила.

Федор вернулся, рассказал:

— Никак не села в сани. Шибко осердилась. Так и добегла самостоятельно, а я рядышком доехал. Я уж говорил: вы, мол, на их серчаете, а мы с вами не ссорились, я вас всегда уважал; ведь я везу, садитесь, сделайте одолженье. Никак! Вертайся, говорит, а то я с тобой сроду слова не скажу. Только, говорит, расстраиваешь меня. Ну, так, в разговоре, и двигались.

Филатов широко усмехнулся:

— Господская придурь! Сама себя наказала, — никого больше. Они всегда так, на другого серчает, а себя тиранит, своей обидой допечь хочет, жалостью. А кто дурака пожалеет? А все-таки настойчивая баба! Это мне нравится. Самостоятельная.

Гребнев возразил:

— Но приглядывать за ней надо.

Филатов согласился:

— Это кто говорит, обязательно надо! Душок в ней вражий есть.

Только Федор заступился:

— Это зря. Женщина хорошая, дельная.

Да Лиза пожалела:

— Обидели мы ее. Мне жалко и совестно.

Сидели еще долго. Федор крепко уснул на сложенных на пол тулупах. Трудный медлительный зимний рассвет расползался по небу, прорывая седую мглу, когда уезжал Филатов. Гребнев в тулупе стоял около саней. Простились. Федор дернул вожжи. Но Филатов вдруг остановил:

— Погоди.

Выпрыгнул из саней, взял под локоть Гребнева и отвел его в сторону. Негромко и застенчиво спросил:

— Эта девка-то как? Строгого поведенья или вертихвостка?

Гребнев насторожился:

— А что? Распалился уж, бабник! Отъезжай, она не такая.

Филатов отрицательно замотал головой. Сказал еще тише, ласковей:

— Нет, я не для греха, а для семейства. Скучно бобылем жить! По-кобелячьи-то уж набегался, надоело.

Гребнев высвободил руку.

— Ну, поезжай, ладно. Разнежился в тепле.

И невольно с ревнивым вызовом добавил:

— Опоздал ты. Выкинь это из головы.

Филатов взглянул на него, сконфуженно усмехнулся:

— Да, вот в чем дело! Я, дурак, не сообразил. Ладно, совет да любовь.

Вскочил в санки.

— Погоняй, товарищ, буде дремать!

II.

Лиза с Филатовым встретились у подъезда губздравотдела. Заметно друг другу обрадовались... Он, здороваясь, так сжал ее руку, что Лиза плечами от боли передернула, но весело засмеялась, порозовела, и глаза у ней стали ярко-синими.

— Что же это вы сколько времени к нам не заглядываете? Никак месяца три?

Филатов крякнул, сдвинул рукой шапку на самые глаза.

— Три. В декабре тогда... тревога-то еще случилась, помните?

— Чать, не сто лет прошло, — как же не помнить? Так чего же это вы обегаете нас?

Филатов крякнул еще решительней.

— Между двоими согласными третьему нехорошо путаться. Вот что, Лизанька, — не мастер я бочком выхаживать. Охота мне все напрямик и тебе сказать. Желаете? Давайте маленько пройдемся по улице, если согласны побеседовать.

У Лизы только кончики ушей остались белыми, все лицо попунцевело. Она опустила глаза, спрятала их, чуть кивнула головой и повернула в улицу за угол. Филатов размашистым шагом поспешил за ней. Он еще раз крякнул, откашлялся, шапку со лба передвинул на затылок. Лиза услышала, как у ней взволнованно забилось сердце.

— Влюбился я в вас, и влюбленье мое вышло крепкое. Прямо как в песне поют, в старой в одной, ни запить, ни заесть, а я от себя еще прибавлю: работой никак его не задавишь, другой бабой не обманешь. Прямо, бывает, жгет сердце, охота вас повидать. Ну, а дальше сказывать нечего. Сами знаете. Как бы я знал, что и вы ко мне эдак же разгорелись, мне это нипочем, что Гребнев мне товарищ милый. Отбил бы. И врать не стану, не пожалел бы его. Такой характер у меня, у брата родного отбил бы, — шибко влюбился. Ну, а так вышло, что ты не ко мне, а к нему прилепилась, я и отрезал. Чего мне дураком-то обалтываться, а?

Лиза низко опустила голову в беленьком вязаном платочке и сосредоточенно смотрела на порыхлевший, оседающий февральский снег под ногами. Жадно хватала дыханьем теплую сырость ветра и молчала, будто не слышала его слов. Филатов шумно вздохнул, искоса поглядел на нее.

Темнорусая кудрявая прядка волос, выбившаяся из-под платка, тень опущенных ресниц на щеках, плотно сжатые милые губы ощутились бесценно дорогими, никак ничем не заменимыми. В страстном порыве, он громко крикнул:

— Эх, милаша, здорово ты меня завлекла!

Лиза испуганно оглянулась по сторонам и дернула Филатова за рукав кожаного пиджака.

— Не кричите, товарищ Филатов, очень неприлично, если кто услышит. Подумают про нас нехорошее.

— Это мне ровным счетом начхать, чего там какая шныряла об моих чувствах подумает! Ты вот чего думаешь? — лучше скажи. Идешь молчком, выходит зря канителюсь. Поверну по делу, куда шел. Чего же мне около тебя сусолиться, подумай-ко сама?

Но не поворачивал, никуда не уходил. Шумно пыхтел, шел рядом. Помолчал и неуверенным, почти просящим голосом спросил:

— А может, ты подумаешь?

Не поднимая лица, Лиза тихонько отозвалась:

— Об чем?

— Гребнев-то шибко мил тебе?

Лиза вздохнула и решительно подняла голову.

— А ты откуда знаешь, что промеж нами любовь была?

— Он сам сказал, как меня тогда провожал. А ты говоришь была? А сейчас как, кончилась, что ль? Я тебе вот чтó скажу, Лиза: насчет венчанья, это, конечно, ерунда, поповская лавочка. Но только все-таки я не уважаю, когда женщина мужиков меняет. И собирался я так, если охота возьмет на женитьбу, а не на баловство, жену себе, мать моим детям не брать от другого мужика. Об девушке думал. Постой, ты не сердись, такая ты мне дорогая, что все эти мысли нипочем вышли. Тем море не опоганилось, что собака в нем лакала. Я про Гребнева этим худого не хочу сказать. Он хороший человек, но когда об тебе раздумаюсь, он мне, как враг. А если любовь у вас прошла, он мне не поперек дороги, и я никогда тебе об нем худым словом не напомню. Прошла, говоришь?

Лиза рассердилась:

— Ничего я не говорю! Действительно, он пес, если сам тебе выболтал, что мы в секрете сговорились держать!

— А, дак ты только за это на него рассерчала?

— Ничего не рассерчала! На тебя досада берет за глупые твои слова. Я тебе согласья на любовь никакого не давала. Сам распелся, а туда же сразу: худым словом не попомню! Еще не муж, а уж в начальники становишься! Я думала: ты умный человек, а ты дурак.

Филатов растерянно остановился:

— Погоди, чего ты взъелась?

— А то! Кабы даже я согласилась, я бы ни худым, ни хорошим словом не обмолвилась, как ты до меня с другими бабами...

— Это тебе в женотделе разъяснили?

— Где бы ни было, а правда! Ты на словах по-новому, а на деле...

— Ничего я не по-новому, не по-старому, а по-моему. Выложил все, что думал. Я ведь не в укор! Значит, начисто отрезать думу об тебе? Крепко с Гребневым? Ну, чего же! Прощай.

Филатов круто повернулся и пошел назад. Лиза приостановилась, посмотрела ему вслед, сердито тряхнула головой и пошла в детскую больницу.

Поздно ночью Гребнев вошел к Лизе. Она всегда крепко спала, а тут сразу услышала, как отворилась дверь. Приподнялась и села на постели. Он в темноте нащупал, обнял ее.

— Ты чего соскочила? Не спишь еще?

Его руки показались ей слишком горячими, объятье неприятным. И дышит в самое лицо, душно от этого, всему телу как-то неудобно, неловко!

— Постой! Чего ты всегда навалишься, дышать не даешь! Пусти-ка! Я пить хочу.

— Я тебе подам.

— Не надо, ты же не знаешь, где у меня вода.

Напилась, постояла и зачем-то зажгла свет. Гребнев уже лежал в ее постели. Приподнял голову, прижмурился от света.

— Ты что? Зачем зажгла?

— Ну, что, да зачем? Зажгла, значит, надо мне. Чать, я у себя дома, спрашиваться, что ли, мне у тебя, зажечь или не зажигать. Разбудил, не уснешь теперь!

— Хочешь спать, так уснешь. Чего это ты раскапризилась сегодня? Ложись скорей, пригреемся, уснем.

— Жарко сегодня. Не усну я с тобой, ты в рот мне всегда дышишь. Ворочаешься-ворочаешься, пока самой дышать место найдешь.

Гребнев засмеялся.

— Не первую ночь около тебя дышу, не жаловалась. Еще сама жалась поближе. Ну, жмись скорей, Лизунька, туши огонь!

— Чего ты совсем ко мне перебрался? У себя на кровати вовсе не спишь?

— С тобой очень сладко спать. Ну, ложись.

Лиза недовольно взглянула на него. Этот близкий ей человек вдруг показался ей новым, чужим и неприятным. Чего усмехается? Щурится, как кот на сало.

— Что-то мне сегодня неможется, нездоровье какое-то. Ты иди на свою кровать.

Он широко открыл глаза, удивленно посмотрел на нее и вздохнул.

— Мне с тобой хорошо больно. Я думал даже кое-о-чем сговориться, как рядышком ляжем. Чего-то нынче прямо чуть дождался, когда домой выберусь. К тебе больно тянуло целый день.

У Лизы вдруг сжалось сердце от чувства странной, смутной виноватости перед ним. Стало так жалко его, будто над ним беда какая стряслась, и он сейчас, сию минуту, погибнет... Она испугалась, что расплачется, смутит его этими непонятными самой слезами, быстро потушила свет, легла и крепко обняла Гребнева за шею обеими руками. Но когда он жарко обхватил ее, притиснул к себе, тело ее будто одервенело, терпеливо в немоте подчинялось его ласкам, как тягостной необходимости.

Впервые она отчетливо, точно увидела со стороны, ощутила непристойной предельную физическую близость мужа и сплющила веки закрытых глаз так сильно, что темнота в глазах запрыгала. Когда Гребнев дышал уже легко, Лиза ласково, но с напряженным смешком проговорила:

— Спать все-таки иди к себе на кровать.

Поспешно добавила:

— Голова у меня болит, я все ворочаюсь, ты мешаешь.

— Сейчас уйду. Знаешь, Лизанька, я вот что хотел тебе сказать: давай жить открыто, как муж и жена. Сходим в загс. Я даже теперь и не пойму, чего мы сразу так не сделали. Кто мешает?

— Да иди ты, пожалуйста, к лешему с разговорами! Приспичило ночью свататься! Говорю тебе, голова болит. Завтра дня, что ль, не будет?

— Ну, иду, иду. Думалось целый день об этом, вот и поторопился тебе сказать сегодня же.

— Ну, не шибко торопился, сперва сблапил. Иди, и сам выспишься.

Ушел. Она уткнулась лицом в подушку, заплакала, сама не зная о чем.

Дня через два Гребнев снова разговор о загсе завел:

— Все вместе у нас будет. Заживем хорошо, два пайка у нас, одежду тебе надо будет выхлопотать. Ты о себе не заботишься, а мне сейчас неудобно. Тогда для жены. Потом, что мы так бобылями и будем век коротать? Пора детей заводить. Тебе работу надо будет бросить. Хватит и партийной одной. У меня положенье хорошее, и в здравотделе и в губкоме меня ценят.

Лиза сидела у стола. Лампа ярко освещала ее спокойное, но бледное и невеселое лицо. Она смотрела мимо Гребнева, куда-то в стену, растерянно водила взглядом по узору обоев.

— Работаю я добросовестно...

Лиза усмехнулась. Гребневу усмешка ее показалась недоброй. Он нахмурился.

— Чего ты смеешься?

— Да смешно, выхваляешь себя, чисто, правда, к настоящей невесте в первый раз пришел. Чего ты разводишь? Уж хоть бы только пили-ели вместе, а то спим вместе какое время, он давай размазывать! Чать уж, что надо и не надо все про тебя знаю. Разве только в кличке ошибусь: не то Виктоша, не то Леничка, а так уж все шибко хорошо знаю.

Гребнев рассердился, ударил ладонью по столу:

— Ты дуру не валяй! Знаешь, что я укрепился в докторах. Я сам забывать стал, что Виктошкой когда-то называли.

Лиза встала, притворно зевнула:

— Я нынче опять набегалась. Нам днем-то увидеться не приходится, вот все разговоры в ночь. А ты еще везешь, никак не довезешь, все с долгим разговором.

— Что-то очень сонливая стала, маком, разве, опоили? Засиживалась, бывало, и поздней. Да шут с тобой! Очень зазнаваться начала. Не хочешь, другую найдем.

— Ну и найди.

Пошла. Но Гребнев встревожился. У дверей догнал.

— Ты не сердись, подожди немного. Не надо мне другую! Никакую бабу, кроме тебя, стало не надо.

Лиза приостановилась, помолчала, потом отозвалась с бледной улыбкой:

— Ну, чего нам об этом разговаривать? Чудной ты какой-то стал! Боязливый, да прилипучивый. На этой неделе не удастся, дни шибко занятые. А на будущей сходим и зарегистрируемся, — вот и вся.

У Гребнева просветлело лицо. Он крепко прижал к себе Лизу, начал бурно целовать ее лицо. Она тихонько высвободилась, с той же стылой улыбкой легонько хлопнула его рукой по шее и ушла.

Гребнев принялся за учебники, но мешали посторонние мысли. Он думал, зачем это Лиза нет-нет, да старое ворохнет. Чего там ворошить? Хорошего мало. Отжито и ладно. Он искренно говорил Лизе, что сам про свое самозванство забывать начал. Вначале часто шевелилась боязнь быть изобличенным. Но с каждым месяцем она пробуждалась все реже и реже. Положение доктора Леонида Сергеевича Гребнева, его имя, работа, с этим именем связанная, стали ощущаться ловко по плечам, как обношенное, привычное свое платье. Виноватости он уже никакой не чувствовал и гораздо реже в бок глаза отводил. Уверенней стала речь. Временами он только замедлял ее, как бы обдумывая перевод. С большого пьянства чуть было себя не сгубил. Липатовой проболтался. Теперь приходится с ней канитель тянуть. Пока связь между ними, не выдаст, сильно в него втюрилась. Ему трудно, совсем отшибло от нее. Хорошо, что сейчас на шестимесячные курсы какие-то в Москву уехала. Сейчас бы не мог. Вернется, могут возникнуть осложнения из-за того, что застанет его женатым. Ну, тогда уладит он как-нибудь. Может, и свертится с кем-нибудь, сама отлипнет. Полюбовно, мирно разойдутся, не выдаст. Ему тоже про нее кое-что известно. Поворовывает из детского снабженья и крупно. Тогда этими сведениями можно будет козырнуть, припугнуть Липатову. А от Лизы отказаться не может. В последнее время его большое чувство к ней осложнилось еще странным опасеньем потерять ее любовь. Оттого беспокойней, горячей привязанность к ней. Ревность, пробужденная Филатовым, взбудоражила. После болезни она похорошела, приманчивей стала и независимей. Может быть, оттого часто теснил грудь испуг, назойливый, как тяжелое предчувствие беды. Лиза в последние дни стала какая-то раздражительная, неохотливая на ласки. Ну вот, зарегистрируются, тогда дитенка можно завести. Успокоится.

Через неделю на своем столе Гребнев нашел письмо, тщательно заклеенное столярным клеем в самодельный конверт из линованной бумаги. Надпись на конверте, сделанная Лизиной рукой, удивила его:

— Чего это она написала? Верно, на дежурстве ночует.

Похолодевшие пальцы и неровное биенье сердца подсказали: нет, что-то страшное. Он распечатал конверт:

«Миленький мой, слезы капают, мне тебя жалко, только ничего они не помогут тебе, эти слезы. С сердцем не совладаешь. Любила я тебя, Виктошенька, не обманывала, крепко любила, а теперь другого люблю. Стыди, не стыди, сама себя стыдила, а все равно к нему ушла. Что было

промеж нами, какая любовь, я никогда худо о ней не помыслю, добром буду вспоминать, и все, в чем открылся мне, чего мы с тобой двое прятали, обещаюсь крепким словом, никому не выдам, даже теперешнему мужу моему не скажу, ты не бойся. Было, умерло промеж нас, и ладно. Знаю, что очень ты обидишься и расстроишься, шибко я для тебя желанная, но в своем сердце никто не волен. Я тебя не осуждаю, только как пожили мы вместе, похолодало мое сердце к тебе, невеселый ты и маленько чисто свихнутый, а я простая и без обману, а с тобой сама не собой сделалась. Не сужу я, а жалею и плачу и об тебе и об себе. Лучше бы, кабы я раньше с Филатовым встретилась, все одно так вышло, что к нему от тебя ушла. Обман всегда горе сеет, Виктошенька, мы с тобой и жили с того не в полную душу, что за твой обман и я с тобой, как помощница. Но делили его, я умолчу о нем, еще раз обещаюсь тебе».

Подписи не было. Гребневу она и не была нужна, но он долго смотрел на пустое место под строками, будто эту подпись искал. Потом скосил рот, злобно плюнул на письмо, рванул на себе волосы обеими руками, выругался вслух матерно хриплым голосом, быстро побежал в Лизину половину, оглядел пустую комнату, взвыл, как от приступа зубной боли, вернулся к себе, сел, посидел. Увидел перечень вещей, сорвался с места, изорвал его, потом, смешно крутя головой, всхлипнул несколько раз по-бабьи.

(Окончание следует).

Гиперболоид инженера Гарина[1]).

(Роман).

А. Толстой.

36.

«Четырехпалый здесь. События угрожающие». (Париж, год, месяц, число, подано 5,30 вечера.)

Какая причина, какая цель была у Гарина посылать телеграмму Шельге? Продолжение шахматного турнира, предложенного на бульваре Профсоюзов? Навряд, — играть ради игры не стали бы ни тот, ни другой.

Шельга хорошо помнил «проигранную пешку» на даче на Крестовском. Тогда (на бульваре Профсоюзов), как отстой разговора, получился у него вывод, что Пьянков-Питкевич непременно придет еще раз на дачу за чем-то, что было спрятано у него в подвале. В сумерки (того же дня) Шельга пробрался на дачу, не потревожив сторожа, и с потайным фонарем спустился в подвал. «Пешка» сразу была проиграна: в двух шагах от люка, на кухне, стоял Пьянков-Питкевич. За секунду до появления Шельги он выскочил с тяжелым чемоданом из подвала и стоял, распластавшись по стене за дверью. Он с грохотом захлопнул за Шельгою люк и принялся заваливать его ящиками с известью и мешками с углем. Шельга, подняв фонарик, глядел с усмешкой, как сквозь щели люка сыплется мусор. Он намеревался войти в мирные переговоры, как только противник устанет наваливать тяжелые вещи. В это время наверху внезапно настала тишина. Послышались убегающие шаги, затем — грянули выстрелы, затем — дикий крик. Это была схватка с четырехпалым. Через час появилась милиция. Ее вызвал по телефону мнимый Пьянков-Питкевич. Игра была чистая.

Проиграв пешку, Шельга сделал хороший ход. Прямо из дачи он кинулся на милицейском автомобиле в Яхт-Клуб, разбудил дежурного по клубу, всклокоченного морского человека с хриплым голосом, и спросил в упор:

— Какой ветер?

Моряк, разумеется, не задумываясь, ответил:

---

[1]) Продолжение. См. № 8 «Красной Нови».

— Зюд-вест.

— Сколько баллов?

— Пять.

— Вы ручаетесь, что все яхты стоят на местах?

— Ручаюсь.

— Какая у вас охрана при яхтах?

— Петька, сторож.

— Разрешите все-таки осмотреть баны.

— Есть, — осмотреть баны, — ответил моряк, едва попадая с просонок в рукава морской куртки.

— Петька! — крикнул он такелажным голосом, выходя с Шельгой на веранду клуба. (Никто не ответил.) — Непременно спит где-нибудь, тяни его за ногу, — сказал моряк, поднимая воротник от ветра, — на четверть балла я ошибся: не пять, а пять с четвертью ветер.

Сторожа нашли неподалеку в кустах, — он здорово храпел, закрыв голову бараньим воротником тулупа. Моряк выразился. Сторож крякнул; встал. Пошли на баны, где над стальной, уже засиневшей водой покачивался целый лес мачт. Била волна. Крепкий, со шквалами ветер дул с Маркизовой Лужи.

— Вы — уверены, что все яхты на месте? — опять спросил Шельга.

— Нехватает «Ориона», он в Петергофе... Да в Стрельну металлисты загнали два судна.

Шельга дошел по брызжущим доскам до края банов и здесь поднял кусок причала, — один конец его был привязан к кольцу, другой явно отрезан. Дежурный, не спеша, осмотрел причал. Сдвинул зюдвестку на нос. Чесанул в затылке. Ничего не сказал. Пошел вдоль банов, считая пальцем яхты. Рубанул рукой по ветру, и так как клубской дисциплиной запрещалось употребление военно-имперьялистических слов, то ограничился одними боковыми выражениями:

— Не так и не мать! — закричал он с невероятной энергией. — Шкот ему в глотку, увели «Бибигонду», лучшее гоночное судно, разорви его в душу, сукиного сына, смоляной фал ему куда не надо... Петька, чтобы тебе тридцать раз утонуть в тухлой воде, что же ты смотрел, паразит мелкобуржуазный, деревенщина! «Бибигонду» увели, так и не так и не мать...

Сторож Петька ахал, дивился, бил себя по бокам бараньими рукавами. Моряк неудержимо мчался фордевиндом по неизведанным безднам великорусского языка. Здесь делать больше было нечего. Шельга поехал в Гавань.

Прошло часа три, по крайней мере, покуда он на быстроходном катере ГПУ не вылетел в открытое море. Била сильная волна. Катер зарывался. Водяная пыль туманила стекла бинокля. Когда поднялось солнце — в финских водах, далеко за маяком, вблизи берега, был замечен парус. Это билась среди подводных камней несчастная «Бибигонда». Палуба ее

была покинута. С катера дали несколько выстрелов, для порядка, — пришлось вернуться ни с чем.

Так бежал через границу Гарин, выиграв в ту ночь еще одну пешку. Об участии в этой игре четырехпалого было известно только ему и Шельге. По этому случаю у Шельги, на обратном пути в Гавань, ход мыслей был таков:

«За границей Гарин либо продаст, либо сам будет на свободе эксплоатировать таинственный аппарат. Изобретение это для Союза потеряно, и, кто знает, не должно ли оно сыграть в будущем роковой роли в борьбе Союза и Запада. Но за границей у Гарина есть острастка — четырехпалый. Покуда борьба с ними не кончена, Гарин не посмеет вылезти на свет с аппаратом. А если в этой борьбе стать на сторону Гарина — можно и выиграть в результате. Во всяком случае, самое дурацкое, что можно было бы придумать (и самое выгодное для Гарина), это немедленно арестовать четырехпалого в Ленинграде. Гарин рассыплется за это в благодарностях. Итак»...

Вывод был прост: Шельга прямо из гавани приехал к себе на квартиру, надел сухое белье, позвонил в Угрозыск о том, что «дело само собой ликвидировано», выключил телефон и лег спать, посмеиваясь над тем, как четырехпалый, — отравленный газами и, может быть, раненый, — удирает сейчас со всех ног из Ленинграда. Таков был контр-удар Шельги в ответ на «потерянную пешку».

И вот — телеграмма: «Четырехпалый здесь. События угрожающие». Это был вопль о помощи. Гарин обращался к противнику за помощью против врага. Чем дольше думал Шельга — тем ясней становилось: надо лететь в Париж. Он взял по телефону справку об отлете пассажирских аэропланов и вернулся на веранду, где сидели в нетемнеющих сумерках Тарашкин и Иван. Беспризорный мальчишка, после того как прочли у него на спине надпись чернильным карандашом, притих и не отходил от Тарашкина.

В просветы между ветвями с оранжевых вод долетали голоса, плеск весел, женский смех. Старые, как мир, дела творились в эту теплую ночь под темными кущами леса на островах, где бессонно перекликались встревоженными голосами какие-то птички, пощелкивали соловьи. Все живое, вынырнув из дождей и вьюг долгой зимы, торопилось жить, с веселой жадностью глотало хмельную прелесть этой ночи. Тарашкин обнял одной рукой Ивана за плечи, облокотился о перила и не шевелился, — глядел сквозь просветы на воду, где неслышно скользили лодки. Некрасивое лицо его казалось суровым, важным и покойным.

— Ну, как же, Иван, — сказал Шельга, придвинув стул и нагибаясь к самому лицу мальчика, — где тебе лучше нравится: там ли, здесь ли? На *Олекме* ты, чай, плохо жил, впроголодь?

Иван глядел на Шельгу, не мигая. Глаза его в сумерках казались печальными, как у старичка. Шельга вытащил из жилетного кармана леденец и постучал им Ивану в зубки, покуда те не разжались, — леденец проскользнул в рот.

— А мы, Иван, с мальчишками лучше обращаемся, чем у вас на Олекме. Работать не заставляем, писем на спине не пишем, за семь тысяч верст под вагонами не посылаем никуда. Видишь, как у нас тут хорошо на островах. Это все, знаешь, чье? Это все мы детям отдали на вечные времена. Это все — твое. (Иван мигнул.) — Думаешь, — я смеюсь. Честное пионерское слово: все до последнего листочка: и река, и птицы, и лодки, и небо на восемьдесят верст кверху, — все твое. Подумай, — какой сразу ты стал богатый! А ты еще не все видел: город, фабрики, трамваи, железные дороги, — это все тоже твое.

— Вы так мальчишку собьете, — сказал Тарашкин.

— Ничего не собью. Ты, Иван, про царя слыхал?

— Слыхал.

— Раньше царь всем владел, а теперь ты владеешь. Ты да я, да Тарашкин, да вон те, кто в лодке едут, — много народу. Про это тебе на Олекме не говорили?

— Нету, не говорили.

— А ты как туда попал, у тебя там родные, что ли?

— Никого нету. Мамка от сыпняка умерла, а батю убили.

— Батя кто был?

— Казак, партизан. Мы — алтайские.

— А убили кто, — белые?

— Какие-то чисто одетые, приезжали на лошадях. А батю мертвого видел: он в овраге лежал. Муравьи его съели.

— А ты что?

— Меня в лесу подобрали, голодного.

— Эти, с Олекмы подобрали?

— Да. Взяли кашеваром, на деревья лазить, шишки с орехами сшибать, белок ловить для пищи.

— Что же вы на Олекме делали? Золото искали?

— Золото, само собой, тоже искали.

— Вот как, — золото, само собой, тоже искали. А сколько вас было в партии?

— Со мной — семеро.

— А кто да кто?

Иван не ответил. Через небольшое время у него поползли большие слезы из открытых глаз. Тарашкин осторожно прижал его, погладил:

— Ты, малый, пойми, — не они, мы — тебе друзья. Отвечай, не бойся. Мы не для плохого, для хорошего спрашиваем.

— Понимаю, — ответил Иван, — я бы сказал. Они не велели. Мы, говорит, тебя под землей найдем, зарежем.

— За что?

— А за то, если кому спину покажу. Должен ты, говорит, найти в Ленинграде Петра Петровича Гарина, — велели заучить адрес, — и ему одному показаться.

— А кто тебе главное грозил-то? — спросил Шельга.

— Николай Христофорович.

— Какой?

— Манцев. Он — начальник.

— А ты знаешь, что на спине у тебя написано?

— Не, я неграмотный.

— Дорогу, откуда пришел, указать можешь, если понадобится?

— Я всякую дорогу могу указать.

— Долго вы там работали?

— Два года около «Шайтан-камня» кружились. Почвы накопали — гору. И завод у нас там поставлен.

— Какой завод?

— Обыкновенный. Землянка вырыта, кубы, котлы, печь.

— Откуда котлы достали?

— Николай Христофорович на плоту пригнал откуда-то. Потом шесть недель их тащили по тайге.

— Значит — завод химический, как я понимаю?

— Кто его знает. Они все про какой-то радий говорили, руду, что ли, они очищают.

Шельга и Тарашкин с величайшим вниманием вслушивались в ответы мальчика. Шельга еще раз осмотрел надпись у него на спине и, запалив ленточный магний, сделал с ней карманным аппаратом несколько фотографических снимков.

— А теперь, Иван, иди вниз, товарищ Тарашкин вымоет тебя мылом, ложись спать, — сказал Шельга; — не было у тебя ничего: ни отца, ни матери, одно голодное пузо. Теперь все есть, всего по горло, — живи, учись, расти на здоровье. Горевать нечего: на то и земля, чтобы ходить по ней подбоченясь. Тарашкин тебя научит уму-разуму, ты его слушайся. Прощай. Дня через три увижу Гарина, поручение твое передам.

Шельга засмеялся, и скоро фонарик его велосипеда, подпрыгивая, пронесся за темными зарослями.

37.

Сверкнули алюминиевые крылья высоко над зеленым аэродромом, и шестиместный пассажирский самолет скрылся за снежными облаками. Кучка провожающих постояла, задрав головы к лучезарной синеве, где лениво кружил стервятник, да стригли воздух ласточки с хрустальными писками, но дюралюминиевая птица уже летела черт знает где, — над Ямбургом, быть может.

Шесть пассажиров, сидя в поскрипывающих плетеных креслах, глядели сквозь толстые стекла на медленно падающую вниз и назад лиловато-зеленую землю. Ниточками вились по ней дороги. Игрушечными — слегка наклонными — казались гнезда построек, колокольни. Справа, вдалеке, расстилалась прохладная синева воды. Скользила тень от облака, скрывая подробности земной карты. А вот и само облако удиви-

тельно появилось близко, внизу, — быстро промчались его туманные клубы.

Прильнув к стеклам, все шесть пассажиров улыбались несколько принужденными улыбками людей, умеющих владеть собой. Воздушное передвижение было еще внове. Несмотря на комфортабельную, вагон-ресторанного типа, кабину, пропахшую хорошими сигарами, газеты, журналы и шикарные каталоги, разбросанные по откидным столикам, на видимость безопасного уюта, — пассажирам все же приходилось уверять себя, что, в конце концов, воздушное сообщение гораздо безопаснее, чем, например, — пешком переходить улицу, где извозчик налетит оглоблей, замнет под колеса трамвай, ударит в спину пышущий жаром радиатор, по черепу тюкнет кусок штукатурки с пятого этажа, налетит налетчик, привяжется пьяный шкет... Нет, — если вдуматься,— чорт знает как опасно даже нос высунуть на улицу.

То ли дело в воздухе. Встретишься с облаком, — пронырнешь, лишь запотеют стекла в кабине, пробарабанит град по дюралюминию; или встряхнет аппарат, как на ухабе, в воздушном мешке, — ухватишься за плетеные ручки кресла, выкатив глаза, но сосед уж подмигивает, смеется:— вот это так ухабик!.. Налетит шквал, из тех, что в секунду валит мачты на морском паруснике, ломает руль, сносит лодки, бочки, людей в бушующие волны, — пожалуйста... Гудящая металлическая птица прочна и увертлива, — качнется на крыло, метнется в черных потоках вихря, взвоет моторами, и уже выскочила, взмыла на десять тысяч метров, выше гнездовины урагана. Упоительно, божественно плыть в голубом океане над полями облаков. Клокочет в двенадцати цилиндрах тысячесильного мотора мозг человеческий.

Словом, не прошло и часа, как пассажиры в кабине освоились и с пустотой под ногами и с качкой. Гул мотора мешал говорить. Кое-кто надел на голову наушники с микрофонными мембранами, и завязалась беседа. Рядом с Шельгой — через проход — сидел худощавый человек лет тридцати пяти, в поношенном пальто (видавшем очереди) и в новенькой клетчатой кепке, видимо, приобретенной для заграничного путешествия.

У него было бледноватое с тонкой кожей лицо, умный, нахмуренный, изящный профиль, русая бородка, целомудренный рот сложен спокойно и твердо. Сидел он сутулясь, сложив на коленях руки. Шельга с улыбкой сделал ему знак. Человек надел наушники, поднес к губам трубку. Шельга спросил:

— Вы не учились в Ярославле, в реальном? (Человек наклонил голову.) — Земляки, — я вас помню. Вы Хлынов, Алексей Семенович. (Наклон головы.)— Три раза я вас встречал после Ярославля,— мимоходом, в хлопотах. Один раз на приемке хлора для армии, — вы работали на военном заводе. Второй — в семнадцатом году, на площади Восстания, — вы митинговали против войны, хотел я подойти, на вас какие-то бешеные старички набросились. Толпа, теснота. А в третий раз, — вы этого не можете помнить, — я вас в девятнадцатом году зимой подобрал на Мил-

лионной, в сугробе. Думал — готов, не дышит. Сапоги сдернуты, кто-то уж постарался, лицо распухшее. В мешке за плечами одна керосиновая жестянка, пустая. Доставили в район. Потом я так и не справился, жив ли. Оказывается, вот летим вместе. Вы теперь где работаете?

— В физической лаборатории политехникума,—проговорил в трубку, заглушенный гулом мотора, слабый голос Хлынова.

— В командировку?

— В Берлин, к Рейхеру.

— Секрет?

— Нет. В марте этого года нам стало известно, что в лаборатории Рейхера произведено атомное распадение ртути.

Хлынов сказал это, повернувшись всем лицом к Шельге, — розовые пятна выступили у него на щеках, глаза со строгим волнением уперлись в собеседника. Шельга сказал:

— Не понимаю, товарищ Хлынов, — не специалист.

— Причины распадения материи нам неизвестны. Мы знаем, что при распадении разрушается атом, вернее — его ядро, при чем выделяются огромные запасы энергии. Энергия эта неизмерима. Для примера приведу пропорцию: бросьте со второго этажа пудовую гирю. Бросьте пуд динамита. Отношение между ударом гири и взрывом динамита будет приблизительно таким же, как между взрывом пуда динамита и энергией распада булавочной головки.

— Фу ты, чорт! — сказал Шельга.

— До сих пор у нас не было средств ни вызвать искусственно атомный распад, ни его прекратить. Мы еще не владеем этой космической силой, как пещерный человек не умел управлять — электрической энергией.

— Понимаю, понимаю...

— Демона электричества мы поработили, но мы еще бессильные, безоружные стоим перед непостижимыми запасами атомной энергии. С нашими паровыми машинами, моторами, динамо, белым и черным углем, — мы — пещерные люди. Мы знаем только, что металл уран, распадаясь и все время выбрасывая из сердцевины своих атомов альфа-бета-и гамма-лучи (т.-е.: альфа — ядра атомов газа гелия, бета — электроны и гамма — частицы света), превращается через ряд элементов менделеевской таблицы в свинец. Мы все это уже знаем. Но демон распада еще на свободе. Теперь вы понимаете, какое волнение в кругах ученых произвело известие из Берлина.

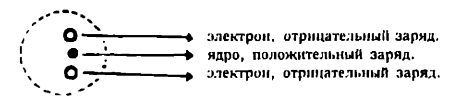
— Это вы правильно, что едете туда, — сказал Шельга; — Союзу бы такую силищу заполучить!

— Работы ведутся пока еще в лабораториях. До применения в промышленности еще далеко... Хотя, — Хлынов глядел строгими глазами на клубистые, как снег, поля облаков, глубоко внизу застилающие землю, — от кабинета физика до мастерской завода шаг не велик. Принцип насильственного разложения атома должен быть прост, чрезвычайно прост. Вы знаете, конечно, что такое атом?

— Маленькое что-то такое, — Шельга показал пальцами.

— Вот то-то, что маленькое. Он действительно маленький. Радиус атома равен *одной стомиллионной* сантиметра. Но сам атом представляет из себя как бы солнечную систему: центральное ядро материи (с положительным зарядом), вокруг которого вращаются нематерьяльные частицы — электроны (с отрицательным зарядом). Радиус ядра атома равен *одной стобиллионной* сантиметра. Радиусы электронов — *одной стомиллиардной* сантиметра.

На запотевшем стекле Хлынов начертил:



— Вот атом гелия.

Шельга наморщил лоб, зрачки у него стали, как точки.

— Значит, меньше микроба?

— Микроб в сравнении с атомом, как земной шар в сравнении с песчинкой. И все же мы измеряем атом, исчисляем скорость вращения его электронов, его вес, массу, величину электрического заряда. Мы подбираемся к самому сердцу атома, к его ядру. В нем-то весь секрет власти над материей. Будущее человечества зависит от того, — сможем ли мы овладеть ядром атома, частичкой матерьяльной энергии величиной в одну стобиллионную сантиметра. Ядро чудовищно прочно. Оно представляет конгломерат из частиц водорода, связанных частицами электричества, так называемыми электронами ядра. Вокруг него носятся по кругам и эллипсам шары внешних электронов. Например: если в ядре 4 частицы водорода, это — атом гелия, в ядре—236 частиц водорода — получается атом самого тяжелого металла — урана. И так далее.

— Т.-е. как же, а это все? — Шельга обвел глазами тисненокожаные стены кабины, потряхивающихся в креслах пассажиров,— один из них, толстяк, расстегнув воротник и морщась (от воздушной качки), пил содовую из бутылки...

— И это все, — с улыбкой сказал Хлынов, — и содовая, и бутылка, и сам гражданин, мозг в его голове, и эта дюралюминиевая птица, и облака, и вон тот городишко — чуть видный, — вся материя вселенной состоит из атомов водорода, соединенных в различных комбинациях с отрицательными зарядами электричества.

Шельга вытер лоб и покосился на Хлынова, но — почтительно. Затем что-то хотел возразить, но только стукнул по откидному столику. Хлынов сказал:

— Вы ударили рукой по дереву, и вам кажется, что вы почувствовали его массу. Представьте, что это тоже пещерное понятие. Масса тела, которую мы привыкли рассматривать, как самое реальное и действитель-

ное, — вот это тяжелое, а это легкое, — на самом деле лишь обманчивая видимость. Вы подняли чемодан, или вас ударило камнем. Вам кажется, что вы испытываете действие массы чемодана или массы камня. На самом деле, — вот последнее утверждение физики, — вы испытываете лишь действие электрических зарядов, заключенных в ядрах атомов материи чемодана или камня.

— Т.-е. позвольте...

— Да, да... Этот красного дерева откидной столик — лишь видимость. Это определенный заряд атомного электричества, с которым ваша рука вошла в соприкосновение. В этом столике нет ничего, кроме частиц водорода и частиц электричества. Теперь, когда физика установила такое понятие материи, — еще шаг, — и мы овладеем самим ядром атома, его электрическим зарядом... Если разрядить, примерно, этот столик... — Хлынов покосился на собеседника. — Представьте, — с боков его я поставлю какие-то электромагниты-разрядители и приемники энергии. Я поворачиваю включатель. То, что вы называли массой столика, т.-е. его электрический заряд, — уйдет, как молния в громоотвод, в приемники, в конденсаторы. Сам же столик мгновенно исчезнет. Вернее, он целиком превращается в гамма-лучи, в невидимый свет, подобный рентгену... Это своего рода «продукт его горения»... А зарядом его мы станем освещать города, приводить в действие заводы... Думаю, что именно в этом направлении ведутся опыты у Рейхера...

Так на высоте пяти тысяч метров над землей Шельга слушал удивительные вещи, почудеснее сказок Шехерезады, но они не были сказкой. В то время, когда простая логика индустрии привела один класс к истребительной войне, а другой — к восстанию; когда горели города, и прах, и пепел, и газовые облака клубились над пашнями и садами; когда лопались уши от неистовых воплей удушаемых революций; когда снова, как в старину, заработали в тюремных подвалах дыба и клещи палача; когда по ночам в парках стали вырастать на деревьях чудовищные плоды с высунутыми языками; когда король одного королевства пошел поглядеть из любопытства на привезенную на броневом автомобиле отрезанную голову народного героя; когда упали с человека так любовно разукрашенные идеалистические ризы, — в это чудовищное и титаническое десятилетие одинокими светочами горели удивительные умы ученых.

Они освещали дикие ущелья, сквозь которые Великий Славянин с шишковатым черепом, с горько и жестко сложенным ртом и большими кистями рук, незаметный, как мужик, неумолимый в решении, как мудрец, стремительный и осторожный, двужильный, практичный и хорошо знающий восторг смертельного риска, — вел армии труда в обетованную землю. Вечерняя заря сходилась с утренней. Величайшие открытия науки были залогом того, что тесные ущелья будут пройдены и Обетованная Земля станет матерью, не мачехой.

38.

Аэроплан снизился над Ковной. Зеленое поле, смоченное дождем, быстро полетело навстречу. Взвыл ветер в троссах, шасси коснулись земли, подпрыгнули, аппарат прокатился и стал. Подбежали широколицые военные в фуражечках с желтыми околышами. Соскочил на траву пилот. Пассажиры вышли размять ноги. Но на земле было не стойко, шатало, — кровь текла гуще, болезненным казалось отсутствие шума. Закурили папиросы. Шельга в стороне лег на траву, закинул руки, и чудно было ему глядеть на далекие в синеве снежные облака с синеватыми днищами. Он только что был там, летел среди облачных гор, снежно-зыбких полей, над лазоревыми безднами.

Его небесный собеседник, Хлынов, стоял слегка сутулясь в потертом пальтишке около крыла серой, рубчатой птицы. Человек как человек, — даже кепка из Ленинградодежды. Шельга рассмеялся:

— Здорово, все-таки, забавно жить. Чорт знает как здорово.

Когда поднялись с ковенского аэродрома, Шельга подсел к Хлынову и рассказал ему, не называя ничьих имен, все, что знал о необычайных опытах Гарина, и о том, что ими сильно, видимо, заинтересованы за границей.

Хлынов спросил, видел ли Шельга аппарат Гарина.

— Нет. Этого аппарата никто еще не видал.

— Стало быть, все это — в области догадок и предположений, да еще приукрашенных фантазией?

Шельга рассказал о подвале на разрушенной даче, о разрезанных непонятным способом кусках стали, об ящиках с угольными пирамидками. Хлынов кивал, поддакивал:

— Так, так. Пирамидки. Очень хорошо. Понимаю. Скажите, если это не слишком секретно, — вы не про инженера Гарина мне рассказываете?

Шельга стукнулся затылком о плетеное кресло. Минуту молчал, глядя в глаза Хлынову.

— Да, — ответил он твердо, — Гарин. Вы знаете его?

— Очень, очень способный человек. — Хлынов сморщился, будто в рот ему попала сырая айва. — Необыкновенный человек. Но — вне науки. Честолюбец. Совершенно изолированная личность. Авантюрист. Циник. Задатки гения. Непомерный темперамент. Человек с чудовищной фантазией. Но его удивительный ум всегда возбужден низкими желаниями. Он достигнет многого и кончит чем-нибудь вроде беспробудного пьянства, либо попытается «ужаснуть человечество»... Гениальному человеку, больше чем кому бы то ни было, нужны строжайшие линии дисциплины. Слишком ответственно. Я бы сказал — нужно сжечь в себе личность.

Красноватые пятна снова вспыхнули на щеках Хлынова, глаза нестерпимо заблестели.

— Нужно бичевать себя. Только абсолютное. Только высшее. Просветленный, дисциплинированный разум. Величайшая святыня, чудо из чудес. На земле, — песчинке во вселенной, — человек — порядка одной биллионной самой малой величины... И у этой умозрительной частицы, живущей в среднем шестьдесят оборотов земли вокруг солнца, разум — охватывающий всю вселенную... Постигнуть это — мы должны перейти на язык высшей математики... Так вот, — что вы скажете, если у вас из лаборатории возьмут какой-нибудь драгоценнейший микроскоп и станут его употреблять, как грузило для ловли рыбы?.. Так именно Гарин обращается со своим гением... Это — оскорбление разума. Я знаю, — он сделал крупное открытие в области передачи на расстояние инфра-красных лучей. Вы слыхали, конечно, о лучах смерти Риндел-Мэтьюза? Лучи смерти оказались чистейшим вздором, а изобретатель — шикарным мошенником. Но принцип — верен. Инфра-красные лучи температуры тысячи градусов, посланные параллельным лучом, — чудовищное орудие для разрушения и военной обороны. Весь секрет в том, чтобы послать не рассеивающийся луч. Этого до сих пор не было достигнуто. По вашим рассказам, видимо, Гарину удалось построить такой аппарат. Не понимаю принципа, не догадываюсь. Но, если это так, — открытие непомерно.

— Мне давно уж кажется, — сказал Шельга, — что вокруг этого изобретения пахнет крупной политикой.

Некоторое время Хлынов молчал, затем даже уши у него вспыхнули:

— Отыщите Гарина, возьмите его за шиворот и вместе с аппаратом верните в Россию. Аппарат не должен попасть к нашим врагам. Спросите Гарина, — сознает он обязанности перед народом, перед Революцией?.. Пошляк!.. Дайте ему, чорт его возьми, денег — сколько он захочет... Пусть заводит роскошных женщин, яхты, гоночные машины... Убейте его...

Шельга поднял брови. Хлынов положил трубку на столик, откинулся в кресло и закрыл глаза. Сидевший впереди него толстяк, держась за лоб, тошнил в бумажный мешечек. Аэроплан плыл теперь над зелеными ровными квадратами немецких полей, над прямыми линеечками дорог, над опрятными гнездышками хуторов. Вдали, с высоты, виднелись между синеватыми пятнами озер громады Берлина.

39.

В половине восьмого поутру, как обычно, Роллинг проснулся на улице Сены в кровати императора Наполеона, не открывая глаз, достал из-под подушки носовой платок и решительно высморкался, выгоняя из себя вместе с остатками сна вчерашнюю труху ночных развлечений.

Не совсем, правда, свежий, но вполне владеющий мыслями и волей, он бросил платок на ковер, сел среди шелковых подушек и оглянулся. Кровать была пуста, в комнате — пусто. Зоина подушка холодна, место ее не смято.

Роллинг поднял с подставочки бронзовый колокольчик (эпохи Валуа), в подставочке включился ток, раздался звонок, появилась горничная Зои. Роллинг спросил, глядя мимо нее: — «Мадам?» Горничная подняла плечи, стала поворачивать голову, как сова. На цыпочках прошла в уборную, оттуда, уже поспешно, — в гардеробную, хлопнула дверь в ванную, и снова появилась в спальной,— пальцы у нее дрожали с боков кружевного фартучка: «Мадам нигде нет».

— Кофе, — сказал Роллинг. Он сам пустил ванную, сам оделся, сам налил себе кофе. В доме в это время шла тихая паника, — на ципочках, шопотом. Выходя из отеля, Роллинг толкнул локтем швейцара, испуганно кинувшегося отворять двери. Роллинг пешком дошел до моста Сольферино и взял наемный автомобиль. Он опоздал в контору на двадцать минут.

На бульваре Мальзерб в это утро пахло порохом. На лице секретаря было написано полное непротивление злу. Посетители выходили перекошенные из ореховой двери. «Мистер Роллинг, это бешеный зверь», — сказал один из них внизу на тротуаре, и другой, намеревавшийся-было подняться в контору, повернул обратно и спросил: «А что?». И эти двое стояли среди потока пешеходов и недоуменно разводили руками. Ровно в час мистер Роллинг посмотрел на стенные часы и сломал карандаш. Ясно, что Зоя Монроз не заедет за ним завтракать. Он медлил до четверти второго. За эти ужасные четверть часа у секретаря в темно-каштановом проборе появились два седых волоса. Роллинг поехал завтракать один к «Грифону», как обычно.

Сам мосье Грифон, рослый и полный мужчина, бывший повар и содержатель пивнушки, теперь — высший консультант по Большому Искусству Вкусовых Восприятий и Пищеварения, встретил Роллинга героическим взмахом руки. В темно-серой визитке, с блестящей, ассирийской бородой и благородным лбом, мосье Грифон стоял посреди небольшой залы своего ресторана, опираясь одной рукой на серебряный цоколь особого сооружения, вроде жертвенника, где под выпуклой крышкой томилось знаменитое жаркое — седло баран с бобами.

На красных кожаных диванах вдоль четырех стен за узкими сплошными столами сидели постоянные посетители, — из делового мира больших бульваров, женщин — не много. Средина залы была пуста, — не считая жертвенника. Хозяин, вращая головой, мог видеть процесс вкусового восприятия каждого из своих клиентов. Малейшая гримаска неудовольствия не ускользала от его взора. Мало того, — он провидел многое: таинственные процессы выделения соков, винтообразная работа желудка и вся психология еды, основанная на воспоминаниях когда-то съеденного, на предчувствиях и на приливах крови к различным частям тела, — все это было для него открытой книгой.

Подходя со строгим и вместе отеческим лицом, он говорил с восхитительной грубоватой лаской: «Ваш темперамент, мосье (или мадам), сегодня требует рюмки мадеры и очень сухого Пуи, — можете послать меня на гильотину — я не даю вам ни капли красного. Устрицы, немного

вареного тюрбо, крылышко цыпленка и несколько стебельков спаржи. Эта гамма вернет вам силы». Возражать в этом случае мог бы только патагонец, питающийся полевыми крысами.

Мосье Грифон не подбежал, как можно было предполагать, с униженной торопливостью к прибору химического короля. Нет. Здесь в академии пищеварения миллиардер и мелкий бухгалтер, и тот, кто сунул мокрый зонтик швейцару, стряхнув капли с дождевого пальто, и тот, кто, сопя, вылез из рольс-ройса, пропахшего гаваннами,— платили один и тот же счет. Мосье Грифон был республиканец и философ. Он с великодушной улыбкой подал Роллингу карточку и посоветовал взять дыню на первое, запеченного с трюфелями омара на второе и седло баран. Вина мистер Роллинг днем не пьет, это известно.

— Стакан виски-сода и одну бутылку Хейсик, заморозить, — сказал Роллинг.

Мосье Грифон отступил, на секунду в глазах его мелькнули изумление, страх, отвращение: клиент начинает с водки, оглушающей вкусовые пупырышки в полости рта и продолжает шампанским, от которого пучит желудок. Глаза мосье Грифона потухли, он почтительно наклонил голову: — клиент на сегодня потерян, примиряюсь. И за все последующее время он ни разу не повернул зрачков в сторону химического короля, пожирающего завтрак.

После третьего стакана виски Роллинг начал мять салфетку. С подобным темпераментом человек, стоящий на другом конце социальной лестницы, скажем Гастон Утиный Нос, сегодня бы еще до заката отыскал Зою Монроз, тварь, грязную гадину, подобранную в луже, — и всадил бы ей в бок лезвее складного ножа. Роллингу подобали иные приемы. Глядя в тарелку, где стыл омар с трюфелями, он думал не о том, чтобы раскровянить морду распутной девке, сбежавшей ночью из его постели... В мозгу Роллинга, в желтых парах виски, рождались, скрещивались, извивались чрезвычайно изысканные, болезненные идеи мщения. Только в эти минуты, быть может, он понял — что значила для него красавица Зоя... Он мучился, впиваясь ногтями в салфетку.

Лакей убрал нетронутую тарелку. Налил шампанского. Роллинг схватил стакан и жадно выпил его, — золотые зубы застучали о стекло. В это время с улицы в ресторан вскочил Семенов. Сразу увидел Роллинга. Сорвал шляпу, перегнулся через стол и зашептал, брызгаясь:

— Читали газеты?.. Я был только что в морге... Это он... Мы тут не при чем... Клянусь под присягой... У нас алиби... Мы всю ночь оставались на Монмарте, у девочек... Установлено, — убийство произошло между тремя и четырьмя утра, — это из газет, из газет...

Перед глазами Роллинга прыгало землистое, перекошенное лицо. Соседи оборачивались. Приближался лакей со стулом для Семенова.

— К чорту,— проговорил Роллинг сквозь облака виски, — вы мешаете мне завтракать...

— Хорошо, извините... Я буду ждать вас на углу в автомобиле...

40.

В парижской прессе все эти дни было тихо, как на озере. Буржуа зевали, читая передовицы о литературе, фельетоны о театральных постановках, хронику из жизни артистов.

Этим безмятежным спокойствием пресса подготовляла ураганное наступление на среднебуржуазные кошельки. Химический концерн Роллинга, закончив организацию и истребив мелких противников, готовился к большой кампании на повышение. Пресса была куплена, журналисты вооружены нужными сведениями по химической промышленности. Для политических передовиков заготовлены ошеломляющие документы. Две, три пощечины, две, три дуэли устранили глупцов, пытавшихся лепетать не согласно общим планам концерна.

В Париже настала тишь да гладь. Тиражи газет несколько понизились. Поэтому чистой находкой оказалось убийство в доме 63 по улице Гобеленов.

На следующее утро все семьдесят пять газет вышли с жирными заголовками о «таинственном и кошмарном преступлении». Личность убитого была не установлена,— документы его похищены, — в гостинице он записался под явно вымышленным именем — Жозеф-Жозеф. Убийство, казалось, было не с целью ограбления, — деньги и золотые вещи остались на убитом. Трудно было также предположить месть, — комната номер тринадцатый носила следы тщательного обыска. Тайна, все — тайна. Мистический туман опускался на дом в Гобеленах.

Двухчасовые газеты сообщили потрясающую деталь: в роковой комнате найдена женская черепаховая шпилька с пятью крупными бриллиантами. Кроме того, на пыльном полу обнаружены следы женских туфель. От этой шпильки Париж, действительно, дрогнул. Убийцей оказывалась шикарная женщина.

Четырехчасовые газеты отдали свои страницы интервью со знаменитейшими женщинами Парижа. Все они в один голос восклицали: нет, нет и нет, — убийцей не могла быть француженка, это дело рук немки, бошки. Несколько голосов бросило намек в сторону Москвы,— намек успеха не имел. Известная Ми-Ми — из театра Олимпия — произнесла историческую фразу: — «Я готова отдаться тому, кто мне раскроет тайну». Это имело успех.

Словом, во всем Париже один Роллинг, сидя у Грифона, ничего не знал о происшествии на улице Гобеленов, хотя ему-то больше всего и надлежало знать об этом. Он был очень зол и нарочно заставил Семенова проторчать в таксомоторе часа два. Наконец, зыбкой какой-то походочкой он появился на углу, молча влез в машину и велел везти себя в морг. Семенов, неистово юля по дороге, рассказал ему содержание газет.

При упоминании о шпильке с пятью бриллиантами пальцы Роллинга — все рыжие на них жидкие волоски — затрепетали на набалдашнике

трости. Близ морга он внезапно рванулся к шофферу с жестом, приказывающим повернуть, — но сдержался и только усмехнулся криво.

В дверях морга была давка. Женщины в мехах, курносенькие мидинетки, подозрительные личности из предместий, неистово любопытные консьержки в вязаных пелеринках, хроникеры с потными носами и смятыми воротничками, актриски, цепляющиеся за мясистых актеров,— стремились взглянуть на героя дня, лежавшего в разодранной рубашке и запачканных подштанниках на покатой мраморной доске, головой к полуподвальному окну.

Особенно страшными казались босые ноги его, — большие, синеватые, с отросшими ногтями. Желто-мертвое лицо изуродовано судорогой ужаса. Бородка торчком. Женщины жадно стремились к этой оскаленной маске, впивались расширенными зрачками, тихо вскрикивали, ворковали. Вот он, вот он — любовник дамы с бриллиантовой шпилькой!

Семенов ужом, впереди Роллинга, пролез сквозь толпу к телу. Роллинг твердо взглянул в лицо убитого. Рассматривал с секунду. Глаза его сощурились, мясистый нос собрался складками, дико блеснули золотые зубы.

— Ну что, ну что, он ведь, он? — зашептал Семенов.

И Роллинг ответил ему на этот раз:

— Опять двойник.

Едва была произнесена эта фраза, из-за плеча Роллинга появилась светловолосая голова, взглянула ему в лицо, точно сфотографировала, и скрылась в толпе.

Это был Шельга.

41.

Бросив Семенова в морге, Роллинг проехал на улицу Сены. Там все оставалось по-прежнему, — тихая паника. Зоя не появлялась и не звонила, — ни одним намеком не подавала о себе знать.

Роллинг заперся в спальне и ходил по ковру, рассматривая кончики башмаков. Он остановился с той стороны постели, где обычно спал. Поскреб подбородок. Торопливо лег на спину, закрыл глаза. И тогда вспомнил то, что его мучило весь день...

...«Роллинг, Роллинг... мы погибли»...

Это было сказано тихим, безнадежным голосом Зои. Это было сегодня ночью,— он внезапно посреди разговора заснул. Голос Зои не разбудил его, — не дошел до сознания. Сейчас ее отчаянные слова отчетливо звучали в ушах.

Роллинга подбросило точно пружиной... Итак, — странный припадок Гарина на бульваре Мальзерб. Волнение Зои в кабаке «Ужин Короля». Ее настойчивые вопросы: какие, именно, бумаги мог похитить Гарин из кабинета? Затем, — «Роллинг, Роллинг, мы погибли»... Ее исчезновение. Труп двойника в морге Шпилька с бриллиантами. Именно вчера,— он помнил, — в пышных волосах Зои сияло пять камней.

В цепи событий ясно одно: Гарин прибегает к испытанному приему с двойником, чтобы отвести от себя удар. Он похищает автограф Роллинга, чтобы, при случае, подбросить его на место убийства и привести полицию на бульвар Мальзерб.

При всем хладнокровии Роллинг почувствовал, что спинному хребту холодно. «Роллинг, Роллинг, мы погибли»... Значит, она предполагала, она знала про убийство. Оно произошло между 3 и 4 утра. (В половина пятого явилась полиция.) Вчера, засыпая, Роллинг слышал, как часы на камине пробили три четверти третьего. Это было его последним восприятием внешних звуков. Затем Зоя исчезла. Очевидно, она кинулась на улицу Гобеленов, чтобы уничтожить следы автографа.

Каким образом Зоя могла знать так точно про готовящееся убийство? — только в том случае, если она его сама подготовила.— Роллинг подошел к камину, положил локти на мраморную доску и закрыл лицо руками.— Но почему же тогда она прошептала ему с таким ужасом: — «Роллинг, Роллинг, мы погибли!..»? Что-то вчера произошло,— перевернуло ее планы. Но что? И в какую минуту?.. В театре, в кабаке, дома?..

Она кинулась спасать положение, исправить какую-то ошибку. Удалось ей или нет? Гарин жив, автограф покуда не обнаружен, убит двойник. Спасает это или губит? Кто убийца, — сообщник Зои или сам Гарин? И почему, почему, почему Зоя исчезла?

Отыскивая в памяти эту минуту, — перелом в Зоином настроении, Роллинг напрягал воображение, привыкшее к совсем другой работе. У него трещал мозг. Он припоминал — жест за жестом, слово за словом — все вчерашнее поведение Зои.

Он чувствовал, — если теперь же, у камина, не поймет до мелочей всего происшедшего, — то — проигрыш, поражение, гибель. За три дня до большого наступления на биржу достаточно намека на его имя в связи с убийством, и — непомерный скандал, крах... Удар по Роллингу будет ударом по миллиардам, двигающим в Америке, Китае, Индии, Европе, в африканских колониях тысячами предприятий, — нарушится точная работа механизма... Железные дороги, океанские линии, рудники, заводы, банки, сотни тысяч служащих, миллионы рабочих, десятки миллионов держателей ценностей, — все это заскрипит, застопорится, забьется в панике...

Роллинг попал в положение человека, не знающего, с какой стороны ткнут его ножом. Опасность была смертельной. Воображение его работало так, будто за каждый протекающий в секунду отрезок мысли платили по миллиону долларов. Эти четверть часа у камина могли быть занесены в историю наравне с известным присутствием духа у Наполеона во время битвы при Аустерлице.

Но Роллинг, этот собиратель миллиардов, глава мирового концерна, фигура почти уже символическая, в самую решительную для себя минуту (и опять-таки первый раз в жизни) внезапно предался пустому занятию, стоя с раздутыми ноздрями перед зеркалом и не видя в нем своего изобра-

жения. Вместо анализа поступков Зои, он стал воображать ее самою, — ее тонкое, бледное лицо, мрачно-ледяные глаза, страстный рот. Он ощущал теплый запах ее каштановых волос, прикосновение умной руки. Ему начало казаться, будто он, Роллинг, весь целиком (кроме незавидной наружности да еще, пожалуй, счетных и бухгалтерских способностей), со всеми желаниями, вкусами, неистовым честолюбием, жадностью к власти, с дурными настроениями (атония кишек) и едкими думами о смерти, — переселился в новое помещение, в умную, молодую, привлекательную до сумасшествия женщину. Ее нет. И он будто вышвырнут в ночную слякоть. Он сам себе перестал быть нужен. Ее нет. Он без дома. Какие уж там мировые концерны, — тоска, тоска голого маленького, жалкого человечка.

Это поистине удивительное состояние химического короля было прервано стуком двух подошв о ковер. (Окно спальни, — в первом этаже,— выходившее в парк, было раскрыто.) Роллинг вздрогнул всем телом. В каминном зеркале появилось изображение коренастого человека с большими усами и заросшим лбом. Он нагнул голову и глядел на Роллинга, не мигая.

42.

— Что вам нужно? — завизжал Роллинг, не попадая рукой в задний карман штанов, где лежал браунинг. Коренастый человек, видимо, ожидал этого и прыгнул за портьеру. Оттуда он снова выставил голову.

— Спокойно. Не кричите. Я не собираюсь убивать, или грабить, — он поднял ладони, — я пришел по делу.

— Какое здесь может быть дело? — отправляйтесь по делу на бульвар Мальзерб, 48 бис, от одиннадцати до часу... Вы влезли в окно, как вор и негодяй!

— Виноват, — вежливо ответил человек, — моя фамилия де Леклер, меня зовут Гастон, я известен под кличкой Утиный Нос. У меня военный орден за битву под Верденом и чин сержанта. Я никогда не работаю по мелочам и вором не был. Советую вам немедленно принести мне извинения, мистер Роллинг, без которых наш дальнейший разговор не может состояться...

— Убирайтесь к дьяволу, — уже спокойнее сказал Роллинг.

— Если я уберусь по этому адресу, то небезызвестная вам мадемуазель Монроз погибла.

У Роллинга прыгнули щеки. Он сейчас же подошел к Гастону. Тот сказал почтительно, как подобает говорить с обладателем миллиардов, и вместе — с оттенком грубоватой дружественности, как говорят с мужем своей любовницы:

— Итак, сударь, вы извиняетесь?

— Вы знаете — где скрывается мадемуазель Монроз?

— Итак, сударь, чтобы продолжить наш разговор, я должен понять, что вы извиняетесь передо мной?

— Извиняюсь! — заорал Ролинг.

— Принимаю, — Гастон отошел от окна, привычным движением расправил сержантские усы, откашлянулся и сказал: — Зоя Монроз в руках убийцы, о котором кричит весь Париж.

— Где она? (У Роллинга затряслись губы.)

— В Вилль Давре, близ парка Сен-Клу, в гостинице для случайных посетителей, в двух шагах от музея Гамбетты. Вчера ночью я проследил их в автомобиле до Вилль Давре, сегодня я точно установил адрес.

— Она добровольно бежала с ним?..

— Вот это именно я больше всего хотел бы знать, — ответил Гастон и, раздув ноздри, зашуршал зубами.

Роллинг изумленно оглянул его...

— Позвольте, господин Гастон, я не совсем понимаю, какое ваше участие во всей этой истории? Какое вам дело до мадемуазель Монроз? Каким образом вы по ночам следите за ней, устанавливаете место ее нахождения?..

— Довольно,—Гастон благородным жестом протянул перед собой руку.—Я вас понимаю. Вы должны были поставить мне этот вопрос. Отвечаю вам: я влюблен, и я ревнив...

— Ага, — сказал Роллинг.

— Вам нужны подробности, — вот они: сегодня ночью, выходя из кафэ, где я пил мой стакан грога, я увидел мадемуазель Монроз. Она мчалась в наемном автомобиле. Лицо ее было ужасно. Вскочить в такси, броситься за нею вслед — было делом одной секунды. Она остановила машину на улице Гобеленов и вошла в подъезд дома номер 63. (Роллинг моргнул, будто его кольнули, и сейчас же опустил голову. Гастон издал мужественное рычание.) Вне себя от ревнивых предчувствий я ходил по тротуару мимо дома 63. Ровно в четверть пятого мадемуазель Монроз вышла не из подъезда, как я ожидал, а из ворот в стене парка, примыкающего к дому 63. Ее за плечи придерживал человек с черной бородкой, одетый в оверкот и серую шляпу. Остальное вы знаете.

Роллинг опустился на стул (эпохи крестовых походов) и долго молчал, впившись пальцами в резные ручки... Так вот они — недостающие данные... Убийца Гарин. Зоя сообщница... Преступный план очевиден. Они убивают двойника на улице Гобеленов, чтобы впутать в грязную историю его, Роллинга, и, шантажируя, выманить деньги на постройку аппарата. Честный сержант и классический дурак Гастон случайно обнаруживает преступление. Все ясно. Нужно действовать решительно и беспощадно.

Глаза Роллинга вспыхнули зло. Он встал, отшвырнул стул.

— Я звоню в полицию. Вы поедете со мной в Вилль Давре.

Гастон усмехнулся, большие усы его поползли вкось.

— Мне кажется, мистер Роллинг, будет благоразумнее не вмешивать полицию в эту историю. Мы обойдемся своими силами.

— Я желаю арестовать убийцу и его сообщницу и предать негодяев в руки правосудия. — Роллинг выпрямился, поднялся на цыпочки, голос его звучал, как сталь, Гастон сделал неопределенный жест.

— Так-то оно так... Но у меня есть шесть надежных молодцов, видавших виды... Через час в двух автомобилях я мог бы доставить их в Вилль Даврe... А с полицией, — уверяю вас, — не стоит связываться...

Роллинг только фыркнул на это и взял с каминной полки телефонную трубку. Гастон с еще бо́льшей быстротой схватил его за руку.

— Не звоните в полицию!

— Почему?

— Потому, что глупее этого ничего нельзя придумать... (Роллинг опять потянулся за трубкой.) Вы редкого ума человек, мосье Роллинг, неужели вы не понимаете между слов?.. Есть вещи, которые не говорятся прямо... Умоляю вас — не звонить... Фу чорт!.. Да потому, что после этого звонка мы оба попадем на гильотину... (Роллинг в бешенстве толкнул его в грудь и вырвал трубку. Гастон живо оглянулся и в самое ухо Роллингу прошептал.) По вашему указанию мадемуазель Зоя поручила мне отправить облегченной скоростью к отцу Аврааму одного русского инженера на улице Гобеленов, 63. Этой ночью поручение исполнено. Сейчас нужно десять тысяч франков — в виде аванса моим малюткам. Чек — не годится. Деньги у вас есть с собой?

Через час на улицу Сены подъехала дорожная машина с поднятым верхом. Роллинг стремительно вскочил в нее. Покуда машина делала на узкой улице поворот, — из-за выступа дома вышел Шельга и незаметно прицепился к автомобилю к задней части кузова, где лежали запасные шины.

Машина пошла по набережной. На Марсовом поле в том месте, где некогда Робеспьер с колосьями в руке клялся перед жертвенником Верховного Существа заставить человечество подписать великий колдоговор на вечный мир и вечную справедливость, — теперь возвышалось чудовищное безобразие Эйфелевой башни. Два с половиной миллиона электрических свечей мигали и подмигивали на ее стальных переплетах, разбегались стрелами, очерчивали рисунки и писали над Парижем всю ночь, всю ночь выписывали: «Покупайте практичные и дешевые автомобили господина Цитроена... Покупайте знаменитые автомобили Цитроен»...

Машина Роллинга свернула на правый берег и помчалась по версальскому шоссе, укатанному, как черное зеркало. Скоро она нагнала два закрытых такси, в них за стеклами краснели угольки сигар.

43.

Ночь была сыроватая, теплая и беззвездная. За открытым окном,— от низкого потолка до самого пола, — невидимые листья принимались шелестеть и затихали. В комнате, — во втором этаже гостиницы «Черный Дрозд», — было темно и тихо. Влажный аромат парка смешивался с запахом духов. Ими был пропитан ветхий штоф на стенах, истертые ковры и огромная деревянная кровать, принявшая за долгие года вереницы любовников.

Это было доброе, старое место для любовного уединения. Деревья шелестели о вечности, ветерок доносил из парка запах земли и грусти, теплая кровать убаюкивала короткое счастье любовников. Рассказывают даже, что в этой самой комнате Беранже писал стихи. Времена изменились, конечно. Торопливым любовникам, выскочившим на часок из кипящего Парижа, ослепленным огненными воплями Цитроена, было не до шелеста листьев, не до любви. Нельзя же, в самом деле, в наши дни мечтательно гулять в пышном платье по аллее, усыпанной желтыми листьями. Или журавлиным неторопливым шагом пройтись по бульвару, засунув в жилетный карман томик Мюссе. Нынче — все на скорости, все на бензине. Алло, малютка, в нашем распоряжении час двадцать минут! Нужно успеть в кино, скушать обед, выпить и полежать в кровати. Ничего не поделаешь, Ми-Ми, это— цивилизация.

Все же ночь за окном в гостинице «Черный Дрозд», темные кущи лип и нежные трещеточки древесных лягушек не принимали участия в общем ходе европейской цивилизации. Было очень тихо и очень покойно. В комнате скрипнула дверь, вошли шаги по ковру. Неясное очертание человека остановилось посреди комнаты. Он сказал негромко (по-русски):

— Нужно решаться. Через тридцать-сорок минут подадут машину. Что же да, или нет?

На кровати пошевелились, но не ответили. Он подошел ближе:

— Зоя, будьте же благоразумны.

В ответ коротко засмеялись.

Гарин нагнулся к лицу Зои, всмотрелся, сел в ногах на постель:

— Вчерашнее приключение мы зачеркнем. Началось оно не по нашей воле, — с сумасшедшинкой, это верно, — кончилось в этой постели,— вы находите, что банально? Согласен. Зачеркнуто. После этого начинаются уже серьезные отношения. Я просто не хочу никакой другой женщины. Так бывает, — что ж поделаешь? Все мое сознание, кровь, чувства жаждут вас. Это свирепо и ужасно.

— Пошло и глупо, — сказала Зоя.

— Совершенно с вами согласен. Я пошляк, даже не раскрытый пошляк, — первобытный. Сегодня я думал: — ба вот для чего нужны деньги, власть, слава, — обладать вами. Словом, я дурак. Дальше, — когда вы проснулись, я вам доложил мою точку зрения: расставаться с вами я не хочу, и не расстанусь.

— Ого, — сказала Зоя.

— Ого, — ровно ничего не говорит. Я понимаю, — вы как женщина умная и самолюбивая ужасно возмущены, что вас принуждают. Что ж поделаешь! Мы не на вернисаже разговариваем. Мы связаны кровью. Если вы уйдете к Роллингу, — я буду бороться. А так как я пошляк и дурак,— то отправлю на гильотину и Роллинга, и вас, и себя.

— Вы это уже говорили, — повторяетесь.

— Но раз вас это не убеждает?

— Что вы мне предложите взамен Роллинга? Я женщина дорогая.

— Оливйновый пояс.

— Что?

— Оливйновый пояс. Гм. Объяснять это очень сложно. Нужен свободный вечер и книги под руками. Через двадцать минут мы должны ехать. Оливйновый пояс, — это власть над миром. Я найму вашего Роллинга в мальчишки — поднимать лифт. Оливйновый пояс будет в моих руках через два года. Вы станете не просто богатой женщиной, вернее — самой богатой на свете. Это скучно. Но — власть. Упоение небывалой на земле властью. Средства для этого у нас совершеннее, чем у Чингиз-Хана. Вы захотите божеских почестей. Мы прикажем построить вам храмы и ваше изображение увенчивать виноградом.

— Боже, какое мещанство.

— Я не шучу сейчас. Захотите, — и будете наместницей бога или чорта, — кто вам больше по вкусу. Вам придет желание уничтожать людей, — иногда в этом бывает потребность, — ваша власть надо всем человечеством. Такая женщина, как вы, Зоя, найдет применение сказочным сокровищам Оливйнового пояса. Я предлагаю выгодную партию. Два года борьбы, но не мелкой, — страшной... И я проникну сквозь Оливйновый пояс. Вы не верите?.. Вставайте... Идемте в мою комнату, я покажу аппарат. Посмотрите и тогда скажете, — да или нет...

— Почему же я одна должна рисковать, будьте смелы и вы.

Гарин секунду молчал, затем—почти печально, почти нежно — сказал:

— Если нет, — тогда уйдете. Я не буду вас преследовать. Решайте добровольно.

Зоя коротко вздохнула. Села на постели, подняла руки, оправляя волосы (это было хорошим знаком).

— В будущем — Оливйновый пояс. А сейчас что у вас? — спросила она, держа в зубах шпильки.

— Сейчас, — мой аппарат и угольные пирамидки.

— Не много. Хорошо, посмотрю. Идемте.

44.

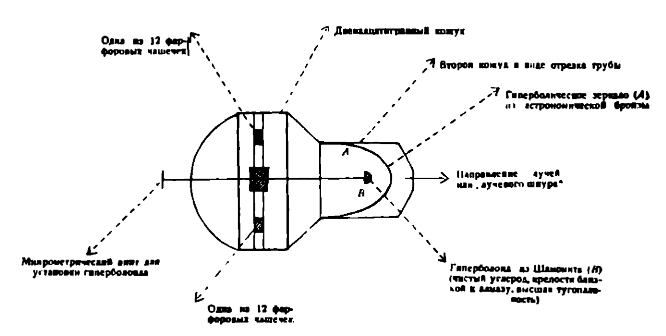
В комнате Гарина окно (с балконной решеткой) было закрыто и занавешено. У стены стояли два деревянных чемодана. (Он жил в «Черном Дрозде» уже больше недели.) Гарин запер дверь на ключ. Зоя села, облокотилась, заслонила лицо от света потолочной лампы. Ее дождевое шелковое пальто, травяного цвета, было помято, волосы небрежно прибраны, лицо утомленное, — такой она была еще привлекательнее. Гарин, раскрывая чемоданы, посматривал на нее обведенными синевой блестящими глазами.

— Вот мой аппарат, — сказал он, ставя на стол два металлических ящика, один — узкий, в виде отрезка трубы, другой — плоский, двенадцатигранный — втрое большего диаметра.

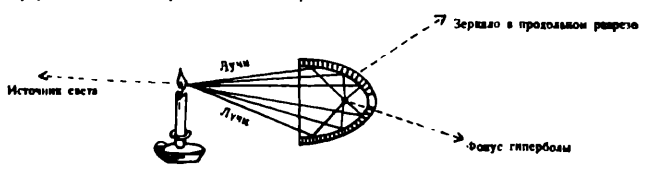
— Его еще не видел никто, — вы первая, Зоя. Один из моих помощников жестоко поплатился за любопытство...

Гарин составил оба ящика, скрепил их анкерными болтами. Трубу он направил отверстием к каминной решетке, у двенадцатигранного кожуха откинул сферическую крышку. Внутри кожуха стояло на ребре бронзовое кольцо с двенадцатью фарфоровыми чашечками.

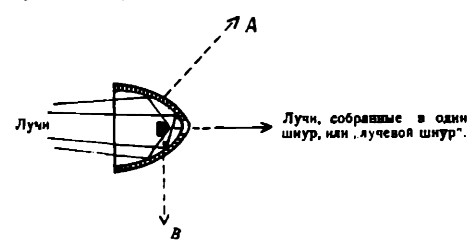
— Это — модель, — сказал он, вынимая из второго чемодана ящик с пирамидками, — она не выдержит и часа работы. Аппарат нужно строить из чрезвычайно стойких материалов, в десять раз солиднее. Но он вышел бы слишком тяжелым, а мне приходится все время передвигаться. (Он вложил в чашечки кольца двенадцать пирамидок.) — Так вот, снаружи вы ничего не увидите и не поймете. Вот — чертеж, продольный разрез аппарата. — Он наклонился над Зоиным креслом (вдохнул запах ее волос), развернул чертежик, размером в половину листа писчей бумаги. — Вы хотели, Зоя, чтобы я также рискнул всем в нашей игре... Смотрите сюда... Это основная схема.



— Это просто, как дважды два. Чистая случайность, что этого до сих пор не было построено. Весь секрет в гиперболическом зеркале (А), напоминающем формой зеркало обыкновенного прожектора, и в кусочке шамонита (В), обделанном также в виде гиперболической сферы. Закон гиперболических зеркал таков:



То есть,—лучи света, падая на поверхность гиперболического зеркала, сходятся все в одной точке, в фокусе гиперболы. Это известно. Теперь, вот что неизвестно: я помещаю в фокусе гиперболического зеркала вторую гиперболу (очерченную, так сказать, на выворот) — гиперболоид вращения, выточенный из тугоплавкого, идеально полирующегося минерала шамонита (В),—залежи его в Олонецкой губернии неисчерпаемы. Что же получается с лучами:



Лучи, собираясь в фокус зеркала (А), падают на поверхность гиперболоида (В) и отражаются от него математически параллельно, — иными словами, гиперболоид (В) концентрирует все лучи в один луч, или в «лучевой шнур», любой толщины. Переставляя микрометрическим винтом гиперболоид (В), я по желанию увеличиваю или уменьшаю толщину «лучевого шнура». Потеря его энергии при прохождении через воздух ничтожна. При этом я могу довести его (практически) до толщины иглы...

При этих словах Зоя поднялась, хрустнула пальцами и снова села, обхватив колено.

— Во время первых опытов я брал источником света несколько обычных стеариновых свечей. Путем установки гиперболоида (В) я доводил «лучевой шнур» до толщины вязальной спицы и легко разрезывал им дюймовую доску. Тогда же я понял, что вся задача в нахождении компактных и чрезвычайно могучих источников лучевой энергии. За три года работы (стоившей жизни двоим моим помощникам) была создана вот эта угольная пирамидка. Энергия пирамидок настолько уже велика, что, помещенные в аппарат (как вы видите) и зажженные (горят около пяти минут), они дают «лучевой шнур», способный в несколько секунд разрезать гибарит железнодорожного моста... Вы представляете, — какие открываются возможности. В природе не существует ничего, чтобы могло сопротивляться силе «лучевого шнура»... Здания, крепости, дредноуты, воздушные корабли (я достану их на любой высоте), скалы, горы, кора земли, — все пронижет, разрушит, разрежет мой луч...

Гарин внезапно оборвал и поднял голову, прислушиваясь. За окном шуршал и скрипел гравий, замирая, работали моторы. Он прыгнул к окну

и проскользнул за портьеру. Зоя глядела, как за пыльным, малиновым бархатом неподвижно стояло очертание Гарина, затем оно содрогнулось. Он выскользнул из-за портьеры:

— Три машины и восемь человек, — сказал он шопотом,—это за нами. Кажется — автомобиль Роллинга. В гостинице — только мы и привратница. (Он живо вынул из ночного столика два револьвера и сунул в карманы пиджака.) — Меня-то уж во всяком случае не выпустят живым...—Он весело вдруг шибко почесал сбоку носа.—Ну, Зоя, решайте: да или нет? Другой такой минутки не выберешь для женского самолюбия!..

— Вы с ума сошли, — прекрасное лицо Зои вспыхнуло, помолодело, — спасайтесь!..

Гарин только вскинул бородкой.

— Восемь человек вздор, вздор. — Он приподнял аппарат и повернул его дулом к двери. Хлопнул себя по карману. Лицо его посинело, внезапно осунулось.

— Спички,— прошептал он,— нет спичек...

Быть может, он сказал это нарочно, чтобы испытать Зою. Быть может, и вправду в кармане не оказалось спичек,— от них зависела жизнь. Он глядел на Зою, как животное, ожидая смерти. Она, будто во сне, взяла с кресла сумочку, вынула коробку восковых спичек. Протянула медленно, с трудом. Беря, он ощутил пальцами всю ее ледяную, узкую руку.

Внизу по винтовой лестнице поднимались шаги, поскрипывая осторожно.

45.

Несколько человек остановилось за дверью. Было слышно их дыхание. Гарин громко спросил по-французски:

— Кто там?

— Телеграмма, — ответил грубый голос, — отворите!

Зоя молча схватила Гарина за плечи, затрясла головой. Он увлек ее в угол комнаты, силой посадил на ковер. Сейчас же вернулся к аппарату и крикнул:

— Подсуньте телеграмму под дверь.

— Когда говорят — отворите, нужно отворять, — зарычал тот же голос.

Другой, осторожный, спросил:

— Женщина у вас?

— Да, у меня.

— Выдайте ее, вас оставим в покое.

— Предупреждаю, — свирепо проговорил Гарин, — если вы не уберетесь к чорту, через минуту ни один из вас не останется в живых...

— О ля-ля!.. О хо-хо!.. Гы-гы! — завыли, заржали голоса, и на дверь навалились, завертелась медная ручка, посыпались у косяков куски штукатурки. Зоя не сводила глаз с лица Гарина. Он был бледен,

движения быстры и уверенны. Присев на корточки, он прикручивал в аппарате микрометрический винт. Взял несколько спичек и положил на стол рядом с коробкой. Вынул револьвер и выпрямился, ожидая. Дверь трещала. Вдруг от удара посыпалось оконное стекло, колыхнулась портьера. Гарин сейчас же выстрелил в окно. Присел, чиркнул спичкой, сунул ее в аппарат и захлопнул сферическую крышку.

Прошла всего секунда тишины после его выстрела. И сейчас же началась атака одновременно на дверь и на окно. В дверь стали бить тяжелым, от филенок полетели щепы. Портьера на окне завилась и упала вместе с карнизом.

— Гастон!— вскрикнула Зоя. Через железную решетку окна лез Утиный Нос, держа в зубах нож-наваху. Дверь еще держалась. Гарин, белый, как бумага, прикручивал микрометрический винт, в левой руке его плясал револьвер. В аппарате билось, гудело пламя. Кружочек света на стене (против дула аппарата) уменьшался,— задымились обои. Гастон, косясь на револьвер, двигался вдоль стены, весь подбирался перед прыжком. Нож он держал уже в руке, по-испански,— лезвеем к себе. Кружочек света стал ослепительной точкой. В разбитые филенки двери лезли усатые морды... Гарин схватил обеими руками аппарат и дулом направил его на Утиного Носа...

Зоя увидела: Гастон разинул рот, не то чтобы крикнуть, не то чтобы заглотнуть воздух... Дымная полоса прошла поперек его груди, руки поднялись-было и упали. Он повалился на ковер. Голова его вместе с плечами, точно кусок хлеба, откатилась от нижней части туловища.

Гарин повернул аппарат к двери. По пути «лучевой шнур» разрезал провод, — лампочка под потолком погасла. Ослепительный, тонкий, прямой, как игла, луч из дула аппарата чиркнул поверх двери, — посыпались осколки дерева. Скользнул ниже. Раздался короткий вопль, будто раздавили кошку. В темноте кто-то шарахнулся. Мягко упало тело. Луч танцовал на высоте двух футов от пола. Послышался запах горящего мяса. И вдруг стало тихо, только гудело пламя в аппарате.

Гарин покашлял, сказал плохо повинующимся, хриповатым голосом:

— Кончено со всеми.

За разбитым окном ветерок налетел на невидимые липы, они зашелестели по ночному — сонно. Из темноты, снизу, где неподвижно стояли машины, крикнули по-русски:

— Петр Петрович, вы живы?— Гарин появился в окне.— Осторожнее, это я, Шельга. Помните наш уговор? У меня автомобиль Роллинга. Надо бежать. Спасайте аппарат. Скорее. Я жду...

(*Конец первой книги* [1]).

---

[1]) Вторая и третья книги романа А. Толстого «Гиперболоид инженера Гарина» будут помещены в «Красной Нови» за 1926 год.

Свердловская буря.

1.

Я лирик
по складу своей души,
По самой
строчечной сути.
Казалось бы просто:
сиди и пиши.
За лирику кто ж осудит?
Так нет.
Нетерпенье —
рвануло вдаль,
Взманило
к морю,
к прибою.
Шумела пенилась лирика:
«Дай
Стеной
мне встать голубою!».
Она обнимала,
Рвала с корней,
В коленах
стала пошатывать
И с места гнала
И вела верней
Любого
колонновожатого.
Как на море буря,
мачтой маша,
До слез
начинает захлестывать.
Так —
лирика это
или душа —
Бьет в борт
человечьего остова!

Нас бури несли?
Или снились во сне?
Давно
не видали их мы!
Казалось —
лишь горы
начнут яснеть —
И взмоют
прибоем
рифмы!
Доехал до моря,
но море — не то,
Писать ли портрет
с такого?
Ни пены,
ни бури.
Молочных цветов —
В туманы —
берег окован.
Постыл и невесел
курортный режим,
К таким
приучает рожам,
Что —
будто от них мы —
слегли и лежим
И на ноги
встать не можем.
Меж пухлых телес
застревает нога;
Киты —
по салу и крови!
Таких вот
не смог продырявить наган:
Задохся
в верхнем покрове.

3.

От трестовских спин
и от спецовских жен
Все море
жиром замаслено.

А впрочем,
я, может,
жарой раздражен —
Взвожу
на море
напраслины.
Но нет!
и оно,
наморщив гладь,
Играя
с солнцем в пятнашки,
Нет-нет — да и вздрогнет,
нет-нет — да и глядь
С тоской
на вздутые ляжки.
И солнца
академический лик,
Скользя
по небесной сини,
Нет-нет — да и вспыхнет,
И влажный двойник
В воде его —
голову вскинет!
А впрочем,
что же?
Курорт — как курорт:
В сиреневой
хмари дымок,
И я —
ни капли не прокурор
И пляж —
не скамья подсудимых.

4.

Но вот,
чугунясь загаром плеча,
Нагретым мускулом двигая,
Над шрифтом
убористых строк Ильича
Фигура чья-то
над книгою.
Я лежмя лежал
и не знал, что — гроза!
Я встать и не думал
вовсе,

И вдруг
черкнули синью глаза,
Упорист
зрачок в свердловце.
Ага!
загудел
над снастями шторм!
Но с виду —
было спокойно;
И мы говорили
про Мопр
и про корм,
Про колониальные войны.
Потом
посмотрели
друг другу в глаза,
И —
дрожь —
от земли до неба
Стрельнула.
И ходу не стало назад.
И нэп
как будто и не был.

5.

Он слово сронил —
и пошла колебать
Волна за волною
снова,
И в слове —
не удаль
и не похвальба —
Пальба была
в каждом слове!
И волнами
взмылился белый отряд,
И грудь —
шатуном колотит,
И — мы
ночевали
три ночи под-ряд,
Друг друга
грея в болоте.
От стужи
рассветного неба дрожа,

Следили мы
месяца смену,
Камыш мы ломали
замест фуража
И пили болотную
пену.
И дыбил коня
на опушке казак,
В трясине
нас выискать силясь.
И звезды
у нас грохотали в глазах,
Когда
они с неба катились.

6.

Кто мог бы узнать,
что средь этих толстух,
В которых
я рифмой возился,
С грозовых просторов
рязанский пастух
Стрелой
громовой
вонзился!?
Что, голову —
на руки
облокотив,
Совсем поблизости,
рядом,
Весь пляж,
и весь мир
партийный актив
Грозовым
меряет взглядом?
Кто мог бы понять,
что не из берегов
Выходит
море рябое,
Что он,
прошедший
через Перекоп,—
Сигнал
крутого прибоя!

И я увидал
в расступившихся днях —
В глазах его
грозных и синих
Проросший сквозь нэп
строевой молодняк,
Не только
осенний осинник.

7.

И вот — он свердловцем,
а я рифмачом
И моря
нежна позолота,
Но мы не забудем
его
нипочем—
Воронежского болота.
Мы с ним не на пляже,
мы с ним — на ветру.
И дали —
тревожны и сини,
И я —
запевало,
И он — политрук
Лежим
в болотной трясине.
Но мы не сдадимся
на милость врага,
Пощады его
не спросим,
В лицо нам —
звезда, светла и строга·
Взошла и глядит
из-за просек.
И если так надо —
под серым дождем,
Как день
ни суров и ни труден, —
И ночи и годы — и дольше
прождем,
Пока
не избудем буден.
И только

прижавшись
к плечу плечом,
Друг друга
обмерив глазом
Над верным вождем—
над Ильичом,
Мы вспыхнем
и смолкнем разом.
Как на море буря,
мачтой маша,
До слез начинает
захлестывать,
Так —
лирика эта
или душа —
Бьет в борт
человечьего остова.
И море,
откликнувшееся на зов,
Плеснет
седо и клокато.
Взгремит
от самых своих низов
До самых
крутых накатов.
И в клочья
взорвется
спецтишина,
Игравшая
в чет и нечет,
И в молнии снова
земля зажжена,
И буря—
и рвет и мечет!

Ник Асеев

Евпатория, 1925.

Японская война.

Н. Асееву.

I глава из поэмы «1905 год».

Шел веку пятый. Мне — восьмой.
Но век перерастал.
И вот моей восьмой весной
Он шире жизни стал.

Он перерос вокзал, да так
Что даже тот предел,
Где раньше жались шум и шлак,
Однажды поредел.

И за катушками колес,
Поверх вагонных крыш в депо,
Трубу вводивший паровоз
Был назван: «декапот».

Так машинист его не зря,
Назвал, отчаянно вися
С жестянным чайником в руке.
В нем было: копоть, капли, пот,
Шатун в кузнечном кипятке,
В пару вареная заря,
В заре — природа вся.

Но это было только фон,
А в центре фона — он,
Незабываемый вагон
Фуражек и погон.

Вагон хабаровских папах,
Видавших Ляо-ян,

Где пыльным порохом пропах
Маньчжурский гаолян.

Там ног обрубленных кочан,
Как саранча, костляв,
Солдат мучительно качал
На желтых костылях.

Там изувечен и горбат
От Че-муль-по до наших мест
Герой раскачивал в набат
Георгиевский крест.

И там, где стыл на полотне
Усопший нос худым хрящом, —
Шинель прикинулась плотней
К убитому плащом.

— Так вот она, война!—И там
Прибавился в ответ
К семи известным мне цветам
Восьмой—з а щ и т н ы й цвет.

Он был, как сопки, желт и дик,
Дождем и ветром стерт,
Вдоль стен вагонов стертый крик
Косынками сестер.

Но им окрашенный состав
Так трудно продвигался в тыл,
Что даже тормоза сустав,
Как вывихнутый, ныл.

Что даже черный кочегар
Не смел от боли уголь жечь
И корчился, как кочерга,
Засунутая в печь.

А сколько было их, как он,
У топок и кувалд,
Кто лез с масленкой под вагон,
Кто тормозà ковал!

Так вот она, война!—Не брань,
Не славы детской лавр,

Она — котлы клепавший Брянск,
И Сормов, ливший сплав.

Она — ружье в упор ко рту,
Срываемый погон,
Предсмертный выстрел — Порт-Артур! —
И стонущий вагон...

Но все ж весна была весной,
И я не все узнал...
Шел веку пятый. Мне — восьмой,
И век перерастал.

Вал. Катаев.

14 сент. 1925.

Голубая кофта. Синие глаза.
Никакой я правды милой не сказал.

Милая спросила:—Крутит ли метель?
Затопить бы печку, постелить постель.—

Я ответил милой:—Нынче с высоты
Кто-то осыпает белые цветы.

Затопи ты печку, постели постель.
У меня на сердце без тебя мятель.

Сергей Есенин.

Слышишь мчатся сани, слышишь сани мчатся.
Хорошо с любимой в поле затеряться.

Ветерок веселый робок и застенчив,
По равнине голой катится бубенчик.

Эх, вы сани, сани! Конь ты мой буланый!
Где-то на поляне клен танцует пьяный.

Мы к нему подъедем. Спросим—что такое?
И станцуем вместе, под тальянку трое.

Сергей Есенин.

Сочинитель бедный, это ты ли
Сочиняешь песни о луне?
Уж давно глаза мои остыли
На любви, на картах и вине...

Ах, луна влетает через раму,
Свет такой, хоть выколи глаза!
Ставил я на пиковую даму,
А сыграл бубнового туза.

Сергей Есенин.

Осень.

I.

Все гуще запах увяданья
Травы усталой и сырой,
Все чаще слышим пред зарей
В протяжном ветре—«до свиданья»...

Что день—безрадостней наряд,
Вокруг задумчиво и тускло,
И даже ветлы не глядят
В речное выцветшее русло.

Степная удаль прилегла
Бессильной тишью по долинам,
И веет дождевая мгла
Плащом изодранным и длинным.

Как будто не было надежд,
И словно радости не будет,
Лишь целый век одни и те ж
Картины плачутся и нудят...

Но чуть блеснет уставший луч,
Мелькнет озерной гладью просинь —
Как нипочем и тяжесть туч
И вся докучливая осень.

Опять и радость и тепло
В груди звенит весенним лаем,
И снова полно и светло
Удел земной благословляем.

II.

Цыганскою шалью
Окутан мой сад,
И желтой печалью
Лоскутья висят.

Как будто от Ганга,
От родины старой
Предстала цыганка
С любимой гитарой.

И тонкие струны—
Садовые ветви,
Как дальние струи,
Запели на ветре.

Слова не понятны,
И думы не ясны.
Но желтые пятна
В саду не напрасны.

Припомнил без дрожи
Под грусть и отраду:
На осень похоже
Былое нарядом.

На желтую осень,
На берег багряный,
Откуда уносим
И радость и раны...

В. Наседкин

Это солнце ржавое и злое,
Степь и груды собранного хлеба
— Ты ли это, ветхое, родное,
— Надо мной синеющее небо?
— Вы ли это, облака и горы,
— Тополя, поляны и пригорки?
Боже мой, я скоро брошусь в море
От такой задумчивости горькой.
Ночь и ночь. Наверное приснилось,
Крепко спал я, не любил, и не был
— По курганам скифские могилы,
— По ночам грохочущее небо,
— По степям бунтующие кони,
— Дол и травы, пахнущие кровью.
Починили ветхий подоконник
И подушку дали в изголовье,
Наклеили в пышные обои
Запорожцев с сивыми чубами,
— Здесь скачи на судорогу боя,
— Задуши, затереби руками.
— Здесь визжи, царапайся и бейся,
— Запорожцы желтой краской дышат.
Сон и сон и сонному услышать,
Как гудят испуганные крыши,
Как поют встревоженные птицы
Над спесивой вражеской столицей.
Как бегу я в гудящем зное,
Как любил я, как пел и не был?
— Ты ли это, ветхое, родное,
Надо мной синеющее небо?

А. Ясный.

Е. Г

Сквозь туман и холод зимний
Все мне снится, все мне снится
Взгляд твой дальний, взгляд твой дымный,
Утопающий в ресницах.

Спит безмолвие в просторе
В неживом его покое,
Ты встаешь передо мною,
Чтоб обнять меня еще раз.

Снег от края и до края —
Я иду к тебе, родная!

Мир уснул в покое белом,
Над его величьем пышным
По равнинам омертвелым
Я приду к тебе, чуть слышный.

Я пройду сквозь посвист вьюги,
Ужас тьмы и кротость света,
Чтоб тебя, моя подруга,
Не оставить недопетой.

Снег. И небосвод пустой.
Я иду к тебе. Постой!..

Михаил Голодный.

Горе.

Толпились плечом к плечу,
Чужим дорожа несчастьем,
Поглядеть на вывороченные
Поездом лошадиные части.
Маленькая девчонка
Изумленно глазела на лужу
Красной краски. Большая баба
Тяжко вздыхала мужу.
Прошел парень с девицей,
Чуть задержавшись на переезде.
Уж для другого поезда
Звякнул шлагбаум железный.
Становились равнодушными лица.
Сердца просились из плена
В поля, где на свежести трав —
Все кротко и забвенно.
Всякому — свое. А помочь нечем.
Зеленой звездочке семафора
Видно, что никаким словом
Не избыть извозчичьего горя.
С реки потянуло прохладой и влагой.
Горизонт налился дремной синью.
И заговорил, негодуя и жалуясь,
— Носом об рукав синий —
Заплакал от беспощадной жалости,
Держа ослабнувшие вожжи —
Мрачный, грузный, заика —
Фокин-извозчик

О. Мочалова.

Московские дружинники в 1905 г.

М. Абрамович.

Осада реального училища Фидлера в ночь с 9 на 10 декабря 1905 года явилась как бы прологом к московскому вооруженному восстанию, прологом в том смысле, что московские власти, первоначально растерявшиеся и действовавшие крайне нерешительно, с этого момента вступили на путь решительной борьбы с восставшим пролетариатом Москвы. И это вполне понятно, так как после разгрома фидлеровского училища артиллерийскими снарядами, после вероломного избиения сдавшихся безоружных дружинников московскому военному командованию оглядываться назад уже не приходилось. Получивши импульс от фидлеровского дела, усмирительная тактика Дубасова стала возрастать crescendo.

С другой стороны и восставшие, действовавшие вначале тоже сколько вяло, после фидлеровского дела приступили к активной борьбе.

Надо, впрочем, оговориться, что эта вялость, которая в первые дни восстания наблюдалась со стороны восставших, была в значительной степени преднамеренной. Восстанию, как известно, предшествовало сильное брожение в целом ряде воинских частей московского гарнизона.

В начале декабря забастовал (правда, на очень короткое время) 1-й Донской казачий полк, являвшийся до сего времени, как и подавляющее большинство казачьих войск, самым надежным оплотом самодержавия.

Пишущий эти строки лично видел нескольких казаков этого полка, выступавших на митинге в Аквариуме, где они высказывали свои симпатии рабочим и категорически заявляли от имени всего полка, что ни в коем случае не будут выступать против народа. Далее начали обнаруживаться волнения в пехотных полках.

Учитывая эти настроения московского гарнизона, Московский Совет Рабочих Депутатов 6 декабря постановил об'явить, начиная со следующего дня, всеобщую политическую забастовку и стремиться перевести ее в вооруженное восстание. 8 декабря были выпущены грозные оповещения московского генерал-губернатора Дубасова о том, что Москва об'является на положении чрезвычайной охраны, с указанием всех вытекающих из такового положения последствий.

7 и 8 декабря шли непрерывные митинги, в которых значительное участие принимали солдаты, а иногда даже и офицеры целого ряда воинских частей. Создавалось впечатление, что настроение войск складывается, повидимому, в благоприятную для восставших сторону. И, руководствуясь этим, Исполнительный Комитет Московского Совета еще утром 8 декабря издал постановление, в котором призывал восставших «стараться вступать с солдатами в разговоры и действовать на них товарищеским словом, а открытого столкновения с войсками пока избегать и давать вооруженный отпор только при особенно вызывающем поведении войск».

Издавая это постановление, Исполнительный Комитет заранее предопределил тактику восставших на ближайшие дни. Тактика эта должна была быть строго выжидательной. Была надежда, что войска, если и не перейдут на сторону восставших, то, вероятно, останутся пассивными. Во всяком случае в эти дни все время шла борьба за настроение войск, все время наблюдались со стороны рабочих попытки привлечь войска на свою сторону. И этим-то и можно об'яснить кажущуюся вялость и нерешительность, которые якобы господствовали среди восставших. И только фидлеровское дело, где войска уже стали активно действовать против дружинников, окончательно развязало руки обеим боровшимся сторонам.

Реальное училище Фидлера, как и многие в то время средние и высшие учебные заведения Москвы, еще с октября было использовано под целый ряд собраний, митингов, заседаний, непрерывно шедших в Москве вплоть до декабрьского вооруженного восстания. Еще в октябре в этом училище была поставлена целая серия рефератов, докладов и дискуссий, устроенных революционными партиями. В начале ноября там заседала конференция московской организации партии социалистов-революционеров. Далее с конца ноября вплоть до 9 декабря помещение училища служило местом собрания различных общественных организаций. Здесь происходили заседания и Всероссийского Железнодорожного Союза, и отдельных секций Крестьянского Союза и Союза Московских Служащих. Пользовался зданием и целый ряд других организаций. В здании был также и санитарно-медицинский пункт, возглавляемый врачом Н. Г. Котиком. Не могу в настоящее время припомнить, имел ли этот пункт здесь постоянное местопребывание в течение двух месяцев так называемых «свобод», как это было в университете, на высших женских курсах и в ряде других учебных заведений, или он появился в начале декабря в то время, когда уже в училище Фидлера обитали дружинники. Последние появились здесь приблизительно с первых чисел декабря. Время было морозное, и дружинники должны были иметь постоянное помещение, где можно было бы и отогреться, и поесть, и переночевать. Настроение у всех было напряженное, все находились в ожидании предстоящих событий, все ждали массового выступления восставших и потому считали необходимым концентрировать силы в одном месте. В то время мы думали, что надо иметь базу, заключающую в себе значительное количество дружинников, которых можно было бы в нужный момент двинуть в дело. Такая точка зрения несомненно была ошибочной, так как дружины не обла-

дали соответствующими боевыми средствами, чтобы держаться в зданиях против регулярных войск и в особенности против артиллерии. И ошибочность такой точки зрения выяснилась с самого начала боевых действий, что видно из инструкции, которую издал для дружинников Московский Комитет Социал-Демократической Партии. В этой инструкции дружинникам рекомендовалась партизанская тактика, рекомендовалось действовать против войск как раз наоборот — небольшими отрядами, группируясь за баррикадами, в проходных дворах, внезапно нападая на войска и так же внезапно исчезая. В особенности рекомендовалось избегать скопления в большом количестве в зданиях. Но в начале восстания, вернее сказать до его начала, у нас не было никакого руководящего плана действий, и этим и можно было об'яснить ту непростительно грубую стратегическую ошибку, которую мы допустили, сконцентрировав в училище Фидлера более 100 дружинников.

Так или иначе, но к 9 декабря фидлеровское училище представляло из себя небольшой вооруженный лагерь.

Днем обыкновенно дружинники, разбиваясь на небольшие отряды человек по 10—15, обходили назначенные им районы; вечером же все собирались вместе. По вечерам в здании училища царило постоянное оживление. С одной стороны, как уже было указано, шли непрерывные митинги и всевозможного рода заседания. С другой стороны, дружины занимались «военным обучением». Шла пробная целевая стрельба из ружей монтекристо по различным мишеням, шло обучение строю, вздваивали и выстраивали ряды и т. п. Общее количество дружинников, имевших постоянное местопребывание в здании училища, установить трудно, так как начиная с 6 декабря количество это все время менялось. Сначала здесь нашли себе приют несколько железнодорожных дружин, составленных из рабочих железнодорожников, преимущественно Московско-Казанской железной дороги. Затем 6 или 7 декабря сюда пришла боевая дружина, состоявшая из студентов Училища Живописи, Зодчества и Ваяния, теперешнего Вхутемаса. Дружина эта по своей партийности в большей части была эсеровская, хотя в ней были также и социал-демократы. Далее, 8 декабря в здании фидлеровского училища появилась так называемая «сборная» дружина. Ее название вполне соответствовало ее составу. Сюда входили и рабочие и студенты различных учебных заведений, к ней присоединились, впрочем, «на автономных началах» и реалисты училища Фидлера, незадолго до декабрьского восстания организовавшие собственную дружину. Было в ней также несколько курсисток, довольно большое количество приказчиков из молочных магазинов Чичкина и несколько представителей так называемых свободных профессий. Среди последних назову литератора К. М. Трояновского [1]), в настоящее время автора ряда трудов по экономике Востока. По своему партийному составу эта дружина была тоже сборною, и в нее входили и социал-демократы

---

[1]) Константин Михайлович Трояновский в то время член Р.С.-Д.Р.П. (большевик), ныне член Р.К.П.

обеих фракций, и эсеры, и максималисты, и анархисты; были в ней и беспартийные.

Если мы теперь от численности и состава фидлеровских дружин перейдем к их вооружению, то нам в первую очередь придется констатировать, что и в этой области царила изрядная пестрота. Только одна из дружин (не помню теперь, какая именно) была вооружена однообразным вооружением, именно винчестерами, которые дружинники на ремнях носили под пальто. Эта дружина была численностью не более двадцати человек. Что же касается остальных дружинников, то вооружение их было крайне разнообразное. Железнодорожники были вооружены главным образом маузерами и наганами. В дружине Училища Живописи и в сборной оружие было всех видов: тут были и браунинги, и смиты, и наганы, и маузеры, и парабеллумы, борхарты и даже «бульдожки». Словом, тут был, по остроумному замечанию одного из инструкторов боевого дела, полный оружейный магазин. Впрочем, преобладающим родом оружия был браунинг, нашедший себе еще в условиях подпольной работы массовое применение.

Таким образом к 8 декабря в реальном училище Фидлера сосредоточилось довольно значительное количество дружинников, и оно действительно представляло собою базу, из которой революционные партии в случае каких-либо экстренных надобностей могли черпать необходимые резервы. Так, например, в ночь с 8 на 9 декабря было сообщено по телефону, чтобы все находившиеся в училище дружинники спешно шли на Кудринскую Садовую (к Аквариуму), где в это время происходил многолюдный митинг. Митинг этот был оцеплен войсками, и фидлеровские дружины были вызваны на выручку митинга. Но дружинам пришлось пройти пешком расстояние от почтамта до Триумфальной площади, и поэтому они сильно опоздали и пришли к шапочному разбору, когда митинг был почти уже разогнан, так что дружинники простояли около полутора часов без всякого дела вблизи Аквариума, разбившись на небольшие отряды, группировавшиеся на Тверской, Тверской-Ямской и Садовой.

Вечером 9 декабря, в тот вечер, когда училище Фидлера подверглось нападению со стороны войск, обстановка в училище была та же, что и в предыдущие вечера. Часть дружинников еще не вернулась с дневного обхода. Несколько человек под предводительством начальника сборной дружины П. Э. Доблера [1]) было отряжено для взрыва охранного отделения, для каковой цели они были снабжены несколькими бомбами, начиненными гремучим студнем. Часов в 8 в училище предполагалось заседание представителей Всероссийского Железнодорожного Союза, и железнодорожники начали уже с'езжаться. В актовом зале училища, находящемся внизу, с правой стороны от входа, шла обычная маршировка, обучение строю, пробная стрельба. Несмотря на все эти военные приготовления, публика, населяющая

[1]) Павел Эдуардович Доблер, член партии с.-р. максималистов, отбывал восьмилетнюю каторгу в Бутырской тюрьме. В ночь с 9 на 10 декабря 1905 года им были брошены 2 бомбы в охранное отделение.

за последнюю неделю училище Фидлера, настолько привыкла к ним, что никому и в голову не приходило, что именно в этот вечер придется применить все это обучение на практике. И поэтому, когда около 8 часов вечера в вестибюле училища резко прозвучал тревожный сигнал, для всех это явилось полнейшей неожиданностью. Нападения на само училище никто решительно не ожидал.

Первым в училище вошел пристав Гедеонов, вошел в единственном числе, без всякой свиты. У входа в здание с внутренней стороны обыкновенно дежурили двое дружинников, вооруженные солдатскими трехлинейными винтовками с примкнутыми к ним штыками. При появлении пристава один из них взял винтовку на-руку, а другой протрубил в охотничий рог Само собою разумеется, что встреченный столь негостеприимно пристав поспешил благородно ретироваться, и высыпавшие из актового зала в вестибюль дружинники увидели из окон, как к зданию училища со стороны Лобковского переулка на рысях подходил эскадрон Сумских драгун. В то же время и со стороны Мыльникова переулка медленно под'езжал эскадрон конных жандармов.

Двери в здание были немедленно заперты, и столпившиеся дружинники, потрясая револьверами, винчестерами и бомбами (в числе вооружения было десятка два бомб различной конструкции) сгрудились частично в самом вестибюле, частично заняли лестницу, при чем несколько товарищей, вооруженных бомбами, были выдвинуты в первую линию. Здесь необходимо заметить, что лестница бывшего реального училища Фидлера, в котором теперь помещается школа «имени Революции 1905 года», построена таким образом, что ее расположение создает необычайно большие преимущества для защищающих доступ в верхние этажи и не менее большие трудности для тех, которые пожелали бы проникнуть туда. Сборная дружина выбрала своей базой училище Фидлера, как раз руководствуясь этими его преимуществами, которые были настолько заметны, что нельзя было не обратить на них внимания.

Действительно, лестница в училище расположена настолько удобно для защиты, что дружинники в случае штурма смогли бы почти безнаказанно осыпать штурмующих пулями, сами находясь почти вне действия пуль противника. И хотя, повторяю, никто не ожидал нападения войск на само училище, тем не менее это его исключительно благоприятное для защиты положение вполне учитывалось некоторыми из начальников дружины. И действительно, когда командовавший отрядом ротмистр Рахманинов, взломав дверь, ворвался во главе спешенных драгун в вестибюль училища, он, по его словам, сказанным впоследствии на суде, сразу увидал, насколько трудно взять училище штурмом, и первою его мыслью было обратиться по начальству с просьбой прислать артиллерию Во всяком случае, очутившись в вестибюле, драгуны в замешательстве остановились: вся лестница в пролете четырех этажей была полна вооруженными дружинниками, имевшими возможность стрелять по войскам почти без всякого для себя ущерба. В этот самый момент из квартиры, находящейся в здании училища, вышел

на лестницу директор училища И. И. Фидлер, и в сопровождении врача санитарно-медицинского пункта товарища Котика направился к драгунам. Спустившись вниз, они подошли к солдатам вплотную и тотчас же вступили в переговоры с ротмистром Рахманиновым и приставом Гедеоновым.

Из переговоров выяснилось, что отряд ротмистра Рахманинова по распоряжению московского градоначальника генерала Медема был командирован обезоружить боевые дружины, находившиеся в здании училища Фидлера. Обезоруженные дружинники должны были, по словам Рахманинова, быть отправлены в ближайшую полицейскую часть и там переписаны, после чего им гарантировался беспрепятственный уход по домам.

Само собой разумеется, что этим обещаниям решительно никто не поверил: за два месяца, протекшие с октября, не только наша скептически настроенная партийная публика, но и беспартийные слишком хорошо узнали на опыте, насколько можно доверять полиции. У всех были слишком памятны избиения, которым подвергались рабочие и студенты в октябрьские дни 1905 года со стороны полиции и черной сотни. С другой стороны, все учитывали, что разоружение более ста человек дружинников очень тягостно должно было отразиться на силах восставших. И это несомненно было так. Ведь если припомнить, как кропотливо, медленно создавались боевые дружины, с какими неимоверными трудностями приходилось доставать оружие, как дорого обходилась эта доставка, то становилось вполне ясным, что сдача без боя являлась актом, равносильным измене. Вполне поэтому понятно, что на предложение о сдаче осажденные ответили решительным отказом.

Положение создавалось крайне неопределенное.

С одной стороны, ротмистр Рахманинов прекрасно понимал, что взять здание с имеющимися у него силами не было никакой возможности.

Сообщая по телефону градоначальнику о создавшемся положении, он требовал подкреплений и главным образом артиллерии, так как для штурма необходимо было, по его словам, положить не менее батальона.

С другой стороны, и дружинники находились тоже в состоянии нерешительности. Вопрос ведь был яснее ясного. При наличии почти равных сил единственным выходом из создавшегося положения являлся непосредственный прорыв через линию войск. Несколько раз поднимался этот вопрос на заседании совета начальников боевых дружин и их помощников. Был даже один момент, когда вопрос о прорыве был уже почти решенным. Осажденные должны были бросить ударную динамитную бомбу в драгун, стоявших в вестибюле; часть здания, помещаясь над вестибюлем, должна была быть взорвана, после чего дружины, произведя этим взрывом замешательство и панику среди войск, должны были бы прорваться. Но как раз в самый решительный момент ни один из начальников не решился «взять на себя ответственность» за последствия, которые могли бы получиться в результате такового выхода.

А время между тем проходило.

Дружинники готовились к отражению штурма, на лестнице воздвигались баррикады из парт, но вопрос о прорыве более не поднимался.

К одиннадцати часам вечера положение стало резко меняться...

Не получая артиллерии от градоначальника, настаивавшего, чтобы училище Фидлера было взято штурмом при наличии тех сил, которые были даны, ротмистр Рахманинов обратился к одному из генералов с просьбой о присылке артиллерии, и от этого генерала был получен ответ, что артиллерия немедленно прибудет. Действительно, к 12 часам ночи прибыли два легких орудия, которые были поставлены на дровяном складе, находящемся на Машковом переулке, который расположен параллельно Мыльникову переулку, куда одной своей стороной выходит здание училища. Еще ранее прибытия артиллерии подошло несколько пехотных частей, которыми были оцеплены прилегающие кварталы и наполнены близлежащие дворы. Снова начались переговоры, но на этот раз они были уже значительно короче. Опять появился доктор Котик и затем Фидлер, но все их попытки предотвратить кровопролитие успехом не увенчались. После того, как переговоры не привели ни к каким результатам, ротмистр Рахманинов обратился к находящимся в здании училища с предложением немедленно покинуть здание тем из них, которые не пожелают подвергнуться обстрелу. В ответ на это предложение послышались глубоко протестующие, возмущенные голоса дружинников. Тем не менее несколько человек и в их числе И. И. Фидлер перешли к драгунам. Там они были арестованы и немедленно уведены на улицу, за линию войск. Вслед за этим драгуны были выведены из здания, а оставшимся дружинникам было дано 15 минут на размышление. По истечении этих 15 минут Рахманинов послал к дверям училища горниста. Труба трижды проиграла сигнал к атаке, и вслед за этим начались военные действия. Первыми со стороны осаждающих были пущены в ход пехотные части и спешенные драгуны. Выстроившись перед зданием училища, они подвергли его массовому обстрелу из винтовок. Но ряд залпов, произведенных этими войсками, не мог принести осажденным решительно никакого вреда. Дружинники сгруппировались в верхних этажах, и это им давало возможность совершенно избежать какой бы то ни было опасности, так как пули осаждающих, пробивая оконные стекла верхних этажей, попадали в потолок и потому имели в пределах комнаты очень незначительный район действия. Кроме того, в училище Фидлера было достаточно помещения, которое в силу своего расположения было совершенно вне действия обстрела. Это помещение составляли классы, выходившие на двор. Безопасным местом являлась также и лестница, находившаяся внутри здания. На лестнице главным образом и разместились осажденные. Едва лишь раздались первые залпы со стороны войск, дружинники начали энергично отвечать. Часть дружинников, разместившись по стенам вблизи окон и находясь под прикрытием простенков между окнами, стреляла вниз по войскам главным образом из браунингов и наганов. Небольшой отряд дружинников, проникнув через чердачное помещение на крышу и укрываясь от выстрелов за дымовыми трубами, в свою очередь открыл по войскам обстрел из маузеров и винчестеров. Далее

из окон было выкинуто дружинниками несколько македонских бомб, которые произвели ощутительные потери и панику в рядах осаждающих, заставив последних отойти от здания на далекое расстояние. Этими бомбами было убито и ранено несколько пехотных солдат, а также смертельно ранен прапорщик Тыртов, который, будучи доставлен в ближайшую больницу, скончался в ту же ночь. Считаю необходимым отметить, что этот офицер во время переговоров, бывших между дружинниками и военным командованием, открыто выражал свое сочувствие осажденным и громко возмущался теми мероприятиями, которые его начальство принимало в отношении фидлеровского училища. По случайной иронии судьбы ему как раз и пришлось получить смертельную рану от тех, на стороне которых находились его симпатии. После того, как ружейный обстрел не дал никаких результатов и привел даже к некоторым потерям со стороны войск, последние были отведены из Мыльникова переулка, и в дело была пущена артиллерия, расположившаяся, как уже было указано, через квартал от училища, на углу Машкова и Лобковского переулков.

Появление артиллерии уже заранее предрешило исход борьбы. Сопротивляться артиллерии дружинники не могли по той простой причине, что артиллерия, находясь за линией домов, била из другого квартала, куда совершенно не могли достигнуть выстрелы дружины. О прорыве теперь думать тоже было поздно. Если раньше, до начала военных действий, когда силы осаждающих заключали в себе всего два эскадрона кавалерии, и мог быть разговор о прорыве, то в настоящее время положение дружинников стало значительно тяжелее, так как все прилегающие к зданию кварталы и дворы были заняты значительным количеством войск, и потому прорыв был заранее обречен на неудачу.

Таким образом фидлеровские боевые дружины, лишенные возможности и сопротивления и прорыва, сразу очутились в безвыходном положении, и картина создалась такая, что училище просто сделалось мишенью, в которую с полной безнаказанностью била артиллерия.

Первые артиллерийские выстрелы были неудачны и не достигли цели. Но спустя очень короткий промежуток времени батарея настолько пристрелялась, что снаряды, попадая в верхние этажи здания, начали производить громадные зияющие бреши. Если ранее верхние этажи служили как бы убежищем от ружейных залпов, то теперь при артиллерийском обстреле получилась обратная картина.

Один из первых, удачно пущенных снарядов разорвался около дружинника, находившегося в четвертом этаже в простенке между двумя окнами. Сила снаряда была так велика, что простенок шириною около полутора аршин был почти совершенно разрушен. Что же касается дружинника (это был товарищ Салтанов, один из реалистов училища Фидлера), то он был убит наповал. Снарядом у него были вырваны внутренности, и он, почти погребенный обвалившимися от выстрела кирпичами и щебнем, представлял собою сплошную кровавую массу. Оставаться в верхних этажах было уже невозможно. Дружинники спешили частично укрыться внизу, частично

на лестнице. Но и здесь не было безопасности, так как снаряды, хотя и реже, но все же проникали также и в эти места.

Дальнейшее сопротивление становилось все менее и менее целесообразным, и среди дружинников начали подниматься голоса о необходимости сдачи. Первоначально эти голоса встретили решительный отпор со стороны некоторых товарищей, но мало-по-малу большинству стало очевидным, что пребывание в стенах училища, подвергнутого усиленному артиллерийскому обстрелу, теряет всякий смысл, тем более, что сопротивления по существу уже никакого и не было. Здесь было уже не сражение, а просто расстрел засевших в здание людей.

Как только вопрос о сдаче принципиально был решен, приступили к практическому его осуществлению. В качестве парламентеров были посланы студент Высшего Технического Училища Л. А. Рабинович [1]) и я.

Я помню темную декабрьскую ночь, которая охватила нас своим морозным дыханием, как только мы вышли из под'езда училища на улицу. Под'езд фидлеровского училища помещается на углу Мыльникова и Лобковского переулков и расположен таким образом, что вышедшему из него сразу становится видным все, что происходит около здания с обеих его сторон, выходящих на улицу. Оглядевшись, мы увидели, что войск вблизи здания не было.

В Мыльниковом переулке их не было видно совсем, и только в Лобковском, шагах в двухстах от училища, мы увидели несколько горящих факелов, освещающих линию пехоты. Частью это были спешенные драгуны, частью пехотные войска. Особенно меня поразило их построение. Первые две линии стояли таким образом, как будто они собирались стрелять с колена. Следующие за ними ряды стояли во весь рост. И хотя ружья не были взяты на-изготовку, тем не менее вся эта масса войск производила такое впечатление, что она немедленно начнет стрелять. Махая белыми платками и крича: «мы депутаты, мы депутаты», мы подошли к линии настолько, что нас отделял от войск промежуток шагов в пятьдесят.

В чем же дело? — послышался резкий голос со стороны войск. В голосе слышалась злоба и одновременно страх.

— Мы депутаты, — повторили мы: — мы пришли для переговоров относительно условий сдачи.

— Пожалуйте перед фронтом, — произнес тот же голос.

Мы сделали вперед десятка два шагов и остановились прямо против середины линии.

«Ахнут они сейчас по нас из винтовок», — мелькнуло у меня в голове.

— Так в чем же дело? — послышалось опять со стороны пехоты. Мы повторили свое предложение.

— Какие тут могут быть условия? — произнес тот же голос: — сдавайтесь, и все тут, а то перебьем всех до последнего.

---

[1]) Лев Александрович Рабинович—ныне инженер, профессор технических вузов в Москве.

Такая постановка вопроса была для нас полной неожиданностью. По своей наивности мы полагали, что с нами и теперь будут договариваться как с равной стороной.

— А впрочем, — прибавил говоривший с нами (повидимому, это был офицер), — я сейчас пойду переговорю с начальником отряда, подождите.

Прошло несколько мгновений. Ушедший офицер не возвращался. Войска стояли безмолвно, и только группировавшиеся около войск кучки пожарных с факелами, городовых, дворников и еще каких-то подозрительных личностей, которых мы заметили подойдя поближе, оживленно переговаривались между собой.

— Это депутаты? — раздался вдруг чей-то насмешливый голос, — а не дать ли нам по этим депутатам залпа?

— Дать! — ответил чей-то другой голос. Залпа, однако, не последовало, но один выстрел грянул. Несомненно, это была провокация. И действительно, едва лишь послышался этот выстрел, как с крыши фидлеровского училища началась разрозненная, беспорядочная стрельба по войскам. В то же время и со стороны войск последовала команда: «рота, пли», и грянул залп. Залп этот был направлен не в нас, а в дружинников, стрелявших с крыши. Мы медленно, пятясь назад, начали отходить влево от линии войск, стараясь держаться ближе к тротуару. Когда мы приблизились к Мыльникову переулку, последовал второй залп и затем третий, но теперь уже непосредственно по нашему адресу, и пули затрещали совсем близко, ударяясь о тротуары и стены домов. Быстро вбежав в Мыльников переулок, мы очутились вне выстрелов и, перейдя через мостовую, вошли в под'езд фидлеровского училища.

Переговоры были сорваны.

Прекратившаяся было орудийная стрельба возобновилась с удвоенной силой. Настроение начинало становиться паническим. Несколько женщин, квартировавших в училище и принадлежавших к семьям администрации и педагогического персонала училища, ворвавшись в вестибюль и истерически рыдая, кидаясь к дружинникам, умоляя о немедленной сдаче. Иные, из них, разбивая окна и высовываясь на улицу, громко кричали: «сдаемся, сдаемся». Кое-кто из дружинников, влезши на подоконники, махали белыми платками и тоже кричали: «сдаемся». А снаряды в это время с математически точными промежутками «бухали» в здание, сотрясая его буквально до основания и производя все большие и большие разрушения. И только когда из некоторых окон были выставлены белые флаги, стрельба понемногу стала затихать. Наконец из училища в качестве парламентера вышел врач санитарного отряда Н. Г. Котик с повязкой красного креста на руке в сопровождении двух товарищей.

Если не изменяет мне память, сопровождавшие Котика товарищи были Н. Н. Макаров и М. Ф. Потрубач, бывшие в то время начальниками дружин. Прошло несколько минут, и вернувшаяся делегация сообщила те условия сдачи, которые были заключены между ними и начальником отряда ротмистром Рахманиновым.

Согласно этих условий все имевшееся в распоряжении боевых дружин оружие должно было быть сложено в вестибюле здания в одном месте. Что же касается дружинников, то они должны были выйти на улицу безоружными и сдаться войскам. Всем обещалась полная безопасность, и была дана гарантия от каких бы то ни было насилий как «со стороны войск, так и населения». Под последним разумелись, конечно, черносотенцы, которые, чуя возможность безнаказанной, под прикрытием войск, расправы с безоружными дружинниками, в довольно значительном количестве подошли к месту происходивших событий и находились за линией войск.

Наступил момент сдачи.

Медленно стягивались со своего здания дружинники и складывали оружие. Многие не пожелали сдавать свое оружие в исправности и тут же ломали револьверы о чугунную лестницу и портили затворы винчестеров. Иные из дружинников по неосторожности ломали револьверы, предварительно не разрядив их.

От этого происходили случайные выстрелы, благодаря которым снова началась паника, так как многие не понимали причины выстрелов и думали, что опять начался обстрел. Далее, некоторые из товарищей и в том числе пишущий эти строки отнеслись с большим скептицизмом к заверениям ротмистра Рахманинова о полной безопасности, которая была гарантирована сдавшимся. Несколько лет работы в условиях подполья и опыт двух месяцев «свобод» заставляли нас не особенно доверяться обещаниям, исходившим от противной стороны.

И потому мы решили взять с собою хотя бы браунинги, которые можно было положить в карман, а потом в случае, если дело бы обошлось без эксцессов, незаметно выкинуть в снег, что было очень легко сделать ночью, находясь в большой толпе сдавшихся. Последовавшие за сдачей события наглядным образом показали, насколько мы были правы в своем скептицизме.

Действительно, едва лишь дружинники вышли из здания училища и стали собираться в кучу перед линией войск в расстоянии приблизительно ста шагов от последней, как со стороны Лобковского переулка раздался конский топот, крики «ура», и на обезоруженную толпу дружинников бросился отряд Сумских драгун и, врезавшись в самую гущу, стал рубить шашками направо и налево. Во главе этого отряда стоял корнет Соколовский. Повинуясь чувству самосохранения, дружинники бросились по направлению к линии пехоты, но последняя, стоявшая до сих пор спокойно, вдруг по чьему-то приказу взяла винтовки на руку и ощетинилась штыками.

Обезоруженные дружинники сразу очутились между двух огней...

Некоторые из них, предусмотрительно взявшие с собою оружие, стреляли по драгунам; другие, разбивая оконные стекла домов, влезали в квартиры и без того напуганных обывателей, живших в этом квартале.

Невольно припоминаются свои личные ощущения, пережитые в течение этих нескольких минут. Увидев приближающихся драгун, я вынул оставленный при себе браунинг и собирался стрелять в драгуна, скачущего прямо

в мою сторону. Но едва лишь мне удалось поднять руку, как стоявший впереди меня товарищ нечаянным движением локтя сбил с моего носа пенснэ. Драгун был уже в нескольких шагах. Я приподнял браунинг, выстрелил наудачу и, конечно, промахнулся. Услышав звук выстрела, драгун поднял шашку и я, нагибаясь, почувствовал, что левая рука моя, инстинктивно поднятая для защиты головы, ранена ударом шашки. Драгун проскакал дальше. Все это происходило в течение нескольких секунд.

Вслед за этим я увидел, как один из товарищей, разбив маузером окно, быстро влез в него. Я тотчас же последовал за ним, за мной еще двое: рабочий типографщик Батманов и студент Иванов [1]). Картина, которую мы увидели в квартире, куда мы попали столь необычным образом, являла собою полный контраст всему только что происшедшему. Квартира эта, судя по ее обстановке, принадлежала зажиточному обывателю, который встретил нас далеко не гостеприимно. Глибокое возмущение нашим неожиданным вторжением так и сквозило во всей его фигуре.

«Так дольше жить нельзя,—произнес он, надевая пальто:—теперь вся квартира выстудится, и все через вас». «Через вас, — повторил он, — я вовсе принужден уходить из своей собственной квартиры». Слово «собственной» было сказано с особенным чувством. Несмотря на то, что нам далеко было не до смеха, тем не менее некоторые из нас в ответ на это замечание громко расхохотались. Выйдя из квартиры через черный ход, мы очутились на дворе. Взобравшись по лестнице на крышу соседнего дома, мы попали на другой двор, затем таким же образом мы очутились на третьем дворе. Мы думали таким путем, т.-е. по крышам домов, уйти возможно дальше от фидлеровского училища и потом уже, достигнув другой стороны квартала, попытаться тем или иным способом пробраться через линию войск. Но на третьем дворе нам не повезло. Мы были замечены несколькими дворниками и ночными сторожами, которые яростно накинулись на нас. Началось самое настоящее избиение: били дубинками, топтали сапогами. В это же время к воротам двора под'ехал взвод конных жандармов. Первоначально у них была мысль разделаться с нами тут же, и многие из них уже выхватили шашки наголо. Но командовавший ими унтер-офицер решил, что целесообразнее будет нас задержать. Мы были арестованы и через несколько минут очутились на дровяном складе у Машкова переулка, где стояла обстреливавшая нас батарея и куда теперь были собраны все задержанные после конной атаки дружинники.

Впоследствии мы узнали, что более двадцати товарищам удалось всетаки избежать ареста. Некоторые, попавшие в чужие квартиры таким же способом, как и мы, нашли убежище у какого-то отставного полковника; другие, запрятавшись в дровяные сараи, пролежали там до полудня 10 декабря, т.-е. до того времени, когда войска, оцепившие квартал, где находилось фидлеровское училище, были сняты.

---

[1]) Алексей Алексеевич Иванов—ныне профессор Пекинского университета, сотрудничающий в советской печати специалист по Китаю.

Некоторым из этих последних товарищей удалось уйти даже с оружием.

На дровяном складе я увидел начальника московского охранного отделения Петерсона и еще нескольких жандармских офицеров, оживленно разговаривавших с ротмистром Рахманиновым относительно нашей дальнейшей судьбы. Здесь же я узнал, что во время конной атаки человек 7—8 из дружинников было убито, человек 20 ранено. Некоторые из последних, особенно тяжело раненые, были тут же увезены в под'ехавших санитарных каретах и были направлены в тюремную больницу. Что же касается нас, то по распоряжению Петерсона нас должны были отправить в Бутырскую тюрьму. Я помню, как перед отправлением нас подвергли тщательному обыску. Затем мы были выстроены по четыре в ряд и окружены тройным кольцом охраны, которая состояла из городовых, пехотных солдат и конных драгун. Впереди и сзади шествия ехало по полуэскадрону конных жандармов.

Перед отправкой начальник охранного отделения произнес необычайно внушительное напутствие, указав, что за попытку к побегу, которую проявит хотя бы один арестованный, будут отвечать поголовно все.

Усталые от пережитых впечатлений, измученные нравственно и физически, отправились мы в дальний путь от Чистых Прудов к Бутырской тюрьме. Переход продолжался не менее двух с половиною часов, так как среди нас были раненые, которые не были в состоянии итти быстро.

Когда мы подходили к Сухаревской площади, неожиданно раздался оглушительный грохот, гулко прокатившийся по пустынным улицам Москвы. Получалось впечатление, что грохот этот происходил от выстрелившей залпом батареи. Часть конвоировавших нас конных жандармов, шедших в голове колонны, отделившись от общей массы, галопом поскакала по направлению к Самотечной площади. Но через несколько минут они вернулись обратно, и мы беспрепятственно продолжали свой путь до Бутырской тюрьмы. Спустя некоторое время мы узнали, что грохот этот произошел от взрыва двух бомб, которые были брошены в охранное отделение дружинниками, отправленными для этой цели, как уже было указано, под начальством товарища Доблера. Одна из комнат охранки в первом этаже была разрушена совершенно, другая наполовину. Взрывом была произведена также большая брешь в одной из комнат второго этажа, в той самой, в которой в тот вечер предполагалось заседание по ликвидации московского вооруженного восстания. Заседание это не состоялось, так как начальник охранки Петерсон со своими присными был вызван к зданию фидлеровского училища. Кроме того, этими бомбами было убито четыре чина наружной полиции и семь агентов охранного отделения. Впоследствии, через 2 года, когда я был на допросе у начальника московского охранного отделения полковника фон-Коттена, мне удалось увидеть в его кабинете фотографический снимок тех разрушений, которые были произведены бомбами товарища Доблера.

Часам к пяти утра, совершенно обессилевшие, мы подошли к Бутырской тюрьме. Несмотря на то, что дорога прошла без всяких эксцессов со стороны войск и полиции, мы все же еще не чувствовали себя в безопасности. Ощущалась еще какая-то напряженная атмосфера. Я помню, как один това-

рищ, разговаривая у самого входа в тюрьму с конвоировавшим нас помощником пристава, задал ему вопрос прямо: «как вы думаете, будут нас бить?». Вопрос этот помощник пристава счел вполне нормальным и после некоторого размышления ответил: «не думаю, бьют обыкновенно где? в сыскном, у нас в части, иногда в охранке, но в тюрьме это бывает редко; разве что вы бунтовать начнете».

Так как «бунтовать» мы не собирались, то все «обошлось благополучно».

Часам к шести утра мы были переписаны и рассажены по камерам незадолго перед этим выстроенного одиночного корпуса.

Так закончилось фидлеровское дело, явившееся, как я уже говорил, прологом к московскому вооруженному восстанию. Действительно, к утру 10 декабря уже выросли первые баррикады. И затем в течение 8 суток мы, сидя в одиночках, слышали не умолкавшую ни на минуту канонаду из орудий и массовую и одиночную стрельбу из винтовок и револьверов. Иногда стрельба была совсем близко около нас, и от конвоировавших нас на прогулке надзирателей мы узнали, что со стороны восставших был сделан ряд попыток овладеть тюрьмой. Тюремный гарнизон, состоявший ранее из одной конвойной команды, был усилен несколькими эскадронами конных жандармов, дежуривших наравне с конвойными у нас в коридорах. Месяца два спустя помощник начальника Бутырской тюрьмы Давыдов говорил некоторым из товарищей, что тюремная администрация имела приказ перебить всех арестованных в случае, если бы тюрьма была взята восставшими. Наличием такого приказа, по его словам, и об'яснялось присутствие в коридорах большого количества стражи, непрерывно дежурившей 14 и 15 декабря, т.-е в те дни, когда восставшими делались особенно энергичные попытки овладения тюрьмой.

К 17 декабря канонада значительно усилилась, и большинству товарищей, сидевших в верхних этажах, было видно по вечерам из окон громадное зарево пожара. Это горела упорно сопротивлявшаяся Пресня, окруженная, как кольцом, войсками и совершенно изолированная от остальной Москвы.

19 декабря сидевших по одиночкам дружинников стали вызывать на допрос. Следствие производилось необычайно быстро, исключительно ускоренным темпом.

В два-три дня было допрошено свыше ста человек. Ходили слухи об ускоренном военном суде. И слухи эти, как впоследствии оказалось, имели под собою основания. Только благодаря каким-то разногласиям, происшедшим между Дубасовым и главным военным прокурором «знаменитым» Павловым, приобретшим репутацию вешателя, военный суд не состоялся, и дружинники были преданы суду московской судебной палаты. Да, сверх того, нашему избавлению от военно-полевого суда в значительной степени содействовало также и то обстоятельство, что прибывший из Петербурга Семеновский полк расстрелял и по суду и без суда и в Москве и по линии Московско-Казанской железной дороги такое количество человек, что даже царскому правитель-

ству это количество показалось сверхдостаточным, и новой искупительной жертвы, новой крови не потребовалось. Но во всяком случае следует отметить, что в первую неделю нашего пребывания в Бутырской тюрьме тюремная администрация относилась к нам, как к людям обреченным. Раненым помощи не оказывалось. Нельзя было добиться не только врача, но и фельдшера. И только лишь числу к 21-му, 22-му, когда возможность военно-полевого суда отпала, раненые были переведены в помещавшуюся при Бутырской тюрьме тюремную больницу. В общем большинство из нас просидело в Бутырках около полугода, и в конце мая и начале июня мы были выпущены под залог до суда, который состоялся через год после восстания, т.-е. в декабре 1906 года.

Судились фидлеровцы дважды.

Первый суд, в Москве, состоялся в московской судебной палате, в здании так наз. «судебных установлений» в Кремле, как раз в том самом здании, в котором в настоящее время имеет свои заседания Совнарком.

Это был период первого междудумья.

Созыва Второй Думы ожидали в феврале. Волна общественных настроений была еще достаточно высока, и потому дело слушалось при открытых дверях.

Обвинял товарищ прокурора судебной палаты Золотарев. Защитников было около 20 человек. Руководящую роль среди адвокатуры в нашем процессе играли: В. А. Маклаков, недавно закончивший свою политическую карьеру в роли посла Временного Правительства в Париже, В. А. Жданов, впоследствии отбывший в Сибири четырехлетнюю каторгу за принадлежность к социал-демократической партии, и Н. В. Тесленко. Последний явился дирижером всего адвокатского концерта, участвовавшего в нашем процессе. Судебная палата с сословными представителями, рассматривавшая дело фидлеровцев, вынесла подавляющему большинству обвиняемых оправдательный приговор. Осужденными оказались всего лишь 5—6 человек. Из них обвинительный приговор получили главным образом те, которые, по наивности, имели неосторожность опорочить сами себя на предварительном следствии, поддавшись в силу неопытности на удочку следователя, заверявшего их, что только «искреннее признание облегчит их положение». Оправдательному приговору содействовал также и целый ряд чисто внешних обстоятельств, проливающий яркий свет на те порядки, которые господствовали при царском режиме. Характерной иллюстрацией этих порядков может служить следующий случай:

Согласно условию, заключенному между сдавшимися дружинниками и ротмистром Рахманиновым, оружие, которым обладали дружинники, было сложено в вестибюле здания Фидлеровского училища.

Все сданные винчестера и револьверы были военным командованием по окончании дела переданы агентам полиции и охранного отделения для препровождения в суд в качестве вещественных доказательств. Но охранка совместно с полицией проявили такую бдительность в охране данного им оружия, что более двух третей его было раскрадено. Все уцелевшие револь-

веры и ружья в качестве вещественных доказательств лежали перед присутствием судебной палаты на специально поставленном столе, но количество этих вещественных доказательств было очень незначительно. Я помню, что в числе сданных револьверов было не менее тридцати браунингов. На столе тем не менее не было ни одного браунинга. С винчестерами была та же история. Более половины их было раскрадено, и вместо этой раскраденной их части на столе лежало три или четыре ружья монтекристо, употреблявшихся, как это было указано, для целевой стрельбы и теперь весьма красноречиво свидетельствовавших перед судом о том, каким оружием обладали дружинники для борьбы с осаждавшими их пехотой, кавалерией и артиллерией.

В общем создавалась довольно своеобразная картина.

Более 100 человек обвинялось в принадлежности к боевой дружине и в оказании вооруженного сопротивления, каковые деяния предусматривались 102 и 123 статьями уголовного уложения и карались каторгой. Но оказывалось, что количество оружия, которое лежало на столе вещественных доказательств, было почти в 4 раза менее по сравнению с количеством обвиняемых. Невольно возникал вопрос, кто же из обвиняемых были дружинниками и кто просто досужие обыватели, пришедшие в училище Фидлера на митинг.

Такое неожиданно благоприятное стечение обстоятельств давало возможность защите требовать оправдания всех обвиняемых, и это свое требование защита подкрепляла указанием на то обстоятельство, что при таком несоответствии количества оружия с количеством обвиняемых совершенно нет возможности точно установить виновность каждого из обвиняемых, тем более, что подавляющее большинство последних дало показания, что в училище Фидлера они явились именно на митинг, а не для каких-либо других целей.

И показания эти, казалось, имели подтверждение в том обстоятельстве, что среди обвиняемых находились, с одной стороны, люди очень преклонного возраста, как, например, товарищ председателя Всероссийского Железнодорожного Союза Н. В. Воронин, человек лет около 60, а с другой — ряд совсем юных реалистов 4 и 5 класса, относительно которых целый сонм преподавателей клятвенно свидетельствовал об их полной политической невинности.

Ко всему этому присоединялось также и то обстоятельство, что некоторые свидетели обвинения показывали, что части дружинников после сдачи удалось прорваться через линию войск. И на этих показаниях защита строила предположение, что именно эти прорвавшиеся и таким образом избежавшие суда фидлеровцы и являются подлинными дружинниками, тем более, что количество их, установленное показаниями тех же свидетелей обвинения, почти вполне совпадало с количеством оружия, очевидно оставленного ими и теперь лежащего на столе вещественных доказательств. В конечном результате защита приходила к следующему выводу:

В училище Фидлера были и боевая дружина, и митинг. Боевая дружина прорвалась, а участники митинга сдались; и теперь участников митинга судят

за принадлежность к боевой дружине и за оказание вооруженного сопротивления. Вспоминаются при этом некоторые курьезные стороны процесса, которые выявились на суде в связи с похищением большей части оружия.

Свидетель обвинения ротмистр Рахманинов показывал, что когда он вошел в здание училища, то на лестнице он увидел двадцать молодых людей, которые держали в руках наведенные на него в упор браунинги. Один из представителей адвокатуры (кажется, это был присяжный поверенный В. А. Жданов) задал ему вопрос, может ли ротмистр отличить браунинг от какого-либо другого револьвера и уверен ли он, что обвиняемые были вооружены действительно браунингами.

В ответ на этот вопрос Рахманинов, несколько обиженно и в то же с некоторой иронической снисходительностью, заявил, что он человек военный, что, как таковой, он вполне разбирается в оружии и что спутать браунинг с каким-либо другим револьвером он ни в коем случае не мог и потому категорически утверждает, что в руках упомянутых молодых людей он видел именно браунинги.

«Подойдите к столу вещественных доказательств,—говорит Жданов,—и укажите, где тут браунинги?»—Ротмистр с самоуверенным видом подходит к столу, осматривает его со всех сторон и, вдруг, залившись яркой краской, под дружный хохот обвиняемых и в особенности публики, растерянно заявляет, что ни одного браунинга на столе нет. Даже на судей это производит впечатление огромное: свидетель явно «тенденциозный», и к его дальнейшим показаниям суд начинает относиться с некоторою настороженностью. Далее не меньший смех возбуждает проходящий перед судом целый ряд агентов охранного отделения, являвшихся свидетелями обвинения. Все они до одного, благодаря коварным вопросам защиты, «проговариваются», что собственными глазами они ничего не видали и что обстоятельств дела они не знают, но что у них еще заранее были составлены списки дружинников на основании так называемых агентурных данных и что, руководствуясь этими списками и только ими, они и явились в суд для того, чтобы уличать в принадлежности к дружине отдельных обвиняемых.

Очень большой эффект производит также расследование обстоятельств внезапного нападения, которое уже после сдачи было произведено на дружинников драгунами корнета Соколовского.

Искусно допрошенный адвокатурой ротмистр Рахманинов принужден был «выдать служебную тайну», указав, что эскадрон корнета Соколовского не входил в его отряд и что он был брошен на обезоруженных дружинников по приказанию московского градоначальника генерала Медема.

Фидлеровский судебный процесс продолжался 10 дней при повышенном интересе публики и русской и заграничной прессы, печатавшей ежедневно пространные отчеты с изложением мельчайших деталей судебного разбирательства. Публики на самом процессе было такое количество, что известный своей величиной круглый зал, в котором происходили заседания судебной палаты, не в состоянии был вместить всех желавших слушать процесс. И поэтому масса публики заполняла коридоры здания судебных установлений

и толпилась во дворе и на площади, так что властям, во избежание беспорядков, пришлось сосредоточить значительное количество нарядов конной и пешей полиции и войск как около здания суда, так и в прилегающих к нему кварталах. Особенно много войск было в день об'явления приговора. Войск этих, по словам одной из оппозиционных газет, было гораздо большее количество, чем то, которое брало фидлеровское училище в ночь с 9 на 10 декабря 1905 года. И это косвенным образом свидетельствовало о том, какое значение придавало процессу правительство. Во всяком случае оправдательный приговор явился для него полною неожиданностью, и поэтому спустя несколько дней после приговора прокурором был подан кассационный протест. Ходили слухи, что дело было кассировано по требованию Николая II, заявившего якобы, что оправдательный приговор фидлеровцев показывает, что в Москве никакого восстания не было. Не знаю, насколько достоверны были эти слухи, но можно сказать с уверенностью, что такая оценка фидлеровского дела, если бы она даже и исходила от Николая II, совершенно не соответствовала действительности, так как фидлеровское дело, повторяю, было только прологом к московскому декабрьскому восстанию, только одной из его страниц. Главная же роль в восстании принадлежала пролетариату Красной Пресни, героически сопротивлявшемуся в течение нескольких дней и сломленному только благодаря колоссальному численному перевесу со стороны правительственных войск.

Говоря о тех причинах, которые привели к оправданию подавляющего большинства фидлеровцев, буржуазная пресса считала, что оправдательный приговор был вынесен вследствие тех «симпатий», того «сочувствия», которые в отношении обвиняемых проявляло так наз. «общество». Такая точка зрения была, конечно, в корне неправильной. Оправдание на самом деле явилось в результате соотношения сил борющихся сторон. В декабре 1906 года революция еще не была изжита, силы пролетариата еще не были истощены, и это ярче всего показали последовавшие через два месяца после суда выборы в Государственную Думу, давшие преобладающее большинство социалистическим партиям.

Волна революционного движения, всколыхнувшая трудящиеся массы, была еще достаточно высока, и судьям волей-неволей приходилось с этим считаться.

Второй раз фидлеровское дело слушалось в марте 1908 года. Теперь настроения были уже другие. Реакция была в полном разгаре, и теперь дело слушалось уже при закрытых дверях. Лишь немногим родственникам обвиняемых было дано разрешение присутствовать на процессе. Вся окружающая обстановка и состав судей* не предвещали собой ничего благоприятного для обвиняемых. И защита, как бы учитывая заранее предрешенный приговор, «поникла» и говорила с значительно меньшим под'емом, чем на предыдущем процессе. Один из защитников, игравший руководящую роль во втором процессе, именно М. Л. Мандельштам, сказал даже, что у защиты имеется определенный взгляд на наш процесс, как на процесс безнадежный, как на процесс, приговор по которому составлен заранее. Говоря эти слова,

Мандельштам указывал на самую бесполезность присутствия защиты на суде. И, обрисовав ту крайне сгущенную общую политическую атмосферу, которая наблюдалась в то время, Мандельштам закончил сво юречь призывом к «гражданским чувствам» судей.

— Думаю,—сказал он, обращаясь к судебной палате и сословным представителям,—что у вас все же хватит гражданского мужества вынести обвиняемым оправдательный приговор.

Надеждам его, однако, не суждено было осуществиться.

Теперь подавляющее число обвиняемых получило уже обвинительный приговор. Правда, приговор этот был несколько мягче, чем в прошлый раз, так как, с одной стороны, статья, по которой обвинялись фидлеровцы, была на суде изменена, а с другой—и само дело утратило злободневность. Но зато теперь уже более двух третей обвиняемых получило тюремное заключение на разные сроки, и таким образом Немезида царской юстиции была удовлетворена.

Очерки о пятом годе.

А. Аросев.

Маленькое предисловие.

В своих очерках я стремился не позабыть ничего из того, что было, и не написать ни строчки, которая была бы неверна. Слова и события того времени врезались в память мне неизгладимыми бороздами. Но все же, чтоб быть уверенным в правде излагаемого, я дал свои очерки на прочтение товар. Адоратскому, бывшему тогда в Казани одним из активнейших членов с.-д. комитета.

Я пользуюсь случаем выразить т. Адоратскому сердечную и глубокую благодарность за те указания и сведения, которые он мне давал по прочтении рукописи.

А. А.

Летом 1905 г. семья наша выехала из Казани в деревню [1], и я имел возможность беседовать с крестьянами. Это было лето, когда в губерниях Саратовской, Самарской, Тамбовской и др. пылали помещичьи усадьбы.

Владелец дачи, которую мы снимали, старик-крестьянин, имел в доме мужа своей дочери, бедного крестьянина, звали его Иван Ильич Шкурин [2].

Тут я стал беседовать с крестьянами по земельному вопросу, развивая идеи эсеров [3]. И тут именно крестьяне, и прежде всего Иван, посеяли во мне первые сомнения в правильности эсеровской социализации земли. В моих беседах с крестьянами дело обстояло так, что я уверял крестьян в том, что они общинники, а крестьяне осторожно мурлыкали, почесывая в затылках:

---

[1]) «Малые Дербышки».

[2]) Он жив и теперь и является горячим защитником Советской власти.

[3]) С осени 1904 и в особенности с начала 1905 г. я подпал под сильное влияние эсеров, благодаря окружавшим меня интеллигентам-эсерам и вследствие увлечения боевой деятельностью эсеров. Эсером я считал себя с 1905 г. по 1907 г., когда более близкое знакомство с социал-демократами Тихомирновым и Скрябиным (Молотовым), а также усиленное чтение Михайловского, Лаврова, Ю. Делевского и Чернова, с одной стороны, и Маркса, Энгельса и Плеханова — с другой — окончательно сделали меня и навсегда — марксистом.

— Конешно общинно, там то уж мы сумеем землю-то поделить, лишь бы ее нам взять. Мы распорядимся.

А когда я начал развивать идеи соц.-рев. о так называемом «праве на труд», то это встретило открытую оппозицию крестьян:

— Зачем это будут к нам другие приходить?! Нас достаточно. Крестьянам бы только рассесться по земле.

Из этих случайных бесед по вечерам, на завалинках, я все же составил эсеровский кружок из молодых парней. В этот кружок входил и Иван, но представлял собой всегда оппозицию моей эсеровской агитации.

И замечательно: когда я попробовал-было в крестьянском кружке читать эсеровскую народническую беллетристику, то она как-то мало прививалась слушателям. Рабочие бывало с большим интересом относились к этого сорта литературе [1]). Крестьяне же все требовали об'яснения программ и особенно земельной.

Разница отношений к революции рабочих и крестьян отразилась как солнце в капле воды в настроениях бывших у нас, так называемых, дневальных [2]). Сначала у нас дневальным был сын сапожника, 15-летний мальчик, Александр, — фамилию не помню. Он обладал прекрасным альтом и пел грустные песни. Например:

Ни ковыль, ни трава не шелохнется,
Один грустный напев в поле слышится,
Напевает пастух песень унылую,
Вспоминает порой свою милую...

Когда осенью мы переехали в город, Александр показал мне прокламацию, которую он нашел у нас в мастерской. На прокламации был девиз: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Я стал критиковать соц.-дем. прокламацию. Она была написана по поводу полугодовщины 9 января. Александр же, лежа на своей кровати и задирая ноги в сапогах на стену, ядовито отвечал мне:

— Это, что ты говоришь, я не знаю, а вот как наш брат, пролетарий, об'единится! Что тогда будет? Вот это оно самое главное и есть! — Александр воодушевился, сел на кровать и поднял палец: — Понимаешь, всех

[1]) Это мне было известно по личному опыту: у моего отца был мануфактурный магазин и портновская мастерская, где было 10—12 человек рабочих. Большинство их было с.-д. Вот фамилии рабочих с.-д., оставшихся у меня в памяти: Пресняков Андрей Дмитриевич, Михайлов Александр Михайлович, Макарыч (фамилии не помню), Семенов Александр, Петров, Попов. Фамилии других рабочих, в том числе двух-трех с.-р-ов, которые были у нас, не помню. С этими рабочими у меня установилась самая тесная дружба. Им во время их работы я читал народническую беллетристику («Домик на Волге», «Андрей Кожухов» и т. п.), а также экономическую литературу (Бах «Экономические очерки», Дикштейн «Кто чем живет» и т. п.). Многие из этих рабочих—живы и поныне.

[2]) Т.-е. чернорабочих при мастерской, на обязанности которых лежало содержать в чистоте мастерскую, топить ее, греть утюги и т. п.

стран и один только пролетарий! Тут и прокламациев даже нечего писать, тут, понятно, жизнь сызнова, по-другому начнется. Нам и не надо никаких программ, лишь бы только соединиться, а потом все само пойдет.

— Значит ты социал-демократ? — спросил я.

— Не знаю, а только главное считаю — это соединить пролетариев.

И так настойчиво повторял это Александр, так сильно, выразительно говорил о соединении рабочих всех, всех стран, что и мне показалось, что это задание большое, самое большое и самое трудное. Я даже пожалел, почему это у соц.-рев. нет такого лозунга.

Вскоре этот Александр ушел от нас и его заменил парень из деревни— Степка. Высокий, с маленькой вертлявой головой, с маленьким носиком, с веселыми глазами, белобрысый, плясун.

Пел и плясал:

Красноносые алтынники
Все Касьяны именинники...

Хорошо играл на гармошке.

Выслушав мои речи о земельной программе эсеров, он воскликнул:

— А ведь, и верно, — у моего отца тоже земли мало!

Потом удалился в угол и там что-то писал, кажется, всю ночь. Утром на другой день он прочел мне письмо, которое написал крестьянам своей деревни (Спасского уезда) о том, чтобы отбирали землю у помещиков. В письме было, между прочим, одно замечание приблизительно такого рода: «Только землю отбирайте без программов, а прямо себе»...

Письмо это я взял себе и обязался доставить его крестьянам. Сделать это мне было тем легче, что незадолго до этого Левин [1]) мне сообщил, что некий гимназист, соц.-рев. Михайлов-Двинский [2]), отправляется на пропаганду в деревню.

Вскоре я увидел гимназиста Михайлова-Двинского сам.

В сентябре 1905 г. в Казанском университете начались публичные лекции соц.-дем., приехавшего из Саратова [3]). Он об'езжал со своими лекциями Поволжье. Лекции его происходили в вестибюле университета и на них стекалось огромное количество народа. Лектор был прекрасный. Никогда не забуду, как ясно излагал он происхождение прибавочной стоимости. Когда он делал заключительные фразы, выпадающие по смыслу одна из другой естественно, как зерно из скорлупы, я видел, как рабочие, стоявшие рядом со мной, инда крякали, чувствуя последовательность выводов и приговаривали:

[1]) Мой соклассник по реальному училищу, где мы с ним тогда были в 4-м классе.

[2]) Живет и поныне, кажется, в Казани. Отец его — присяжный поверенный — был тогда либералом, очень близко подходившим ко взглядам меньшевиков соц.-дем-ов. Подробнее о нем речь впереди.

[3]) Это был т. Пичерн (Западный), приехавший на областную конференцию и читавший по пути лекции.

— Так, так, так...

Один столяр, в темных очках, даже палкой пристукивал и крутил головой, обращаясь шопотом к окружающим:

— Господи Исусе, как просто, и что это мы, братцы, раньше не могли догадаться?

Другой рабочий, старичок, отвечал ему шопотом, в кулак:

— Оттого, что, где бы подумать, мы только пьянствуем.

— Это верно, у нас водка ум отшибает, — соглашался столяр.

Много других вокруг себя я видел лиц, просветленных неожиданно открывшимся им знанием.

Помню, как однажды во время одной из следующих лекций того же лектора, какой-то извозчик из аудитории не выдержал и, когда лектор только что кончил, извозчик попросил слово. На трибуну вошел, рябой рыжий извозчик в широкой поддевке, подбитой ватой, в извозчичьем цилиндре. Он снял цилиндр, поклонился на три стороны и сказал приблизительно следующее:

— Прямо все это, товарищи, для нас чересчур верно. И еще святой отец Никифор говорил об этом и другие пророки. Этому капиталу давайте, давайте, товарищи, отшибем голову сразу. Больше немысленно слушать об его эксплоатации. Довольно, товарищи, слушать! Идемте все против капиталу! Больше невтерпеж!

Потом я узнал, что этот извозчик принадлежал к какой-то секте староверов.

Приблизительно через месяц лектора соц.-демократа сменил лектор соц.-рев., — молодой человек, бледный, красивый, с черной шевелюрой. Он читал рефераты о роли личности в истории. Его аудитория была несколько другая, по преимуществу студенческая. Председателем как на предыдущих лекциях, так и на этих были соц.-дем.: на предыдущих был студент Герман — меньшевик, на эсеровских — студент Эмдин — тоже меньшевик, человек с приемами парламентария: вежливый, решительный и мягко, но выразительно остроумный.

Между тем, атмосфера накалялась. Спорные страсти разыгрывались среди соц.-рев. и соц.-дем.

Однажды, когда социалисту-революционеру оратору возразил соц.-дем. Герман, на трибуну поднялся соц.-рев. кавказец. Речь его была кратка:

— Товарищи! Соц.-дем. все говорят вам и говорят, и говорят, и говорят. А говорить тут нечего. Тут надо кликнуть клич: всякий честный человек, запасайся браунингами, шашками, бомбами и кинжалами.

Я, помню, вместе с другими усиленно аплодировал этому оратору, но, придя домой, невольно подумал, а ведь эсер-то в своем реферате был более многословен, чем эсдек Герман!

В другой раз один кавказец до того был возмущен речью деликатного эсдека Эмдина, который неумолимо холодным тоном и четко парировал удары эсеров, что, вбежав на трибуну, не мог выговорить ни слова, а, сжав кулак правой руки, сделал просто вокруг своего носа несколько решительных и грозных жестов и, под общий смех и аплодисменты, сошел с трибуны.

Наконец, 16 октября 1905 г. Яковлев [1]), встретив меня на улице, заявил, что на сегодня назначена демонстрация, а завтра вооруженное выступление, чтоб я был при оружии и в пассаже.

Я рассказал об этом своей матери, которая все время продолжала держать связь с соц.-рев. кругами и тоже знала об этом. Она обласкала меня и сказала, что при выступлении будет со мною вместе. От отца мы, конечно, это скрыли.

В 12 часов дня от университета пошла огромная демонстрация. Полиция, которая до сей поры фактически бездействовала, вдруг с яростью и в хорошо организованном порядке бросилась на демонстрантов. На моих глазах был убит гимназист, которому конный полицейский ударил сильно по виску. Я видел, как он зашатался, хотел поднять руки вверх, но бледный упал плашмя на мостовую мертвым. Видел я, как одну пожилую даму трое конных полицейских, окружив с трех сторон и прижав к стене, били нагайкой до тех пор, пока она не потеряла сознание.

Демонстрация была разогнана, но именно поэтому почва для завтрашнего вооруженного выступления была взрыхлена основательно.

Условлено было, что сигналом к выступлению будет бомба, брошенная в казаков. Ее должна была бросить, по словам Яковлева, гимназистка Карачевская [2]). К участию в выступлении я привлек многих из наших рабочих и дневального Степу. Вечером того же 16 октября неожиданно пришел ко мне приехавший из Москвы Бекренев [3]). Он тоже был с револьвером, хотя утверждал, что восстания не будет, так как он в Москве слышал, будто Витте добился у царя какого-то манифеста.

В самом деле, как потом оказалось, казанский губернатор Хомутов получил телеграмму-манифест 17 октября, но, испугавшись необыкновенных слов, какие там содержались, спрятал манифест под сукно и стал сноситься с Питером на предмет проверки [4]). Поэтому никто из политических руководителей об этом манифесте не знал, и восстание началось утром 17 октября 1905 г.

Главные позиции повстанцев были намечены следующие:

Университет, наискось его — крыша дома Юшкова. Таким образом всякая воинская часть, которая хотела бы обстреливать университет, имела бы у себя в тылу бомбистов дома Юшкова. Далее, на той же улице,—пассаж Там дружинники стояли в трех входах пассажа, спрятавшись за колонны. Кроме того, был занят часовой магазин Климова и чердак этого магазина под угловым куполом пассажа, где были вделаны большие стенные часы, вы-

---

[1]) Тоже реалист, старше меня на один класс, с.-р., член боевой организации.

[2]) Она и ее брат студент—оба были с.-р. боевой организации.

[3]) Тоже мой одноклассник по реальному училищу. Он принадлежал к такому типу семьи русской городской бедноты, которая готова всегда принять самое горячее участие в освободительном революционном движении.

[4]) См. на эту тему очерк в октябрьском № «Правды» за 1923 г.: «Октябрьские дни 17 лет тому назад».

ходящие на угол Воскресенской и Петровской улиц. Дружинники вынули часы и в образовавшееся таким образом окно выставили дула своих ружей. Опять-таки наискосок пассажа была духовная семинария. Семинаристы, вооружившись почти все, запаслись бомбами и просто огромным количеством камней и кирпича; готовы были бить в тыл тем, кто будет обстреливать пассаж.

На окраинах города были другие позиции. Расположения их не знаю.

Согласно распоряжения Яковлева, я с утра, вооружившись револьвером, направился к пассажу. Однако полиция пешая и конная загородила с ночи вдоль и поперек все дороги, ведущие к центру Воскресенской улицы. При этом полиция мало церемонилась. Классовая война — самая жестокая из всех войн — входила в свои права.

Когда я дошел до первого кордона, на меня навели дула револьверов выскочившие из засады из какого-то магазина полицейские и жандармы и скомандовали: «стой!».

Я остановился. Кто-то крикнул: «обыскать!». Старший городовой смерил меня взглядом и презрительно сказал:

— Чорт с ним! Теки, малый, назад по-добру, по-здорову!

Меня спасло, видимо, то, что я не был в форме реалиста, а в штатском.

Я отступил, но недалеко, так как за несколько шагов от кордона скопилась небольшая группа, состоявшая, главным образом, из лиц, намеревавшихся пройти на Воскресенскую по своему делу.

В этой группе стоял, например, мальчик какой-то сапожной мастерской, державший за «ушки» пару только что сработанных сапог. Этот мальчик уже раньше, подобно мне, наскочил на этот кордон и, подобно мне же, благополучно отступил. Но теперь, когда он заметил мой разговор с городовыми, хотел, видимо, воспользоваться этим случаем и попытался вторично пройти мимо кордона. Он пошел вперед как раз в тот момент, когда я стал отступать назад. Городовые, увидев его идущим вперед второй раз, выстрелили залпом, и мальчик на моих глазах, взмахнув в воздухе новыми сапогами, упал на мостовую. Народ, стоявший в группе, молчал как каменный: каждый боялся в своем соседе натолкнуться на шпиона. Становилось жутко, как в застенке.

Так как мы стояли собственно на Воскресенской улице, только в самом конце ее, то нам она, прямая, была видна вся. Мы видели, как с одной стороны улицы из номеров «Франция» выбежала девушка, горничная в фартуке, и только было хотела перебежать через улицу, должно быть, посланная кем-нибудь, как вдруг из какой-то другой полицейской засады послышался залп, и горничная осенним листом упала на дороге.

Было ясно, что все дороги, ведущие к предполагавшемуся центру восстания, были перерезаны отрядами городовых, жандармов и казаков. Я не знал, что делать. Видел в отдалении на пустынной Воскресенской улице пассаж, но не было никаких признаков присутствия там наших дружинников. Так как мне назначено было быть в пассаже, то я подумал, не смогу ли я пройти туда с тылу, с сада, называемого «Черное озеро». Я не успел этого решить, как дружинники прорвали полицейский фронт.

В 10 час. утра недалеко от того места, где упала горничная, послышался оглушительный взрыв, за ним второй и третий. Дымом застлало всю пустынную улицу.

Когда дым стал рассеиваться, я увидел, как конный отряд, стреляя из винтовок беспорядочно в стороны и вперед, мчался прямо на нашу группу, т.-е. по направлению к крепости.

Конные были в нескольких шагах от нас, как вдруг в их тылу загремели частые ружейные выстрелы. Конные круто повернули лошадей. Засада, которая не пропустила меня, выскочила, рассыпалась цепью по улице и начала беспорядочно стрелять в нас. Мы стали спасаться за выступами ворот и домов.

Рядом со мною жался к стене какой-то высокий человек в гороховом пальто. Но это было гороховое пальто без кавычек, это не был шпик, это видимо, был дружинник, тоже не попавший к месту своего назначения. Он вдруг сам себе скомандовал: «стреляй!».

В его руках сверкнул револьвер. Я тоже стал стрелять. Карманы моих брюк, набитые патронами, делались легче.

Мы видели, как городовые оттащили двух-трех раненых и, уйдя с улицы, стали редким, беспорядочным огнем стрелять из окон магазина в улицу без определенного направления, но приблизительно в нашу сторону.

Мы услышали снова взрыв—один, другой. Мы не знали, что делается там, где должен был быть центр восстания. Видя бесполезность перестрелки с городовыми, я и товарищ в гороховом пальто отправились маленькими улицами к «Черному озеру», чтобы пробиться в пассаж.

К нашему удивлению, пассаж с тыла оказался не блокирован. Потом я узнал, что он был блокирован и с этой стороны, но дружинники «сняли» стоявший тут кордон. Входя в пассаж, я увидел, как в трех дверях его, за колоннами, стояли дружинники и стреляли. Я присоединился к ним.

Вдруг меня словно вскинуло и застлало глаза дымом. Это семинаристы, что засели в своей духовной семинарии напротив, сбросили на мостовую сразу несколько бомб.

Воинская часть, вызванная для ликвидации восстания, решила прежде всего очистить семинарию. Жандармы, городовые, солдаты, сломав двери семинарии, что выходили не на Воскресенскую, а на Петропавловскую улицу, стали-было подниматься по витой деревянной лестнице. Но им сверху на голову обрушился щебень, камни, кирпич. При каждой новой попытке полиции подняться в семинарские дортуары повторялось то же самое. Так вся лестница в конце концов оказалась забаррикадированной камнями.

Семинария, как я потом узнал, в этом восстании вообще сыграла очень крупную роль. Именно благодаря семинаристам дружинникам удалось прорвать заградительные кордоны и занять намеченные заранее позиции для восстания. Прорыв кордонов удался только благодаря тому, что семинаристы, будучи в самом центре полицейского кольца, начали сбрасывать бомбы и тем самым открыли сражение. Часть кордонов была отвлечена к этому центру. Дружинники, задержанные кордонами в своем стремлении к центру, к Воскресенской улице, заслышав, как разрываются бомбы у семинарии, ударили на

кордоны. Особенно сильный удар был нанесен с «Черного озера», что дало возможность дружинникам занять пассаж. С занятием пассажа, образовался в центре восстания длинный трехугольник с вершинами: семинария, пассаж, университет. Позиции были выбраны так удачно, что войскам, полицейским и жандармским частям было очень трудно действовать.

Стоя в пассаже за колоннами, я стрелял со всеми другими товарищами, как только конные полицейские пролетали мимо нас.

Один раз видел, как какая-то девушка, из числа стоявших в пассаже, бросила в конных бомбу, завернутую в папиросную бумагу. Видел, как с Петропавловской улицы поднимался на Воскресенскую какой-то высокий статный студент. Он был с непокрытой головой и держал в руках фуражку.

На крики городовых из той группы, что осаждала семинарию: «Стой, руки вверх!»—студент не ответил и, поровнявшись с этим отрядом городовых, видя, что они, может быть, сейчас его расстреляют, отбежал на мостовую и крикнул:

— Долой самодержавие!

В ту же минуту полицейские пули уложили его на месте.

Около этого же времени кордон, который преграждал мне дорогу, видимо, был снят и оттуда, от крепости, на извозчике ехали две дамы. Видно было, как недалеко от семинарии раздались выстрелы, и обе дамы, как курицы, ткнулись друг в друга лицами и опустили тяжелые, мертвеющие головы. С одной свалилась шляпа на мостовую. Извозчик свернул с мертвыми пассажирками в какой-то переулок.

Целью дружинников было занять городскую думу.

Почему именно городскую думу, а не крепость, например, где сидел губернатор, я не знаю.

Только ночью затихли выстрелы. На наши ночные попытки завязать бой, солдаты и полиция отвечали слабо. Они как будто отступали, давая арьергардные бои.

Ночью мы отдохнули и закусили.

Утром, рано, по распоряжению губернатора, по городу был расклеен манифест 17 октября. О том, что расклеивается такой манифест и что все полицейские и воинские части снимаются с постов, мы узнали ночью и поняли это как нашу победу. Мы решили покинуть позиции и итти в думу.

Я жил рядом с городской думой. Видел как в думу вошли тт. с.-д. Кулеша, рабочий Алексей (Лозовский), с.-р. Драверт и др. Под утро я ушел домой и лег спать.

Проспав часа два, я встал и вышел на улицу. У самых ворот я попал в об'ятия какого-то студента, который целовал меня троекратно, как в светлое христово воскресенье, и говорил: «поздравляю».

Я не знал что и думать. Но тут же увидел, как на другом тротуаре какой-то человек в шляпе целовал приказчика гостиного двора. Едва я сделал два шага, как попал под поцелуи высокого сухого человека в широкополой шляпе. Он сказал: «поздравляю со свободой, с конституцией».

Подойдя к думе, я увидел расклеенный манифест и толпу народа около него, живо обсуждавшую его. Многие опять-таки поздравляли друг друга и целовались.

Городская дума была переполнена народом. Тут было много рабочих, студентов, студенток. Я прошел в зал заседаний. Там заседали гласные, окруженные огромной толпой победоносного народа. Посредине стоял Мандельштам и говорил речь. Это была типичная речь левого либерала. Я застал то ее место, где Мандельштам, подняв в воздух свой красивый указательный палец, говорил о значении интеллигенции в русской революции. Помню певучий, приятный голос. Красивое, смуглое лицо, обрамленное черной растительностью, сверкающие глаза из-под пенснэ. Мандельштам был в то же время председателем этого собрания. Партии соц.-рев. и соц.-дем., организовавшие блестяще восстание, не выдвинули в результате его никакой организации, более или менее государственно способной. Только теперь, оглядываясь назад, видишь, насколько советы депутатов рабочих и крестьян могли бы явиться естественным и единственным победоносным завершением восстания. Власть перешла к единственной в то время государственно-способной — хотя бы по видимости — организации, к городской думе. А в ней наиболее левым был Мандельштам. Он, естественно, стал во главе городской думы. А, сделавшись мэром города восставших, первым революционным мэром, он естественно становился в соответственную позу к крепости, где рядом с татарской башней Сумбеки обитал во дворце своем губернатор Хомутов.

После Мандельштама слово взял тов. Кулеша [1]). Это высокий человек, немного рябоватый, со скуластым русским лицом, бритый. Почему-то в меховой, черной шапке, всегда на затылке. Когда снимал эту шапку Кулеша, видно было, что он сильно лыс. Умный, настойчивый, упорный лоб выдавался немного вперед, отчего глаза смотрели как бы исподлобья. Глаза живые, задорные. Кулеша уже тогда был известен, как хороший и остроумный полемист. Уже тогда Кулеша разко и остроумно выступал не только против кадетов, но и против эсеров и меньшевиков. Он и рабочий Алексей были известны, как коренные большевики. Рабочий Алексей, т.-е. Лозовский, который тогда даже стихи писал [2]), славился убедительностью, и убедительность его речей базировалась на чувствительности, с какой они произносились. Кулешу же всегда было весело слушать. Он какой-то всегда был легкий, умный, острый, убедительный.

---

[1]) Старый соц.-дем. большевик. В гор. Тобольске, где Кулеша отбывал срок ссылки, он был убит следователем на почве ревности. Жена Кулеши Лидия Петровна, соц.-дем., много оказывала партии услуг в нелегальное время. Обычно она с единственным сыном Кулеши жила в Петербурге, на Петербургской стороне. Сын Кулеши, Андрей Кулеша, ныне несет ответственную работу в Красной армии.

[2]) Вроде, например, следующего:

...Свобода —
Она в светлых парчах,
С грустью нежной в глазах..

Помню, как только председательствующий Мандельштам дал слово Кулеше, последний соскочил с подоконника, на котором сидел, болтая длинными ногами, и, заломив шапку на свой лысый затылок и встав, вытянувшись особенным ораторским настроением в струнку, начал говорить

Смысл его великолепной полемической речи был тот, что, кроме интеллигенции, есть еще такая штука как пролетариат, являющийся в современном обществе классом, на котором зиждется экономика, и вместе с тем классом, наиболее революционным. Помню, как он говорил о том, что только этот класс в революции способен увлечь за собой крестьян. Кулеша имел огромный успех. Вслед за ним выступал соц.-рев., кажется, Карачевский—студент. Он имел сравнительно мало успеха.

Я не досидел до конца заседания и отправился в верхние комнаты думы. Там в длинном коридоре был поставлен длинный прилавок, весь переполненный разбросанным по нему оружием. Тут были полицейские шашки, револьверы, даже свистки полицейские. За прилавком ходил Драверт и распоряжался оружием. Он раздавал его дружинникам. Тут же я встретил Яковлева и других. Я тоже подошел к прилавку. Заявил, что я дружинник и попросил себе оружие. Драверт выдал мне два револьвера. Я попросил его еще штук десять для вооружения наших рабочих Нагрузившись револьверами, я отправился в мастерскую отца и роздал рабочим. При выходе из думы я видел, как на извозчике, нагруженном шашками и револьверами, под'ехал какой-то студент-ветеринар. Возвратившись снова в думу по раздаче оружия, я вместе с некоторыми другими отправился по распоряжению Драверта разоружать полицию. Но было уже поздно. Почти все участки были разоружены, за исключением Слободской 6 части, где сидел Васильев, который заявил дружинникам, что у полиции никогда не было оружия. Городовые-де носили при себе только пустые кобуры для страха населения. И в доказательство своих слов предложил сделать обыск в участке. Дружинники—рабочие ближайших заводов—произвели обыск, но ничего не нашли. Потом я узнал, что и в других участках дружинникам выдали лишь старое, негодное оружие, хорошее же припрятали. Васильев же в 6-й части спрятал все целиком, не выдав ничего. За это он потом получил награду.

Вечером этого дня был огромный митинг в театре и целый ряд маленьких митингов на углах улиц, у тумбочек. На постах, вместо городовых, стояли милиционеры: студенты, девицы, рабочие. Около них собирались толпы обывателей и откровенно разглядывали новых постовых, обсуждая их наружность, необыкновенно деликатные движения. Милиционеры же не препятствовали собираться вокруг себя, только иногда нежными жестами раздвигали накопившиеся кучки народа, говоря:

— Товарищи, не мешайте уличному движению!

Обыватели и обывательницы хихикали. Их забавляло такое обращение Тем более, что никакого особенного движения на улицах и не было. Даже магазины были закрыты или забиты деревянными щитами.

В театре говорились речи.

На другой день были похороны жертв вооруженного восстания. Опять пошли той же дорогой к кладбищу, как тогда, год тому назад, когда хоронили Малиновского [1]).

У городской думы, между тем, происходили беспрерывные митинги.

Выступали Кулеша, Драверт, Лозовский, Михайлов-Двинский (присяжный поверенный — отец гимназиста). Трибуной был балкон городской думы. В промежутках, когда ораторов на трибуне не было и так как народ стоял у думы непрерывно с раннего утра до поздней ночи, то кто-нибудь из толпы произносил речи. Подчас это были речи не то провокаторские, не то просто бессмысленные. Помню, один призывал убить царя. Другой говорил о том, что манифест подложный. Третий, без ноги, возвратившийся из Порт-Артура, провозглашал смерть японцам и призывал снова под командою Куропаткина ударить на защиту Порт-Артура. В то время мало прислушивались к существу произносимых речей. Все жаждали напитать свое боевое настроение Кроме того, в крепком осеннем воздухе, в толпах самого разнообразного народа, свободно вышедшего на улицу, было что-то восторженно-праздничное, стихийное и пьянящее. Всем нравилось: «Долой самодержавие!». Всем хотелось беспрерывно провозглашать: «Да здравствует свобода! Да здравствует революция!». От этого общего опьянения почти никто не замечал того, как зреют черные силы. И не удивительно: ведь складывающаяся было казанская коммуна повторяла шаг за шагом ошибки Парижской Коммуны. Демократические предрассудки, широчайшие представления о свободе мешали настоящему революционному творчеству и именно в момент наиболее критический.

И за эти демократические предрассудки мы тогда жестоко поплатились.

Утром 21 октября из крепости, от дворца губернатора, направилась процессия попов, купцов, военных, некоторых профессоров. Впереди несли портреты царя и царицы. За ними иконы и хоругви. Процессия направилась к памятнику Александра II. Там отслужили молебен. В это же самое время у думы, т.-е. в двух шагах от места молебствия, происходил митинг. Михайлов-Двинский произносил речь. Когда некоторые из толпы, собравшейся около думы, попробовали кричать на черносотенцев: «вон! долой!», Михайлов-Двинский раз'яснил, что теперь существует свобода и что «они — жест к памятнику Александра II—так же как и мы—указание на толпу—имеют право делать манифестации в пользу своих идей».

Разумеется, черносотенцы только обнаглели после такого рассуждения и, отправившись сравнительно небольшой кучкой, человек в 100, по Воскресенской, мимо митинга человек тысячи в три, стали требовать у революционной толпы снять шапки перед портретом государя. Купец Швалев — знакомец моего отца,—трактирщик Максимов, надзиратель реального училища Федор Гаврилович (фамилию забыл), оскаля зубы, кричали на митингующих:

[1]) Реалист, застрелившийся, которого схоронили по-граждански, придав похоронам политическую демонстрацию. Это было в сентябре 1904 г.

— Шапки долой! долой шапки перед царем!

Из революционной толпы опять кто-то стал отвечать протестами и ругательствами по адресу черносотенцев. На балконе появился Михайлов-Двинский и опять пояснил:

— Товарищи, в этом городе теперь, после манифеста, никто из этих— он указал на черносотенцев — не осмелится остаться в шапке, когда мы поем похоронный гимн. Будем тоже уважать и их убеждения и снимем шапки не перед царем, не перед иконами, а из уважения к чужим убеждениям. — И снял свою серую шляпу, показав народу косой пробор немного вьющихся волос. Весь митинг вслед за ним обнажил головы перед кучкой черносотенцев, несших портрет царя. Из толпы, снявшей шапки, вышел лишь один студент-ветеринар. Он вышел ближе к кучке черносотенцев и крикнул им в лицо:

— А я не подчиняюсь, я не сниму перед вами и вашим царем шапки!

Черносотенцы обступили его. Лезли ему в лицо с кулаками. Многие из них брали с мостовой булыжники и угрожали. Студент в фуражке стоял как каменный, опустив в карманы руки. Сцена продолжалась минут десять. Черносотенцы, наконец, с ругательствами отошли от него и пошли вдоль по Воскресенской улице.

У думы продолжался митинг.

Пройдя по Воскресенской, спустившись на Рыбнорядскую, выйдя в татарскую часть города, значительно увеличившись численно, «патриотическая манифестация» повернула обратно на Воскресенскую и направилась к думе. К этому времени, т.-е. к часам 12 дня, митинг у думы значительно поредел. Он всегда редел в этом, обеденное время. Впереди процессии шли уже татарские муллы, за ними русские попы, за ними купцы рыбнорядские, за ними монархические интеллигенты, за ними переодетые полицейские, жандармы и босяки, которых, как потом оказалось, пристав Тутышкин пригласил для погрома за специальное вознаграждение: рубль в сутки.

Поровнявшись с поредевшим митингом у думы, черносотенцы стали угрожать.

В это самое время Михайлов-Двинский собирался уходить с крыльца, но, увидев толпу и услышав дикие крики, он в пальто и шляпе вернулся на крыльцо и сказал:

— Товарищи, не придавайте значения этой манифестации. Народ им не сочувствует. У них здесь жалкое меньшинство лавочников, а остальное— все купленное. Сохраняйте революционную уверенность. — И сошел с крыльца прямо в ряды черносотенцев, которые кольцом сжимались не только вокруг думы, но и вокруг всего этого квартала.

И вдруг как вихрь черносотенцы налетели на толпу митинговавших и с криками: «Бей жидов!» — начали избиение.

С мостовой поднялась туча камней, брошенных в нас. Слышался хряст человеческих спин. Стоны избиваемых. Отчаянные крики: «Долой самодержавие!». Звериный рев: «Бей жидов!».

Часть толпы успела забежать в думу и там заперлась. Другая часть к нам во двор. Небольшая кучка вместе со мной скрылась в нашей квартире. Убегая в ворота, мы видели как среди моря черносотенцев закачалась голова Михайлова-Двинского и потонула в этом море. А на поверхности его была выброшена лишь его серая шляпа, которая описала в воздухе дугу и тоже утонула.

Драверт, кажется, вышел на балкон думы и дал два выстрела по черносотенцам.

Я видел, как от этого выстрела свалился человек, державший портрет царя.

И мгновенно, как разнесенные вихрем, черносотенцы разбежались, очистив совершенно площадь, на которой лежал какой-то убитый брюнет, закрывшийся царским портретом.

Наступила мертвая тишина. Она продолжалась минут десять.

Из нашего двора, который, как и Воскресенская улица, расположен на горе, был сделан подземный спуск, который кончался воротами, выходившими в маленький так называемый Вшивый переулок. Таким образом двор наш был проходной, но об этом мало кто знал, так как, чтобы пройти им, надо было предварительно спуститься в подземелье. Там же, в подземелье помещались погреба.

Мы воспользовались этим моментом затишья, и я, спустившись в подземелье, открыл ворота во Вшивый переулок и вывел первую партию в 28 человек из осажденного квартала. Едва я успел вернуться во двор, как увидел на пустой площади перед думой двоих: нашего надзирателя реального училища и трактирщика, содержавшего Панаевский сад. Сии два отважных мужа вышли на опустевшую площадь и, делая вправо и влево пригласительные жесты, сзывали разбежавшихся черносотенцев снова собраться у думы.

В то же самое время я увидел, как из подвального окна думы, которое выходило прямо в наш двор — это были квартиры думских сторожей — вылез один, другой, третий из числа тех наших товарищей, что сидели осажденными в думе.

Я их вывел тем же ходом, что и первую партию.

А затем ко мне на помощь пришла моя мать, и мы вместе с нею организовали через это окно уже правильную эвакуацию осажденных. Встречая вылезавших в окно и провожая их через подземный ход на Вшивый переулок, я в то же время замечал, что делалось на улице.

Там черносотенцы с искаженными лицами, потрясая в воздухе камнями, палками — сходились. В первых рядах перед думой были босяки. Вдруг они, словно по команде, расступились, и за ними оказались солдаты, присланные из казарм, что были под Ивановской горой, т.-е. как раз в тылу бушевавших черносотенцев. Солдаты разбились в цепь и дали сильный залп по думе, потом второй, третий. Из думы отвечали разрозненные револьверные выстрелы.

Когда раздался первый залп, то мать моя выводила группу за ворота во Вшивый переулок. Но эта группа едва высунула нос за ворота, как вернулась, заявив, что во Вшивом переулке солдаты. И, действительно, скоро на думу посыпались выстрелы и с переулка. Между тем из думского окна вылезла еще одна партия.

Солдаты, стрелявшие на улице, видимо, заметили это, и две цепи, приблизительно по 8 человек, все время стреляя, бросились к нашему двору.

Нам, с теми 10—12 товарищами, которые остались во дворе и не могли ни туда, ни сюда податься, ничего не оставалось делать, как укрыться в нашей квартире. Едва мы успели вбежать и запереться у нас, как солдаты вбежали во двор и стали стрелять и по думе, и по нашей квартире. Мы все залегли под подоконниками. Я успел прокрасться в соседнее помещение, где была мастерская и магазин отца. Из окна магазина, выходившего на Воскресенскую улицу, я увидел, как из ворот думы выбежала как будто девушка прямо навстречу стрелявшим солдатам. Кто-то из черносотенцев, стоявших тут же с солдатами, поднял ей юбку... В нее раздались выстрелы, и она упала. Потом оказалось, что это один техник, из числа осажденных, желая спастись, переоделся в платье жены сторожа и вышел из ворот думы. Но под юбкой у него увидели брюки, и он был кончен. Другой из осажденных, студент, взобрался на крышу думы и спрыгнул оттуда во Вшивый переулок, но был убит там солдатами. Были и еще подобные жертвы.

Стреляли с обеих сторон с ожесточением. Темнело. Поэтому стреляли бесцельно, беспорядочно.

В 10 ч. вечера дума сдалась.

Мы слышали, как прекратилась стрельба, и через несколько минут к нам в квартиру раздался сильный стук. Прежде чем открыть дверь, мы отправили тех 10 — 12 товарищей, бывших у нас, в мастерскую, которая сообщалась с квартирой внутренним ходом, и расположили их на рабочем портновском «катке» вместе с рабочими, дали им в руки иголки, утюги и пр.

Все бледные, и рабочие и беглецы, из думы сидели и холодеющими руками держали орудия производства.

Я пошел отворять дверь, которую готовы были разнести.

Едва я открыл, как передо мной очутился полицейский в черной шинели с черными усами. От него пахло осенней сыростью и перегаром водки. За ним стояли еще какие-то силуэты, которых я не мог в темноте рассмотреть, да и не успел, так как городовой тут же выстрелил три раза. Пули пролетели мимо. Полицейский оттолкнул меня рукой и вошел. За ним вошли солдаты и жандармы, с дымящимися теплыми винтовками.

— Кто у вас скрывается? — спрашивал городовой.

Мы ответили, что никого нет.

Жандармы и солдаты смотрели по углам, под столами, под кроватями. Вошли в мастерскую. Городовой, увидав рабочих, обругал их крепким русским словом. Потряс в воздухе револьвером и вышел прочь. За ним последовали жандармы и солдаты.

Ночь мы провели без сна. Слышали, как поодиночке выводили осажденных из думы и отводили в тюрьму. У дверей нашей квартиры сидел отряд солдат. Ни нас, ни рабочих никуда не выпускали.

Утром к думе подошла огромная толпа черносотенцев. Опять отслужила молебен и опять пошла громить. Теперь уже погром пошел по домам

Стоном стояло в воздухе: «Бей жидов!».

К полудню патруль был снят от наших дверей, и рабочие и те, кто сошел у нас за рабочих, т.-е. 10—12 товарищей, получили возможность уйти.

В это же время в крестьянской поддевке пришел к нам мой двоюродный брат Сергей Смирнов, соц.-рев. Мы с ним решили разведать пошире, что делается в городе. Я одел поддевку нашего дневального Степки и взял у кухарки крест, одеть на шею, так как в сомнительных случаях черносотенцы прежде чем бить освидетельствовали—православный или нет. Часто крест спасал от избиений на улице. Одевшись так и повязавшись кушаком, мы вышли в бушующие погромом улицы.

Едва мы отошли от дома, как попали в самую гущу толпы босяков и торговцев, которые раз'яренно громили какой-то обувной магазин и, крича: «бей жидов», растаскивали картонки с обувью. Так как мой брат с черной головой и небольшими черными усиками смахивал на еврея, особенно в глазах толпы, когда она была об'ята погромным ражем, то его кто-то схватил за руку и развернулся, чтобы ударить.

— Я русский, — робко, весь бледный, проговорил мой брат.

— Покажи крест, сволочь!

Он показал.

— Перекрестись!

Он перекрестился.

— Читай богородицу!

Прочитал.

После ему дали подзатыльник, сказав:

— Ну, ладно, ступай.

И мы пошли дальше.

Все это нам показалось таким отвратительным, что мы решили избегать встреч с хулиганскими толпами. Однако это сделать было трудно. Громили везде.

Повидав некоторых товарищей, мы узнали ужасные вещи.

Михайлов-Двинский, соц.-дем., был убит в тот раз, когда я увидел его закачавшимся в толпе. Его сволокли в переулок и там, размотав за ноги, головой били о тумбочку. После погрома в анатомическом театре университета вместо Михайлова-Двинского лежала груда мяса и костей [1]).

[1]) Через несколько дней после погрома Василий Швалев был в магазине моего отца и имел неосторожность хвалиться о том, как он бил Михайлова-Двинского. Это слышала моя мать, которая возбудила на этом основании дело против Швалева, как убийцы. Только через год почти состоялся суд, и даже этот царский суд признал Шва-

На Рыбнорядской улице, в номерах Музурова, перерезано было много студентов. Еврейская семья, жившая на нашем дворе (Шапиро), залезла на сеновал и там в сене прожила три дня, как раз столько, сколько длился погром. Мы украдкой носили туда пищу.

Подобно тому, как прежде с утра к думе стекались митингующие, так теперь к той же думе с утра стекались пьяные босяки, торговцы, трактирщики и, благословясь молебном около памятника Александра Второго, начинали погром.

Анатомический театр наполнялся жертвами.

На третий день погрома полиция стала сдерживать погромщиков, особенно рьяных даже ловила и отправляла в участок.

После погромного трехдневника я возвратился в реальное училище к занятиям. Но занятий не было. Прежде всего на молитве хор наш, пропев все молитвы, вдруг замолчал, когда очередь дошла до пения «Боже, царя храни». Регент—классный надзиратель Лукьянов—взмахивал камертоном, но все впустую. Ученики-певчие не смотрели ему в глаза, робко жались к стене и не пели.

Нас распустили по классам. Но уроков почти не было, так как пошла полоса наших, немного запоздалых, забастовок. Форма их была большей частью такова: мы брали карбид и бросали его в чернильницы. Поднимался страшно тяжелый запах. Преподаватели обычно этим выкуривались, учеников приходилось распустить. Этой деятельностью мы, считавшие себя сознательными социалистами, привлекали на свою сторону и тех, из «камчатки», которые в забастовке видели возможность просто не заниматься, да еще похулиганить.

Впрочем, наше карбидное средство не на всех преподавателей действовало. Были такие, например, Николай Владимирович Владимиров, историк, который продолжал вести свой урок в удушающей вони и, вопреки своему обычаю открывать форточку, в эти часы просил не открывать и, ядовито на нас посматривая, говорил:

— Зачем же открывать, — я нахожу, что воздух хороший.

Тогда к карбиду мы прибавили еще второе средство: мы запирали стулом стеклянную дверь класса, которую для дополнительной крепости заставляли черной доской, забаррикадировывали партами. На черной доске мы надписывали:

«У нас забастовка! Да здравствует революция! Долой самодержавие!»

лева участвовавшим в убийстве и приговорил его к... 8 месяцам тюрьмы, с заменой тюрьмы штрафом. Швалев заплатил штраф. По этому поводу, многие рабочие, и прежде всего рабочие нашей мастерской, об'явили Швалеву бойкот: ни один портной не соглашался ему шить, обойщики отказывались итти к нему в квартиру обивать мебель. Некоторые приказчики отказывались отпускать товар. Вся эта история имеет отражение в тогдашних казанских газетах.

А сами мы, оставаясь в классе за этими баррикадами, обычно или митинговали, или пели революционные песни.

В ответ на это учебное начальство произвело некоторые исключения из школ реалистов и гимназистов. Из реального училища исключили несколько человек, в том числе и меня.

В повестке об исключении говорилось: «За участие в забастовочном движении». Эта мотивировка исключения придала мне очень большую гордость.

Вскоре после этого пришел ко мне Левин и сказал, что из деревни привезли сына Михайлова-Двинского.

— Почему это не приехал, а привезли?—спросил я.

— Крестьяне его избили так, что потом подобрали его, как мертвого, но по дороге услышали, что дышит. Он в больнице теперь. Есть опасение, что не выживет.

Старик Михайлов-Двинский, т.-е. отец убитого присяжного поверенного и дед избитого гимназиста, навещал своего внука. Через старика Михайлова-Двинского мы узнали, что гимназист начал поправляться, но все еще лежал в таком виде, что его трудно было узнать. Гимназист Михайлов-Двинский, к счастью, выжил. Что касается арестованных в думе, то их приблизительно через месяц — освободили.

И вдруг среди всех этих печальных событий словно освежающий гром грянул: мы узнали о начале декабрьского вооруженного восстания в Москве.

Я почти не выходил из мастерской и посещал собрания рабочего соц.-рев. кружка, беспрерывно толкуя о московском восстании. К сожалению, можно было только толковать, так как после разгрома нашей трехдневной коммуны, я утерял связи с Яковлевым и с другими боевыми соц.-революционерами.

Инженер, знакомый отца, член к.-д. партии, часто прибегал к отцу и говорил, всплескивая руками:

— Они, кажется, возьмут власть. Скажу вам по секрету: московский гарнизон отказался усмирять.

И вдруг в течение нескольких дней дело круто повернулось в сторону реакции.

Всплыло имя Дубасова.

В печати еще не было ничего о расстреле машиниста Ухтомского, вывезшего дружинников из Москвы, но ко мне приехал вторично возвратившийся из Москвы Бекренев. При нем был револьвер. Одет он был в дешевый короткий ватный пиджачок, с кепкой на затылке, в сапогах. Он об'явил мне, что был в числе дружинников и был вывезен вместе с ними машинистом Ухтомским. По рассказам Бекренева, он был на позиции в одной чайной около Страстного монастыря. Сам делал баррикады, перекручивал их колючей проволокой и вместе с другими стрелял по дубасовцам, которые, поддерживая свои ряды артиллерийским огнем, проносились дико из одного края Москвы в другой. Подробно о вооруженном восстании мы весь день говорили с Бе-

креневым, сидя в пустом сарае. Там молодой дружинник рисовал мне план Москвы, описывал затруднительное положение дубасовских драгун, которые иногда не могли одолеть баррикады, за которыми было не больше 10—12 дружинников. На мой вопрос, партийный ли он, Бекренев ответил, что он по-прежнему свободен от партий, но что он с домом распрощался навсегда и теперь отдал себя революции. По его словам, революция еще не проиграна и что сейчас начнутся аграрные беспорядки, в которых он, Бекренев, хочет тоже принять участие. Я не смел ему рассказывать о казанском вооруженном восстании, так как все, что он рассказывал мне про Москву, было настолько чудесно и огромно, что я почел за благо молчать о казанских подвигах. Однако я признался ему, что я тоже дружинник.

Бекренев, потихоньку от моего отца, поселился у нас на квартире. Мать моя ухаживала за ним как за сыном. Мы с ним ездили за город учиться стрелять в цель «на случай восстания». А приблизительно через месяц Бекренев уехал в Пензенскую губернию участвовать в аграрных восстаниях. С тех пор Бекренева я больше не встречал на своем жизненном пути.

Внутренняя секреция и эволюция [1]).

Б. Завадовский.



I.

Формообразовательное значение желез внутренней секреции.

До сих пор мы имели дело с фактами, касающимися, главным образом, б о л е з н е й человеческого тела и близких к нему млекопитающих животных. Это совершенно понятно, так как естественно, что исторически человек прежде всего интересуется своим собственным телом, условиями его здоровья и болезней.

Неудивительно поэтому, что учение о внутренней секреции раньше и прежде всего заинтересовало врачей, которые получили с его помощью ключ к пониманию болезненных явлений в теле человека. И когда первоначально ученые исследователи ставили свои опыты с удалением органов внутренней секреции у животных, то основной целью этого было изучить на животных именно те явления, которые наиболее близко и глубоко пояснят законы и механизмы, действующие в человеке же.

Поэтому же все первые опыты над органами внутренней секреции делали на животных млекопитающих, которые стоят по своему развитию наиболее близко к человеку, т.-е. на собаках, кошках, обезьянах, кроликах, козах или морских свинках и т. д.

Эти-то опыты и позволили нам накопить богатый материал, поясняющий значение органов внутренней секреции для здорового и больного тела.

Но по мере накопления этих фактов естественно вставал вопрос, имеются ли органы внутренней секреции и у других животных, какое они имеют значение для них и как те же вытяжки из эндокринных органов станут действовать на низших позвоночных вроде рыбы или земноводных.

Именно такие опыты были поставлены в 1911—1912 годах американским ученым Гудернатчем, и эти работы открыли совершенно новую главу в учении о внутренней секреции.

---

[1]) Статья представляет собою переработку двух глав подготовленной к печати книги: «Что такое внутренняя секреция?».

Гудернатч заинтересовался вопросом, как должны влиять разнообразные железы внутренней секреции на развитие головастиков обыкновенной лягушки. При этом он обнаружил замечательный факт, что если головастикам лягушки прибавлять в пищу немного щитовидной железы, взятой от любого из животных, то головастики ускоренным темпом в течение одной или двух недель теряют хвост и жабры, у них отрастают ноги, и они превращаются в маленьких лягушат, в то время как их родные братья, живущие на обыкновенном корму, долго еще ведут жизнь головастиков. Таким образом выяснилось, что щитовидная железа действует резко ускоряющим образом на метаморфоз головастиков в лягушек, и с ее помощью можно заставить головастиков совершить свое превращение на 1—2 месяца раньше нормального срока. Наоборот, кормление зобной железой вызывает у головастиков усиленный рост, но превращение даже затягивается, а в иных случаях такие головастики на всю жизнь остаются в личиночном состоянии.

Этот факт, естественно, вызвал всеобщий интерес, и сейчас же появилось огромное количество дальнейших опытов в этом направлении, тем более, что опыт этот сам по себе чрезвычайно прост и легко осуществим. Рядом научных работ сообщение Гудернатча было подтверждено, и теперь является фактом общепризнанным, что щитовидная железа дает безошибочный способ превратить головастика в лягушку, когда этого захочет экспериментатор.

Но еще интереснее оказалось следующее: у головастиков также найдена своя щитовидная железа; и вот, если у нормального головастика у д а л и т ь путем операции его собственную щитовидную железу, то оказалось, что он на всю жизнь остается головастиком, никогда не превращаясь в лягушку. Но и такого головастика можно заставить превратиться, если его накормить щитовидною железою или же всадить ему железку из другого головастика. Таким образом оказывается, что щитовидная железа есть не только средство у с к о р и т ь наступление метаморфоза, но и н е о б х о д и м о е у с л о в и е, без которого вообще превращение невозможно.

Но раз так, то, следовательно, нужно заключить, что в щитовидной железе мы нашли орган, который имеет специальное отношение к тем сложным процессам, которые происходят в теле головастиков при превращении их в лягушку, и, следовательно, это есть орган, управляющий ф о р м о о б р а з о в а н и е м в теле лягушки.

Но если так, то не поможет ли нам щитовидная железа понять ряд других явлений в природе, которые до тех пор представляли для нас нечто мало понятное и не поддающееся об'яснению.

Одним из таких примеров является оригинальное животное, завезенное лет сто назад в Европу из Мексики, которое разводят в комнатных аквариумах многие любители. Это животное называется а к с о л о т л е м.

Аксолотль принадлежит к классу земноводных, или амфибий, куда относится и лягушка, и по виду напоминает собою крупного головастика лягушки, достигая размером до 20—25 сантиметров в длину. Но он всю жизнь остается в воде, сохраняя рыбообразные плавники и наружные жабры и в таком виде мечет икру и размножается в аквариумах. Между тем, по всему

его виду и внешним признакам можно было заключить, что аксолотль, подобно головастикам, представляет из себя личинкообразную форму какого-то земноводного, похожего на саламандру, которое способно выходить на сушу и дышать легкими. И, действительно, в той же Мексике, откуда происходит аксолотль, имеется такая саламандроподобная форма, носящая имя амблистомы и представленная там несколькими видами.

Предполагалось, что аксолотль представляет собою головастика одного из видов такой амблистомы. Но по каким-то причинам он потерял способность превращаться в наземную форму и потому на всю жизнь остался личинкой. Такие личинкообразные животные, обладающие, однако, способностью к размножению, известны науке и в нескольких других случаях и носят название «неотенических» форм, а самое явление это названо «неотенией».

Уже с начала прошлого столетия, когда аксолотли впервые попали в Европу—в Парижский Ботанический Сад, ученые стремились проверить эти предположения и добиться каким-либо способом превращения аксолотля в легочнодышащую и наземно-живущую амблистому.

Эта задача впервые удалась в 1865 году ученице Вейсмана — Марие де-Шовен, которая путем крайне терпеливого ухода и постепенного выведения аксолотлей во все менее влажный мох добилась того, что они действительно превратились в амблистом, потеряв совершенно жабры, плавники и другие приспособления для постоянной жизни в воде.

Этот опыт доказал с несомненностью правильность взгляда на аксолотлей, как на личиночную стадию амблистом. Но самый способ, примененный Марией де-Шовен, оказался крайне хлопотливым и неверным, так что многочисленные попытки других ученых получить амблистом по ее способу не давали с тех пор ни разу бесспорных результатов. Кроме того, немалое число аксолотлей при таких опытах погибало, не дав ожидаемого превращения.

Таким образом со времени Марии де-Шовен вопрос о механизме превращения аксолотля в амблистому и причины того, почему же они нормально никогда не превращаются сами, так и оставался неясным и неразрешенным, и даже самый опыт Марии де-Шовен за давностью времени стал забываться и интерес к нему ослабел.

И вот опыты Гудернатча, показавшие крайне ответственное значение щитовидной железы во всех явлениях метаморфоза головастиков лягушки, вновь пробудили интерес к забытому вопросу и вызвали предположение: а нельзя ли заставить аксолотля превратиться в амблистому, если накормить его щитовидной железой. Этот опыт был впервые испробован австрийскими учеными Бабаком и Лауфенбергом еще в 1913 году и дал полный успех: аксолотли под влиянием щитовидной железы безошибочно и неуклонно превращаются в амблистом. Несколько позже, но независимо от австрийских ученых, в 1917—1919 годах тот же опыт был проделан и с тем же успехом в Москве Кольцовым и Бурдаковой и в Питере Крестовниковым и Павловским. С 1920 года по этим вопросам стал работать совместно с Е. В. Умано-

вой-Завадовской, а потом и с другими сотрудниками и автор этой книги, и с тех пор мы получили уже свыше несколько сот амблистом путем воздействия щитовидною железою. При этом выяснилось, что кормление щитовидной железою требует осторожности, так как при перекорме ею аксолотли гибнут, не дожив до полного превращения. Поэтому мы стали искать способов более легкого и осторожного действия щитовидной железы на аксолотлей и вскоре обнаружили, что для такого превращения нет необходимости кормить аксолотля железою, а достаточно просто бросить в воду, в которой сидят аксолотли, некоторое количество сушеной щитовидной железы. Была найдена такая концентрация (0,1 грамма сушеного порошка Пеля или Феррейна — на 1 литр воды), при котором удается без угрозы для жизни аксолотлей и безошибочно в течение 1—1½ месяцев любого аксолотля превратит в амблистому.

Уже после того в 1922 году, когда со снятием блокады к нам были вновь получены заграничные журналы, мы узнали, что и там некоторые ученые (Ромеис в Германии, Свингли в Америке) так же точно пользуются и на головастиках лягушки и на аксолотлях тем же методом концентрации, а не кормлением.

Подобные опыты не оставляли больше никакого сомнения, что аксолотль потерял нормальную способность превращения в амблистому в силу какого-то дефекта, повреждения или отсутствия собственной щитовидной железы. Первоначально предполагали,—так думал и у нас Н. К. Кольцов,—что у аксолотля совершенно нет щитовидной железы. Но это оказалось неверным. В последние годы Свингли в Америке и Е. М. Вермель в нашей лаборатории доказали, что щитовидная железа у аксолотлей есть, но она очень мала и недоразвита и, повидимому, в связи с этим не оказывает должного влияния на метаморфоз. Поэтому необходимо, чтобы извне было введено в тело аксолотля это недостающее вещество — гормон щитовидной железы, без которого невозможен метаморфоз.

При этом выяснилось, что пригоден любой способ введения гормона щитовидной железы от любого животного для получения этого результата. Мы в своих опытах,—совместно с Т. П. Ролич, Новиковой и другими—кроме кормления и метода концентрации, брали просто щитовидные железы от кроликов, собак, кур, голубей, морских свинок, кошек и т. д. и пересаживали их аксолотлям в полость тела, и во всех случаях мы безошибочно получали метаморфоз.

Возникает теперь вопрос, каким образом и помощью каких механизмов происходит этот процесс превращения под влиянием щитовидной железы.

Некоторые ученые предполагали простой механизм этого влияния, сводя явления метаморфоза к усиленной потребности в кислороде, которую испытывает аксолотль под влиянием щитовидной железы. Таким же образом, предполагали они, можно заставить аксолотлей проделать превращение, лишая кислорода, например, воду, в которой они живут. Тогда, по их предположению, как и в случае опыта Марии де-Шовен, испытывая недостаток в кислороде воды, аксолотли должны перейти на легочный тип дыхания и, сле-

довательно, превратиться в амблистом. Но это предположение фактически неверно, так как уже указано—никому достоверно не удалось повторить этот опыт Марии де-Шовен. Такие попытки делали и мы, но, несмотря на содержание аксолотлей в течение месяцев во влажном мхе, никакого превращения не получено. Другая наша сотрудница Е. Е. Беллонина держала таким же образом аксолотлей в прокипяченой перед тем воде и, следовательно, свободной от кислорода и опять-таки безрезультатно.

Кроме того, Абелин, вначале поддерживавший это мнение, в прямых опытах показал, что во время метаморфоза аксолотли м е н ь ш е поглощают кислорода, чем в обычное время.

Поэтому вряд ли дело сводится к такому простому механизму. Правильнее здесь предполагать два других механизма, которые, вероятно, связаны каким-либо образом между собою.

1. Щитовидная железа усиливает автолитические и фагоцитарные процессии. Между тем, процесс метаморфоза состоит в значительной мере в том, что в теле аксолотля происходит усиленная резорбция, т.-е. «самопереваривание» и рассасывание ряда нужных ему ранее, но теперь бесполезных органов: плавников, жабр и т. д. Этот процесс несомненно происходит путем: 1) фагоцитоза и 2) анализа, т.-е. растворения и переваривания, под действием ферментов, тканей, из которых состояли эти органы Можно думать, что отсутствие щитовидной железы приводит к тому, что эти процессы автолиза и фагоцитоза или совершенно затихают, или же протекают настолько медленно, что метаморфоз становится невозможным; 2) с другой стороны, возникает и другой вопрос: в силу каких механизмов щитовидная железа способствует ускоренному развитию тех новых органов, которые появляются у лягушки — и в первую очередь конечностей.

Повидимому, и это явление можно свести к более простому и общему механизму. Щитовидная железа оказывает, видимо, общее ускоряющее влияние на все жизненные процессы, в том числе и на обмен веществ во всех клетках тела, а следовательно, и на клеточное деление. Тот факт, что вытяжки из щитовидной железы ускоряют деление клеток, непосредственно доказан опытами Карреля, который ставил эти опыты с разработанной им методикой культур тканей вне организма. Прибавляя к питательной среде, в которой они воспитывали свои ткани, сок щитовидной железы, Каррель и его сотрудники непосредственно под микроскопом наблюдали более быстрое деление и размножение этих клеток.

Отсюда можно заключить, что щитовидная железа не только способствует аутолизу и резорбции (рассасыванию) тех или иных тканей, но и что в других условиях она способна, наоборот, ускорить и усилить размножение клеток и таким образом ускорить образование новых органов у растущей личинки.

Если это так, то тогда щитовидная железа должна влиять не только на превращение аксолотля в амблистому, но и на других стадиях развития того же аксолотля.

Для проверки этого предположения, мы совместно с Е. В. Завадовской подвергли действию растворов щитовидной железы очень молодых аксолотиков и даже самую икру, только что выметанную аксолотлями. При этом получены были крайне интересные результаты, которые, повидимому, полностью подтверждают наше предположение.

Опыты над влиянием щитовидной железы на икру рыб и лягушек ставил еще Гудернатч, но он не получал никаких отчетливых результатов. После того такие опыты ставил немецкий ученый Ромеис, — он при этом наблюдал появление ряда уродств из выводящихся из такой икры головастиков, но он не наблюдал, чтобы щитовидная железа ускоряла развитие икры.

Мы на икре аксолотлей первоначально получали сбивчивые результаты — в одних случаях нам казалось, что прибавление к воде, в которой содержалась икра, порошка щитовидной железы ускоряет выход мальков из икры, в других же случаях получалась даже задержка в развитии икры. При внимательном рассмотрении оказалось, что особенная задержка получалась в жаркие дни, когда порошок быстро загнивал и, следовательно, икра испытывала недостаток в кислороде, который существенно необходим для развития икры. И, наоборот, намеки на ускорение получены были в опытах, которые мы вели зимою при менее сильном загнивании раствора. И, действительно, после того, как мы стали ежедневно менять растворы, в которых содержалась икра, и тем исключили влияние загнивания, мы получали всякий раз — теперь уже независимо от времени года — явное ускорение в развитии икры, при чем ускорение было тем сильнее, чем больше была (до известного предела) концентрация щитовидного гормона.

Таким образом подтвердилось, что щитовидная железа имеет отношение не только непременно к процессу метаморфоза, но и вообще действует ускоряющим образом на процессы деления клеток и дробления яйца.

Не менее интересные явления наблюдались, если аксолотиков с самого момента выхода их из икры продолжать держать в растворах щитовидной железы. У них прежде всего наблюдается крайне раннее отрастание передних, а затем задних ножек, что опять-таки говорит об ускорении процессов роста и размножения клеток, из которых состоят зачатки конечностей.

Но такое раннее развитие не проходит даром: большинство таких аксолотиков погибает, и лишь немногие превращаются в миниатюрных, никогда до сих пор не виданных, амблистомок, всего в 4, 2 и даже 1 сантиметр в длину. Наконец, у остальных наблюдается интересный «разнобой» в развитии отдельных органов тела, что приводит к образованию своеобразных уродцев довольно правильно повторяющегося типа.

Получаются укороченные уродливые существа, несущие смешанные признаки аксолотля и амблистомы: жабры у них сохраняются, форма тела еще более неуклюжа, чем у аксолотля, но одновременно плавники значительно и даже почти совсем исчезают, голова напоминает более амблистому, чем аксолотля, на коже появляются пятна, типичные для амблистом, а также выпячиваются глаза.

Совершенно необычна нижняя челюсть, которая выпячивается вперед наподобие черпака и прикрывает спереди верхнюю челюсть настолько, что рот оказывается обращенным кверху, а глаза — над самым ртом.

Интересно также то, что такие более или менее изуродованные полуаксолотли полу-амблистомы так и не превращаются обыкновенно полностью в амблистом. Получается впечатление, что раз нарушенное равновесие в темпе развития отдельных частей организма уже лишает последний возможности вернуться к нормальному состоянию. А все эти факты указывают на то, что в случаях, когда ускоряющее влияние щитовидной железы прикладывается к организму, еще не созревшему для нормального метаморфоза, это влияние сказывается неравномерно на развитии разных органов, и эти последние начинают расти «кто в лес, кто по дрова». В итоге один орган обгоняет в своем развитии другой, и получаются уродцы, которые не способны надолго сохранить жизнеспособность и рано или поздно погибают. Погибают также и наши миниатюрные амблистомики, упомянутые выше. Хотя они и прошли внешне вполне благополучно и в полном равновесии свой метаморфоз, но, очевидно, внутри в них имеются какие-то неуловимые из'яны, лишающие их жизнеспособности.

Все эти факты заставляют видеть в щитовидной железе какой-то почти универсальный агент, действующий ускоряющим образом на все клеточные процессы в организме и притом, как на разрушительные, связанные с процессами аутолиза и фагоцитоза в уже отработавших тканях, в которых организм больше не нуждается, так и на созидательные процессы в виде ускорения деления и размножения клеток. Можно думать, что и самый процесс метаморфоза, протекающий у амфибий под контролем щитовидной железы, сводится к тому же ускоряющему влиянию ее на обмен веществ и на все клеточные процессы.

II.

Значение щитовидной железы у птиц.

Все эти факты, указывающие на ответственную роль щитовидной железы у земноводных животных, подтвержденные опытами на головастиках жаб, тритонов и других амфибий, привлекли к себе усиленное внимание. Естественно, возникал вопрос, не придется ли обнаружить что-либо подобное и на других группах позвоночных животных. Исходя из этих соображений, я предпринял в 1919 году опыты с кормлением щитовидной железой кур и действительно открыл ряд интереснейших явлений, которые представляют, как я уверен, не меньшее значение, чем то, что известно было ранее для амфибий.

Основные результаты кормления кур щитовидной железою совпадают с тем, что было уже ранее известно для млекопитающих: у кур резко усиливается обмен веществ, они худеют, повышаются аппетит и жажда, появляются поносы, повышается нервная возбудимость и т. д.

Но на-ряду с этим обнаружены и другие симптомы, обратившие на себя наше исключительное внимание: уже через 7—8 дней после начала кормления

птица начинает усиленно терять свои перья настолько, что оголяется до полной потери всего оперения. Взамен выпавших перьев отрастает новое перо, но теперь взамен ранее окрашенных перьев—черных, красных и т. д.— растет чисто белое перо или же перо ослабленной, как бы разжиженной окраски с большим количеством белых пятен.

В конце концов вместо чисто черных, красных или голубых кур вы видите перед собою как бы поседевших рябых птиц. Эти явления можно наблюдать на курах в любое время года, при чем с одинаковым успехом я пользовался, в зависимости от обстоятельств как свежими железами быков, овец, свиней или лошадей, так и всевозможными сушеными аппаратами. Вначале для этой цели приходилось прибегать к хлопотливому и обременительному для экспериментатора ежедневному кормлению, но затем было выяснено, что такой же результат экспериментальной линьки и депигментации пера можно получить, если дать курице лишь одну, но большую, или—как я ее назвал—«разовую», дозу щитовидной железы.

Именно с этой новой методикой я продолжил свои исследования и перенес их на других птиц, при чем до настоящего времени мне удалось получить те же явления линьки и депигментации на голубях, скворце, галке, снегире, гусе, утках и на павлине.

Начиная с 1922 года, те же явления описаны независимо от нас, но в менее подробном виде, и некоторыми иностранными авторами — итальянцем Джиакомини на курах, румыном Пароном на утках, а в России в 1924 году такие же наблюдения сделаны в Казани Сырневым в лаборатории профессора Миславского.

До настоящего времени я имел уже до двухсот таких безошибочно повторяющихся наблюдений на курах и несколько десятков опытов на других птицах. При этом обнаружены у некоторых птиц известные отклонения от явлений, установленных ранее на курах. Так, у кур после дачи им щитовидной железы отрастают на общем побледневшем и как бы выцветшем фоне оперения перья с совершенно белыми пятнами. У голубей же белые пятна появляются лишь на самом краю «опушений» перышек, но резко выявляется, главным образом, общее «разжижение» и побледнение окраски. Наоборот, линька у них наступает чуть ли не еще более обильная, чем у кур. У галок, наоборот, линька достигается с большим трудом и ни разу не была получена обильной.

Наконец, уже на курах после применения разовых доз я заметил, что вновь отросшее оперение оказывается значительно мягче и нежнее на ощупь, чем было до кормления. Это заставило предположить, что здесь имеет место изменение самой структуры пера. Это предположение получило полное подтверждение в нашем опыте с павлином: дело в том, что у павлинов яркая окраска пера и ее металлические переливы об'ясняются не присутствием какой-либо краски, а чисто структурными особенностями пера, которые обусловливают сложные отражения лучей спектра, или так называемую «иризацию», подобно тому, как мы видим все цвета радуги на тонких стенках мыльного пузыря. Оказалось, что после потери первоначального яркого опе-

рения, под влиянием разовой дозы щитовидной железы, наш павлин-самец оделся в однообразное серое оперение. Это указывает на резкие изменения структуры всего пера.

Таким образом, не вдаваясь в подробности наших дальнейших исследований над этим вопросом, можно признать бесспорным факт весьма тесного отношения щитовидной железы к этим процессам роста, строения, окраски и самой смены пера у птиц. Можно было бы предположить, что здесь дело сводится не к влиянию гормона щитовидной железы самого по себе, но или к мясному питанию, или же к общим признакам отравления птицы. Но я специально кормил контрольных кур мясом в дозах гораздо больших, чем получали щитовидной железы подопытные куры, но ничего подобного описанному для кормления щитовидною железою кормление мясом не дало.

С другой стороны, приходится видеть кур, погибших от самых разнообразных болезней, но никогда это не ведет к ослаблению и потере пера, как это дает щитовидная железа.

Таким образом несомненно, что здесь дело сводится к специфическому влиянию щитовидной железы и что между нею и оперением существует крайне тесное соотношение и связь.

Возникает вопрос, каков характер этой связи и какие выводы вытекают из наших исследований?

Пока еще трудно обозреть все те перспективы и возможности, которые дадут нам будущие исследования в этом направлении, но уже сейчас есть все основания предполагать, что щитовидной железе и в нормальной жизни птиц принадлежит видная роль выявления нормальной ежегодной смены пера. Можно думать, что ежегодная осенняя нормальная линька у кур совпадает с усилением секреции щитовидной железы.

Подтверждением этому служат следующие факты: ряд авторов отмечает, что осенью у многих животных происходят изменения в деятельности щитовидной железы. Так, немецкий ученый Лео Адлер нашел, что у тех животных, которые впадают на зиму в спячку, щитовидная железа с осени атрофируется и, повидимому, перестает функционировать. Наоборот, американцы Зейдель и Фенгер нашли у быков и свиней, как известно, не впадающих в спячку, что у них осенью и зимою в щитовидной железе содержится в 2—3 раза больше иода, чем весною и летом. А так как—как увидим ниже—иод является существенной частью гормона щитовидной железы, то отсюда вытекает, что осенью у многих животных щитовидная железа работает активнее, чем летом. Равным образом, Кэннон, пользуясь другой методикой—влиянием щитовидной железы на биение денервированного сердца, пришел к выводу о значительно большей активности щитовидной железы осенью и зимою у кошек и собак. Итак, хотя мы еще не имеем точных данных, касающихся активности щитовидной железы в зависимости от времени года у кур, но, по аналогии с млекопитающими, можно предположить, что и у них линька вызывается или сопровождается повышением активности щитовидной железы и что таким образом щитовидная железа является одним из

механизмов, управляющих у птиц таким сложным процессом, как смена пера.

Интересно было также уяснить себе механизм влияния щитовидной железы на пигмент пера. Известен факт, что у кур и у других птиц белые перья легко появляются после выщипывания или выдергивания пера просто от руки, и таким образом можно было ожидать, что описанные нами явления депигментации являются лишь вторичным явлением, но не зависят непосредственно от прямого влияния гормона щитовидной железы. Поэтому и этот вопрос я подверг специальной проверке. Для этой цели я ощипывал у чисто черных кур перья в определенных местах тела (под крылом и на голени) и часть из них кормил щитовидной железой, а другую оставлял под контроль. Оказалось, что в первом случае росли белые перья, а во втором— черные. Когда же я одной из контрольных куриц, которая перед тем раза два отращивала черные перья, всадил под кожу собачьи щитовидные железки, то и у нее отросли белые перья. Наконец, я взял двух чистопородных кур— одного лангшана и одну минорку — и ощипал их догола от руки, не давая им щитовидной железы: у них отросло чисто черное оперение лишь с двумя-тремя белыми пятнами на маховых перьях, что совершенно несравнимо с тем побелением, которое получается при кормлении щитовидной железой.

Поэтому можно считать несомненным, что и к процессу образования пигментов пера щитовидная железа имеет какое-то прямое и тесное отношение, и таким образом и здесь она является важным винтиком в жизни и образовании оперения птицы.

Поэтому я склонен даже допускать обратное положение: когда мы видим, что у одноцветной птицы появилось белое перо, то возникает у нас предположение — нельзя ли это об'яснить тем, что в момент роста этого пера у птицы имело место временное возбуждение и повышение деятельности щитовидной железы.

И совершенно ясно, что, если удастся, как мы в этом уверены, в будущем доказать это тесное отношение щитовидной железы к явлениям образования и окраски пера, то это будет означать, что мы найдем один из тех винтиков, который управляет образованием и формы, т.-е. внешних признаков у птиц, точно так же, как мы нашли эту пружинку в щитовидной железе для процесса метаморфоза у амфибий.

Но если так, то мы начинаем совершенно другими глазами смотреть на роль и значение щитовидной железы и других желез внутренней секреции.

До сих пор мы изучали их под углом зрения их влияния на здоровье и болезни человеческого тела, и поэтому долго учение о внутренней секреции интересовало по преимуществу только врачей. Но теперь мы начинаем понимать, что железы внутренней секреции являются теми винтиками и пружинками, которые определяют весь внешний облик нормального животного (т.-е. нашли в них те внутренние факторы формообразования, которые на-ряду с влиянием внешних условий определяют и индивидуальные особенности, а быть может, и видовые признаки животных).

Под этим углом зрения мы можем теперь вернуться к уже известным нам фактам болезней внутренней секреции и понять, что кроме резких болезненных случаев гигантизма, кретинизма, ожирения и т. д., которые уродуют наше тело до потери человеческого подобия, мы можем предположить, что существуют и такие промежуточные случаи, стоящие между нормой и патологией, которые зависят от частичного и слабого повышения или понижения деятельности той или иной железы внутренней секреции.

Наконец, идя дальше, мы можем думать, что и в пределах нормы человеческой мы можем искать преобладания той или иной железы, которая определяет характер строения, внешний вид, сложение данного человека, т.-е. то, что принято называть теперь конституциональным типом человека, а вместе с тем это предопределяет и его предрасположение к тому или иному типу заболеваний и т. д. Именно так мы теперь научаемся понимать те описанные нами выше спазмофилический или лимфатический типы, которые могут дать все ступени, начиная от прямых острых болезней, вроде тетании и зобной астмы и т. д., и все переходы к нормальному состоянию человека, который обнаруживает лишь легкие черты строения, заставляющие подозревать, что у него не в порядке околощитовидные или зобная железа. Точно так же не в праве ли мы предположить, что, быть может, и колебания в росте среди нормальных людей зависят от большей или меньшей активности их гипофизов, так как ведь и здесь мы никогда не сможем провести резкую черту, разделяющую уродливый гигантизм от просто высокого человека, или сказать, где кончается низкий рост человека, и мы должны говорить о карликах.

Так, начав с изучения явно болезненных состояний и уродств, которые получили свое полное об'яснение как результат гипер- или гипо-функции того или иного эндокринного органа, мы подошли к такому положению, когда начинаем думать, что эти же органы сослужат нам не малую службу и в понимании причин и механизмов, определяющих нормальное сложение, признаки и отличия животных друг от друга.

А раз так, то с этого момента учение о внутренней секреции перестает быть только медицинской, клинической, наукой, но становится учением общебиологическим, ибо оно дает нам в руки возможность разрешить уже чисто биологические вопросы о внутренних факторах формообразования, выявляющих возможные причины тех изменений и отклонений, которых так искал Дарвин и его продолжатели для об'яснения всего процесса эволюции органического мира.

Просмотрим же вкратце те основные факты и выводы, которыми уже сейчас обладает эндокринология или которые можно предложить на основании имеющегося материала.

Мы уже упоминали о возможном влиянии передней доли гипофиза на определение нормального роста человека. Но мы знаем, что, кроме гипофиза, к росту имеют отношение также и другие железы внутренней секреции, в особенности щитовидная и зобная, а равно и половая железы. Естественно возникает необходимость изучить подробно влияние на рост каждой из этих

желез в отдельности, чтобы потом точно установить долю участия их в определении роста и всей формы данной особи животного или человека. Несомненно, что этим задача значительно усложняется, но зато разрешение ее обещает нам сделать ясным до конца все особенности и причины, которые управляют ростом и развитием нашего тела.

В связи с этим не безынтересно вспомнить, что уже Гудернатч указал, что кормление головастиков зобной железою задерживает превращение их в лягушек, но сильно способствует их росту. Равным образом есть указание, что и кормление гипофизом дает увеличение роста и даже гигантских аксолотлей и амблистом.

Такие же соображения можно высказать и по поводу роли эндокринных желез в отложении жира. Наиболее близкое отношение сюда имеет задняя доля гипофиза, но, несомненно, здесь принимают участие также и щитовидная железа и половая, а быть может, и некоторые другие железы. А если мы учтем, какое значение имеет подкожный жир в определении всех форм и линий человеческого тела, то и здесь мы сталкиваемся с тем, что носит общее название «формообразовательного» значения желез внутренней секреции.

Интересна зависимость окраски животных от влияния эндокринных желез. Уже Гудернатч и другие авторы указывали, что кормление гипофизом придает головастикам более темную бархатистую окраску; такое же явление я наблюдал в работах совместно с М. А. Новиковой-Смирновой на аксолотлях, которым мы всаживали в полость тела гипофизы из кур, морских свинок или собак.

Наоборот, Мак Корд наблюдал на головастиках при скармливании им верхнего придатка мозга или эпифиза уже через несколько минут почти полное побеление всего тела, правда, скоро проходящее.

Сходное, но более длительное влияние оказывает на окраску амфибий мозговое вещество надпочечников.

Как известно, окраска у этих животных зависит от присутствия в коже особых пигментофоров—разветленных клеток, содержащих большое количество красящего вещества. Эти клетки легко могут сжиматься, втягивая в себя все свои отростки или, обратно, расширяться, в зависимости от внешних раздражений, и в связи с этим находится способность многих животных быстро изменять свою окраску.

Ярким примером этого может служить хамелеон, а также другие пресмыкающиеся, амфибии и рыбы, изменяющие, например, свою окраску в зависимости от цвета дна и т. д. И вот оказывается, что гормон мозгового вещества надпочечников имеет очень сильное влияние на пигментофоры, вызывая их сжатие и, следовательно, побледнение кожи. Таким образом достаточно прибавления очень небольшого количества адреналина к воде, чтобы сидящие в ней головастики стали почти белыми. Тот же результат был получен нами совместно с И. М. Перельмутер и Е. В. Завадовской при всаживании в аксолотлей кусочков надпочечников из кур, морских свинок, кроликов и других животных.

Естественно после всего этого предположить, что нормальная смена окраски у всех таких животных в зависимости от цвета почвы, листвы или освешения происходит при близком участии желез внутренней секреции, активность которых изменяется в зависимости от того раздражения, которое испытывает глаз животного в условиях того или иного освещения. Ибо известен факт, что камбалы, хамелеон и другие животные теряют способность менять окраску после их ослепления.

Еще более яркий пример формообразовательного влияния дают половые железы, которыми определяются от начала до конца все признаки, обусловливающие окраску, строение и всю форму самца или самки, как это изучено в работах Штейнаха и особенно М. Завадовского.

Возвращаясь теперь вновь к щитовидной железе, я не вызову удивления, если скажу, что все явления, открытые мною на курах, заставили меня задуматься над тем, не играет ли этот орган сходной роли и в окраске и росте шерсти и волос у млекопитающих животных.

Для этой цели мы предприняли опыты с кормлением щитовидною железою совершенно черных морских свинок. При этом с полной ясностью прежде всего выявилась обильная потеря шерсти, но этот факт и раньше был известен на собаках и других животных, хотя на него и не обращали ранее должного внимания.

Что касается поседения, то вопрос остался неясен. Дело в том, что у морских свинок, как и у всех млекопитающих, самый процесс роста шерсти и смены отдельных волосков и, наконец, самый характер распределения пигмента в волосах, почти белых у основания и чернеющих, по мере роста, к верхушке — таковы, что здесь представляло большие трудности решить вопрос, хотя не раз у нас являлось подозрение, что мы имели картину частичного поседения. Но в общем все же мы должны считать этот вопрос нерешенным и ищем в настоящее время дальнейших способов уточнить и решить его окончательно.

Таким образом мы пока можем утверждать лишь, что щитовидная железа влияет на выпадение волос подобно тому, как это имеет место у кур.

Замечательно также, что уже давно разными авторами было отмечено также и влияние щитовидной железы на самое строение шерсти у некоторых животных. Так, Эйзельсберг отмечал еще лет 20 назад, что удаление щитовидной железы у коз и овец ведет к появлению более мягкой и густой шерсти. Если теперь вспомнить указания многих врачей, что у базедовых больных часто наблюдается раннее облысение и поседение волос, то можно с большой уверенностью утверждать, что и у млекопитающих, подобно птицам, щитовидная железа имеет тесное отношение к обволосению и окраске этих волос.

Если мы теперь вновь обозреем все сообщенные уже факты, то получаем интересную и очень поучительную картину: на протяжении всего типа позвоночных животных щитовидная железа находится в тесной связи с кожными покровами и оказывает на них, а следовательно, и на всю «форму» животного глубокое и ответственное влияние. Ведь и у амфибий процесс

метаморфоза протекает в форме повторных, следующих друг за другом, линек, при чем резко изменяется как строение, так и окраски кожи. Кожа амблистомы совсем не та кожа, которую имел аксолотль — она блестящая, гладкая и тонкая, а у аксолотля более толстая и грубая, покрыта слизью и слегка бугристая, неровная. Равным образом у птиц линька сопровождается сильным шелушением всей кожи, и та же картина имеет место у млекопитающих. Наоборот, удаление щитовидной железы ведет к уплотнению и погрубению кожи, что особенно заметно у человека, собак, кроликов и других млекопитающих.

Но и на курах мною была проделана эта операция, при чем одна курочка, удачно прооперированная, дала сильные изменения в структуре пера и замедленный рост перьев.

Мы еще находимся лишь в начале исследований в этом направлении. Но именно потому мысль, возбужденная уже сделанными наблюдениями, забегает вперед и ставит новые волнующие вопросы.

Нельзя ли, например, предположить, что если щитовидная железа играет такую ответственную роль в явлениях линьки у птиц или зимней спячки у сурков, сусликов и др. животных, что она имеет какое-то отношение также и к явлениям так называемого сезонного диморфизма.

В самом деле известно, что осенью многие животные линяют, при чем зимний мех приобретает иную, более бледную или даже белоснежную, окраску. Но, ведь, если на курах именно щитовидная железа повышением своей активности вызывает линьку и поседение, то не может ли то же самое происходить в теле белой куропатки, полярной совы, песца или горностая, когда они сменяют на зиму свой бурый мех на белый. А если так, то нельзя ли ожидать, что если у песца, белки и т. д. удалить их щитовидные железы, то они потеряют способность к линьке или к смене окраски меха.

Продолжая наши предположения, нельзя ли ожидать, что деятельность тех или иных желез внутренней секреции поможет нам еще в дальнейшем об'яснить некоторые типовые особенности, отличающие одни группы и виды животных от других.

Так, например, когда мы смотрим на малоподвижную, неповоротливую фигуру щенка, потерявшего щитовидные железки, с его отвислым животом, отечной толстой кожей и тупым взглядом, то нам невольно приходит на память сравнение с вялыми жвачными, вроде коровы или овцы, или с грызунами, вроде кроликов или морских свинок с ненормально отвислыми животами. Равным образом вспоминается нам, что аксолотли и головастики также имеют неуклюжее, одутловатое, отечное тело, которое сменяется на более стройное, коль скоро они превращаются в амблистому или лягушку.

Наконец, замечательно и то, что у травоядных вообще удаление щитовидной железы сказывается менее резко и заметно на их внешнем виде, чем у хищников — собак или кошек. Не потому ли это, что у травоядных вообще щитовидная железа менее активна, и именно в этом лежит причина более гибкого и легкого телосложения хищников, в то время как траво-

ядное уже в норме мы в праве рассматривать, как животное с природной гипофункцией щитовидной железы.

Интересно, что такое предположение находит себе подтверждение и в том факте, что в мясе содержатся гораздо большие количества одного из тех исходных веществ, из которых строится гормон щитовидной железы, чем в растительной пище.

Но, конечно, необходимо давать себе полный отчет, что развернутые нами на последних страницах соображения являются пока лишь смелыми фантазиями и рабочими гипотезами, которые дают направление мыслям и научным работам исследователя, но которые далеки от своего полного разрешения. В частности, автор этой книжки уже делал попытки совместно с сотрудниками определить сравнительную активность щитовидных желез хищных и травоядных животных путем всаживания разных кусочков этих желез в аксолотлей, но этот способ не дал сколько-нибудь точных и отчетливых данных, и пока нам приходится преодолевать ряд сложных затруднений, а также изыскивать средства для использования других подходов к тем же вопросам.

Во всяком случае, независимо от того, как оправдаются те предположения, которые мы высказали, остается незыблемым уже завоеванный нами факт, что в щитовидной железе мы нашли орган ответственного формообразовательного значения.

И вот перед нами встает теперь новый вопрос: насколько широко и далеко распространяется это влияние органов внутренней секреции и в частности щитовидной железы на все животное царство.

Надо сказать, что пока щитовидная железа обнаружена с достоверностью лишь среди позвоночных животных.

Мы ставили также вопрос относительно влияния щитовидной железы на рыб, при чем, имея под опытом орф, зеркальных карпов и вуалехвостов, мы могли лишь установить совместно с Н. В. Кирилловой факт общего побледнения окраски, но без дальнейших ярких результатов, и поэтому мы не имеем пока сколько-нибудь отчетливых данных о роли, которую эта железа может иметь в организме рыб.

Мы имели, правда, также подозрение, что вуалехвостики, содержавшиеся в растворах щитовидной железы, дали больший процент телескопических глаз, но это важное наблюдение требует еще своей проверки.

Значительно богаче в научной литературе материал по вопросу о влиянии щитовидной железы на беспозвоночных животных.

Но оказалось, что по этому вопросу данные сильно расходятся и привели разных исследователей к противоположным результатам. Так, М. Завадовский наблюдал ускоренное развитие под влиянием растворов тироидина (порошка щитовидной железы) на личинках некоторых видов циклопов, и то же самое отмечает итальянец Веччи, то же самое описали Абдергальден на гусеницах бабочек, Кункель — на мухах и ряд авторов, начиная с М. Новикова — на инфузории-туфельке.

С другой стороны, Ромеис и Добкевич на мухах получили даже задержку развития, а многие авторы получили очень сомнительные данные, повторяя опыты с парамециум (туфелькой).

Ввиду неясности этого вопроса, мною, совместно с С. Я. Бессмертной и С. А. Милецкой-Азимовой, были предприняты опыты над влиянием щитовидной железы на развитие двух видов комаров (Culex и Corethra) и стрекоз (Aeschna и Libellula). Опыты на стрекозах не дали ясных результатов, но на комарах нами были получены крайне интересные и выразительные результаты.

Прежде всего, еще в 1923 году выяснилось, что коретра совершенно не поддается влиянию растворов тироидина, но кулекс давал сбивчивые результаты, как и в случае наших опытов на икре аксолотлей, до тех пор, пока мы не перешли к частой смене воды, в целях борьбы с загниванием растворов.

После этого мы получили резкое ускорение в росте и развитии личинок комаров, и тем больше, чем сильнее мы брали концентрацию растворов тироидина.

Таким образом вопрос казался решенным в ту сторону, что щитовидная железа оказывает свое ускоряющее воздействие и на развитие беспозвоночных.

Но вопрос получил совершенно другое освещение, когда мы попробовали в нескольких сериях взять не порошок тироидина, а просто мясной порошок в тех же количествах, — оказалось, что мы получили и здесь то же ускорение роста и развития, как и в случае тироидина.

Вопрос разрешается ясно: тироидин представляет собою мясо щитовидной железы, истертое в порошок, и, как всякое мясо, полезно нашим личинкам в смысле добавочного питания, но не тем гормоном, который к нему примешан.

И действительно, когда мы взяли чистый кристаллический препарат щитовидной железы, открытый лишь несколько лет назад Кендаллем под названием тироксина, совершенно лишенный примеси мяса, то мы получили даже ослабление скорости развития против нормы.

Эти опыты были нами уже закончены весною 1924 года, когда к нам пришел американский журнал с работой Вудрефа и Свингли, которые, как оказалось, проделали точно такие же опыты на туфельке и пришли к совершенно аналогичным выводам.

Таким образом приходится притти к выводу, что там, где опыты ставились с чистым гормоном, он не оказал никакого ускоряющего влияния на развитие беспозвоночных животных и что все опыты, проделанные с тироидином и давшие положительные результаты, требуют проверки и должны быть проделаны вновь с тироксином.

Но если подтвердится на других беспозвоночных животных, что они не поддаются ускоряющему влиянию щитовидной железы, то это представит огромный общебиологический интерес.

Придется заключить, что ткани и клетки беспозвоночных принципиально отличаются от позвоночных, поскольку это касается их реакций на действие щитовидного гормона. Чтобы окончательно убедиться в точности этих выводов, осенью 1924 года мы с Е. В. Завадовской вновь вернулись к нашим опытам с икрой аксолотлей, при чем на этот раз взяли чистый тироксин, чтобы и здесь исключить примеси мяса, — и опять-таки получили ускорение развития икры. Таким образом действительно подтверждается вывод, что в то время, как клетки позвоночных в разные моменты своего развития, как это показывают наши опыты на икре и опыты Карреля с культурами тканей вне организма, поддаются ускоряющему влиянию гормона щитовидной железы, клетки беспозвоночных оказываются совершенно не чувствительны к этому влиянию.

Мы имеем пока недостаточное количество фактов, чтобы считать этот вывод окончательным, но в случае его дальнейшего подтверждения это будет факт, бесспорно, большого значения. Действительно, очевидно, эволюция типа позвоночных пошла настолько самостоятельным путем, отойдя от общего корня беспозвоночных, что самый характер реакций их тканей и факторов, в них действующих, иной, чем у беспозвоночных. А это подсказывает нам большую осторожность в перенесении выводов, полученных в опытах на одном типе животных, на другие типы.

В частности, мы имеем факты из другой области, подтверждающие некоторые крайне своеобразные особенности, например, насекомых по сравнению с позвоночными: дело идет об эндокринной роли половых желез. По аналогии с позвоночными представлялось естественным, что и у насекомых половые отличия и половой инстинкт об'ясняются влиянием половых желез разных полов. Между тем, многочисленные тонкие и остроумные опыты Мейзенгеймера по пересадке половых желез у бабочек и жуков совершенно не обнаружили какой-либо зависимости их половых признаков от наличия той или иной железки. А в 1922 году Пршибром опубликовал интереснейшие опыты с пересадками голов у жуков-плавунцов, в которых оказалось, что фактор, определяющий «половое поведение» этих жуков, находится, видимо, в голове и, следовательно, вероятнее всего, в нервной ткани.

Если эти опыты подтвердятся, то это вновь подчеркнет глубокие различия, существующие в механике внутренней секреции между разными типами животного царства.

Наконец, сюда же можно отнести и факт глубоко различных форм в организации и выявлениях нервно-психической деятельности, существующих между позвоночными и насекомыми: в то время как у позвоночных эволюция шла главным образом по пути усложнения механизмов условно-рефлекторной деятельности нервной системы, насекомые представляют собою яркий образчик тех безусловных реакций, основанных на наличии чрезвычайно сложных инстинктов, вокруг которых концентрируется все поведение этих животных и которые, повидимому, почти не оставляют места для накопления приобретенных, условных рефлексов.

В связи с этим лежит, повидимому, и принципиальное глубокое различие в анатомическом строении нервной системы у этих двух типов животного царства.

Итак, мы видим, как, хотя и не имея окончательных данных решить вопрос в ту или иную сторону, мы подходим к постановке формообразовательных проблем самого широкого значения, где, повидимому, эндокринологии также придется еще сказать свое слово.

Тем интереснее ждать дальнейших результатов на этом пути.

120 миль Ланкаширского тумана.

Борис Кушнер.

Ланкаширцы считают себя обладателями самого скверного на земном шаре климата. Говорят они об этом с какой-то гордостью, даже с торжеством. Не возьмусь судить, сколько в этом установившемся мнении о качествах ланкаширского климата правды и на сколько преувеличений. Поверхностному наблюдателю-путешественнику неизбежно должно казаться, что вечно туманная дымка и медный диск солнца, на который словно сквозь закопченое стекло можно глядеть не мигая, так же характерны для этой холмистой или, вернее, долинистой страны, как яркая зелень — для тропических лесов или снежный покров — для сумрака полярной области.

Манчестерцы уверяли меня, что туман у них бывает в среднем 350 дней в году и только 15 дней выдается вполне ясных. Об этих последних туземцы Манчестера отзывались в таких же выражениях, примерно, в каких у нас говорят об унылом осеннем ненастье.

Существует мнение, что исключительная влажность климата Ланкашира и Иоркшира в значительной степени влияет на высокое качество английских тканей. Едва ли суждение это серьезно обосновано. Может быть, в какой-нибудь степени это и было справедливо в отношении дофабричной, кустарной промышленности. Перед лицом же исключительно высокой фабричной техники производства современных английских текстильных изделий такого рода второстепенные и побочные факторы, несомненно, давно уже утеряли всякое значение.

Как бы там ни было, ланкаширцы очень гордятся скверной своей погодой и своими вечными туманами.

Отдавая невольную дань столь необычайному об'екту национальной гордости, я отнес за счет ланкаширского тумана все путевые впечатления свои, полученные на протяжении пробега Манчестер—Шеффильд—Братфорд—Манчестер. Географически это, конечно, несправедливо. 120 миль шоссейной дороги, соединяющей в виде почти равностороннего треугольника эти три города, проходят по территории целых четырех графств—Ланкашир, Чешир, Дерби и Иоркшир. Из них около 75 миль приходится на долю последнего и никак не более 15-ти на Ланкашир. Но великолепный желтовато-черный туман не признает административных делений английского королевства. Совер-

шенно независимо от них он колеблется, ниспадает и вновь, как театральный занавес, подымается, чтобы показать изумленному путешественнику какую-нибудь еще невиданную сцену из сурового быта английского текстильно-промышленного района.

Трудно понять, откуда трепливый ветер Ирландского моря набирает такое количество тумана, чтобы неустанно день и ночь, почти что круглый год под-ряд, прибивать его к склонам рудоносных, угленосных английских гор, как какую-то особую хмурую, сизую, черную морскую пену.

Велико мое изумление перед Ланкаширом, несомненно самой удивительной и самой достопримечательной из всех провинций старого мира, основанного на законе насилия и эксплоатации. Ее всю целиком, как она есть, нужно сохранить для будущего музея мировой революции, как живую книгу по истории развития социалистического мировоззрения, как альбом иллюстраций к «Капиталу», как книгу Маркса и Энгельса удачно и ловко переложенную на кино-ленту. Многим коммунистам хорошо бы побывать в Ланкашире. Вроде идеологического курорта. Полечиться.

Туман, любезно, как внимательный хозяин, сопровождавший меня и в Шеффильде и в Барнслей и Братфорде и в Хаддерсфильде, я называю именем Ланкаширского, как называют улицу именем революционного события или город именем вождя.

Каждый континентальный европейский город более или менее определенно кончается там, где прекращается сплошной ряд городских построек, где городская мостовая сменяется мостовой междугороднего шоссе, где, наконец, городская культура уступает место возделанным полям и земледельческой сельскохозяйственной культуре деревни. Не так-то легко определить, где кончается Манчестер—ни одного из названных признаков нельзя констатировать, выезжая из его пределов. Асфальт городских мостовых как будто ничем не отличается от асфальта шоссейной дороги. Поля вокруг Манчестера невозделаны и никакой сельскохозяйственной культуры, сменяющей городскую, здесь нет. Плохо обстоит здесь дело и с изменением характера зданий. Городские дома и фабрики никакими строениями не городского типа не сменяются. Все те же фабрики, все те же дома тянутся по обе стороны дороги: сначала сплошными шпалерами, потом между ними начинают проглядывать просветы. Просветы увеличиваются, расширяются и постепенно превращаются в пустыри, черные и ржавые от копоти и отбросов. Еще несколько миль — и шпалеры зданий окончательно распадаются. Их сменяет ряд отдельных фабричных поселков. Поселки густо насажены на шоссе, как патроны— на пулеметную ленту.

Едешь пять миль и десять миль и нет никаких критериев определить, кончился ли уже Манчестер или он все еще продолжается.

Постепенно складывается убеждение, что весь этот юго-восточный угол Ланкашира, между Чеширом и Иоркширом, представляет из себя не что иное, как один сплошной промышленный город. И это правильно, по крайней мере в том смысле, что на всем протяжении этой страны нельзя нигде встретить ничего не городского, сельского.

Главная контора «Кооперативного Общества Оптовых Закупок», английского Центросоюза, находится в Манчестере. Благодаря любезному, хотя и проникнутому сдержанным холодком, гостеприимству дирекции этого общества, я получил возможность посетить хлопчатобумажную прядильную фабрику, расположенную в одном из поселков под Манчестером.

Представитель заводоуправления, сопровождавший нас по мастерским и дававший об'яснения, сказал мне, что фабрика недавно построена и что оборудование ее является последним словом американского текстильного машиностроения. Я не знаю, так ли это. Во всяком случае на меня, незнакомого с деталями фабричной обработки хлопка, прохождение производственных процессов на этой фабрике произвело исключительно чарующее впечатление. Отдельные процессы показались мне идеально законченными, совершенными. Дальше как будто и итти уже некуда по пути технического прогресса.

С того момента, как хлопковое сырье попадает на первую машину, оно проходит все стадии обработки до процесса кардования включительно, абсолютно без прикосновения рук.

В первой машине белый, с желтым отливом, розовый спрессованный хлопок разминается и проходит первую стадию очистки. Из этой машины на следующую сырье поступает по окончании процесса автоматически. Струя воздуха, продувающая хлопок во время промина на первой машине, уносит его дальше по закрытым пневматическим каналам. Таким же порядком, все время в струе воздуха, хлопок проходит рабочие части второй машины и уносится к следующим операциям.

Пройдя все стадии обработки в верхнем очистительном отделении, хлопковое сырье все по тем же пневматическим каналам проводится в нижний этаж в кардное отделение. Часть канала проложена по полу верхнего отделения вдоль стены и закрыта плотными железными крышками. Можно приподнять одну из таких крышек и просунуть руку в канал. Там с силой продумает холодная струя воздуха. Свистит, срываясь на воющую ноту, и моментально набивает в горсть между пальцев промятые, очищенные шелковистые хлопья хлопка.

В машинах, на которых в верхнем отделении происходит промин и очистка, вделаны сбоку и сверху плоские стекла. Сквозь них, заслонившись ладонью руки от света, можно видеть, как в воздушном вихре бьется, треплется и проминается на волокно прессованная хлопчатобумажная масса.

Все машины наглухо, герметически, закрыты металлическими кожухами, плоскими с боков и закругленными сверху — спереди назад. Своей формой, сверкающей стальной чистотой и глухим жужжанием скрытой работы, машины эти напоминают паровые турбины. Расположением вороненных и блестящих частей они почему-то показались особенно похожими на турбины Всеобщей Компании Электричества.

У машин не видно людей. Никакого постоянного рабочего персонала при них, очевидно, не полагается. Время от времени, изредка, появляется человек в сером халате. Заглядывает, приставив ладонь щитком, в одно из стеклянных окошек машины. Постоит, задумчиво вслушиваясь в ее гудение,

и проходит дальше. И только в том помещении, где в приемные камеры первых машин производят загрузку, снуют рабочие, доставляющие сырье из вспоротых плотно спрессованных тюков.

Внизу, где стоят карды [1]), такая же ослепительная чистота и такая же пустота, как и в верхнем очистительном отделении.

По металлическим наглухо закрытым воздушным каналам промятый и очищенный хлопок подается на карды. Автоматически, воздушной струей. Карда работает спокойно, бесшумно и уверенно. Формой и она, пожалуй, похожа на закрытую турбину, но сходство не бросается в глаза—нет живого дрожания и глухого шума внутренней работы. Воздух в кардном отделении идеально свеж. Нельзя обнаружить ничего, хотя бы отдаленно напоминающего пыль. Такой чистоты, какая царит в этом кардном отделении, пожалуй, не встретить даже в машинном зале первоклассных центральных электрических станций.

С последнего вальяна карды широкой волной сбегает полупрозрачная голубеющая воздушная полоса готового к прядению волокна. Каждое элементарное волокно вычесано, выделено и свободно лежит рядом с соседними волокнами. Что удерживает их друг возле друга? Почему бегут они с вальяна карды сплошной непрерывной полосой, а не разлетаются по воздуху невесомым легким пухом? Это почти таинственно и почти непонятно. В это воздушное голубоватое облако можно погрузить руку. И рука не ощутит почти никакого прикосновения. Можно выхватить рукою часть этого облака и образовавшееся отверстие моментально затягивается, исчезает так же мгновенно, как и появилось.

Широкий плоский поток волокна устремляется в круглое отверстие в стальной плите. Из-под плиты выбегает гибкий легкий ослепительно белый хлопчатобумажный жгут. Жгут плавно, бесшумно и сам собою складывается в высокие цилиндрические сосуды.

Остальные мастерские и цеха фабрики показались мне обычными. Ленточные машины, как везде, складывают кардные жгуты по нескольку в один, уплотняют их, растягивают. Банкоброши сучат из лент ровницу. Ватермашины из ровницы прядут пряжу. Все, как полагается, вполне обычно. В некоторых случаях даже не первоклассно. Так, помещения для ватерных машин, малы, низки, слегка запущены и недостаточно вентилируются.

Из всех последующих процессов заслуживает внимания, пожалуй, один лишь автоматический аппарат для наматывания пряжи в огромные мотки для основы. Лишь только какая-нибудь из многих сотен бегущих через одно общее кольцо нитей оборвется, процесс наматывания тотчас же останавливается и автоматически выбрасывается конец порванной нити. Остроумная и интересная машина. Передаточный механизм ее работает овальными шестернями. Лю-

[1]) Карда—первая машина прядильного процесса. Она состоит из центрального барабана и многих прилегающих к нему параллельных вальянов. И барабан и вальяны несут густую игольчатую обшивку. Вращаясь, иглы расчесывают, разбирают волокна, располагают их в должном порядке и выпускают широкой лентообразной полосой.

бопытно отметить, что на всей фабрике установлена только одна такая машина. Очевидно еще только в виде опыта. Здесь же рядом основы наматываются старым примитивным способом. С удивлением наблюдал я за работой глубокого уже и почти дряхлого старика. Казалось, его старчески усталые глаза давно бы должны были плохо видеть. Однако, когда рвалась какая-либо из 12 сотен нитей, сбегающих с его катушечных рам, он и находил оборванные концы и связывал их с непостижимой быстротой и уверенностью.

Сколько шоссейных дорог соединяет Манчестер с другими городами и населенными пунктами Англии?

Прямого ответа на этот вопрос дать нельзя.

В нашем континентальном европейском сознании есть точное представление о дороге и об улице. Дорога — это более или менее длинный путь, ведущий из одного места в другое. Для улицы длина не важна, она никуда не ведет, а просто сама по себе пролегает. Дорога непременно, обязательно должна куда-нибудь и откуда-нибудь вести. Улица—совсем иное дело. Самое большое, что можно от нее потребовать, это чтобы она не кончалась тупиком, а выходила бы на соседнюю улицу, на площадь или просто на свободное место. Определения эти не отличаются научной точностью, но зато дают исчерпывающие описания представлений, связанных у каждого среднего европейца с континента с терминами «дорога» и «улица».

Под Манчестером, однако, с такого рода мировоззрением далеко не уедешь. Здесь густая прихотливая и сложная дорожная сеть сбивает и спутывает самые широкие представления европейца о международных путях сообщения. Бесконечные изгибы и пересечения с другими дорогами разбивают здесь каждый шоссейный путь на большое количество отрезков. Они слишком коротки, чтобы вести откуда-нибудь и куда-нибудь. Они просто выходят обоими концами и на смежные участки пути. Как улица в улицу. Представление о длинной, ведущей куда-то, дороге совершенно распадается. Здесь нет дорог. Есть только отдельные части сложной дорожной сети.

Вся страна, как один сплошной гигантский город. Дорожные отрезки— улицы этого города. Как в городе из одного места к другому можно пройти различными путями, так и здесь — из города в город, из фабричного поселка в поселок ведут различные дорожные отрезки — улицы.

Карманный атлас, изданный для туристов фирмой автомобильных шин Дэнлоп, отмечает 10 шоссейных дорог, разбегающихся от Манчестера в разные стороны. На дорожной карте министерства путей сообщения можно их насчитать 18. Но все эти данные и подсчеты совершенно произвольны. Никаких дорог в нашем смысле под Манчестером нет — там есть лишь единая сплошная асфальтовая сеть.

Окрестности Манчестера не столь черны и мрачны, как сама текстильная столица. После бархатной ровной черноты манчестерских улиц и зданий фабричные поселки, расположенные вокруг него, производят даже приветливое и живописное впечатление. Разумеется, во всяком другом месте земного шара они поражали бы своим унылым и серым однообразием. Здесь все сухо и строго. Фабрики и жилища — ничего сверх этого. Здесь при постройке

зданий не затрачено ни одного кирпича, который не был бы абсолютно необходим для того, чтобы здание держалось и исполняло бы свое прямое назначение. Удивительно, непостижимо почти, до чего пунктуально выдержан здесь принцип — ничего лишнего. В здешних постройках архитектуры не больше, чем в упаковочных ящиках. Здесь все настолько бесцветно, что становится также и бесформенным. Здесь опытным путем доказано, что форма и цвет, контур и краска не существуют раздельно и независимо друг от друга. Здесь не только фабрики, дома, фабричные трубы, одежда людей, дорога и искусственные дорожные сооружения не окрашены человеком ни в какой цвет, здесь человек умудрился обесцветить и самую землю. Это оказалось, впрочем, не такой уж трудной задачей — вполне достаточно было сделать, чтобы на земле ничего не росло.

Делая вещи, не оформленные ни в какую рациональную форму и не окрашивая их ни в какой определенный цвет, англичане и в отношении всех остальных деталей выработки не проявляют той заботливой тщательности, которая свойственна немецкому производству. У любой немецкой вещи форма всегда продуманней, окраска ярче и выработка тщательней, чем у такой же вещи английского происхождения.

Вся английская продукция разделяется на две категории — продукция для колоний и продукция для метрополии и доминиона. Вещи, предназначенные для вывоза в колонии, отличаются не только плохой выработкой, они сделаны, кроме того, еще из низкосортного плохого материала. Вещи, которые должны продаваться внутри страны или в высококультурных и требовательных доминионах, делаются обычно из самых лучших материалов, какие только существуют. Да и затрачивается на каждую такую вещь материала очень много. Больше чем необходимо и чем затратили бы в любой другой стране. Английские вещи тяжелы, неуклюжи и очень прочны. Сделаны с расчетом, чтобы ими владеть и пользоваться как можно дольше, во всяком случае много спустя после того, как они устареют. В прямую противоположность вещам немецким. У этих последних и прочность и цена рассчитаны так, чтобы вещь можно было заменить новой, едва только она устареет.

Совершенно изумительно сделаны английские шоссейные дороги. Ничто во всей Европе не может итти в сравнении с ними. Ни одному правительству европейской страны не придет в голову затрачивать на шоссейно-дорожные сооружения такие средства, какие затрачены здесь. Никому это не по карману. Шоссейные дороги Англии прежде всего внешне чрезвычайно оригинальны и живописны. Англичане мало внимания обращают на трассу и на профиль дороги. Их не смущает и им не кажется существенным дефектом, если дорога живописно сбегает по крутым склонам холмов и, извиваясь, взбирается на столь же крутые под'емы. Они не станут делать в горе дорого стоящей выемки, не станут сооружать насыпь через овраг или котловину, если дорога может попросту обогнуть препятствие. Они полагают, что нет смысла утруждать себя громоздкими земляными работами для того, чтобы избежать лишней петли. Ко всему этому нужно прибавить, что шоссейные дороги здесь очень узки. Два автобуса едва-едва могут раз'ехаться, каждый проходя

с своей стороны по бровке дороги. Все шоссе в Англии производят такое впечатление, как будто бы взяты старые проселочные грунтовые дороги, пролегающие по линии наименьшего сопротивления, и снабжены без всяких дальнейших околочностей шоссейной мостовой.

Вся тайна, вся сила, все очарование, вся ценность английских шоссейно-дорожных сооружений заключается в мостовых. Мостовые сделаны на совесть. На тщательно подготовленном грунте, на соответствующем слое балласта выстлана железо-бетонная постель. Железный каркас, в виде специально приготовленной сетки, доставляется на место работ в громадных катках-рулонах. Ширина рулона в половину шоссейной дороги. Таким образом имеется возможность на одной стороне дороги производить работы, а на другой поддерживать движение. На толстую солидную железо-бетонную постель настилается верхний гудроно-асфальтовый слой. Для того, чтобы предупредить накатывание асфальта шинами, отчего он становится блестящим и скользким, асфальтовые мостовые английских шоссейных дорог время от времени посыпаются мелким чистым гравием и поливаются гудроном. Гудрон застывает в твердую асфальтовую массу и гравий вдавливается в нее. От этого поверхность шоссейных мостовых всегда сохраняет некоторую вязкость и обеспечивает наилучшее сцепление автомобильных шин с почвой.

На такой мостовой каждая машина дает максимальный эффект. Здесь сила двигателя не затрачивается зря на преодоление случайных трений и сопротивлений. Машина свободно может показать свою полную скорость и полный тяговый результат. При такой мостовой трасса и профиль дороги становятся действительно чем-то второстепенным и несущественным. Пробежать милю, другую, затраченную на петли и обходы, не стоит ничего. Под'емы и спуски по такой мостовой не представляют собой сколько-нибудь существенных затруднений. На английском шоссе каждая машина по плавности хода — «Ройс». Кто раз испытывал идеально спокойный бархатный бег автомобиля по английскому асфальту, для того уже всякая езда на европейском континенте будет несносной из-за качки и тряски.

Не следует думать, что такие дороги встречаются только в Ланкашире, Йоркшире, под Манчестером, Лондоном, словом вокруг больших городов или в наиболее промышленных районах. Или, что описанные качества присущи только главным магистральным линиям. Ничего подобного. И на юге страны, и на севере ее, и у Немецкого моря, и вдоль побережья моря Ирландского, и в самой Ирландии, и в Шотландии, и между большими промышленными городами, и между захолустными деревушками,—везде и всегда тот же гудронный асфальт на железо-бетонном основании.

И это самое удивительное. Можно всю страну об'ехать и машина при этом ни разу не сойдет с асфальта.

Милях в 7-ми от Манчестера за городом Гайд, дорога покидает глубокую котловину, в центре которой раскинулась текстильно-промышленная столица мира. Начинается горный район. Дорога извивается по чрезвычайно пересеченной местности. В туманной дымке выпуклые склоны холмов и обрыви-

стые провалы глубоких оврагов кажутся грандиознее и суровей, вероятно, есть на самом деле.

Еще через полдесятка миль, проскочив через городишко Глоссон, дорога круче забирает в гору и тотчас же, за поворотом влево, разворачивается совершенно неожиданный для путешественника по Англии ландшафт. Справа хмурится сквозь туман гора Пик, высотою в 2.088 футов над уровнем моря, слева — Блеклоу Хилл — 2.060 футов. Между ними глубокое узкое ущелье, в котором туман залегает плотной, слежавшейся массой. Дорога вьется асфальтовой лентой, грозя неожиданными виражами над обрывом. Склоны холмов, их вершины и складки, — все сглажено, округлено и покрыто тонким слоем почвенной земли, поросшей травой. Чахлой, унылой, скудной, но все же травой. Лишь по срезу дорожной выемки видны каменные пласты горной породы. Эти холмы или, вернее, очень древние горы представляют собою полную и совершенную пустыню. Неожиданную в самом центре густонаселенной страны, в центре одного из самых промышленных районов мира Во всей Западной Европе безусловно нигде не сыщешь такой ярко выраженной удручающей пустыни. На этих склонах ничего не растет — глаз не встретит ни деревца, ни кустика, ничего кроме чахлой, кой-где зеленой, кой-где бурой травы. Ни одного животного не видно кругом. Птица не пролетит Нигде не заметно следов человеческого жилья. Только туман, да выпирающие из тумана крутогорбые спины холмов, да сереющие, синеющие провалы и ущелья. Кругом пустыня и на ней — кой-где зеленая, кой-где бурая трава пустыни.

Однако и на этом унылом и диком ландшафте лежит печать английской цивилизации. Пусть никто не населяет эту туманную горную страну, пусть эту бесплодную землю никто не возделывает и никто не пользуется ею, все же вся она без остатка, без из'ятия является предметом частной собственности. Соответственно этому она разделена на отдельные владения. Участки очень мелкие, неправильной и прихотливой формы. Отделены друг от друга не живой изгородью из остролистника, не группами густолиственных, манящих прохладой, деревьев, как на Юге Англии, а бурым каменным плитняком. Дикий плоский камень без какого бы то ни было цементирующего материала уложен в сетки-изгороди, высотою не более полуметра. Камень держится в кладке собственной тяжестью, главным же образом тем, что ни человек, ни зверь никогда не проходят этими местами и некому здесь нарушать священные права английских земельных собственников. Впрочем, кое-где эти плитняковые изгороди все же обрушены, открывая широкие бреши из участка в участок. Как каменная паутина лежит на склоне гор никем не использованное бремя частной собственности. Тяжкое серое кружево, одежда умирающей и поэтому чудовищной и дикой уже эксплоататорской культуры подчеркивает унылую живописность пустыни.

На полпути из Манчестера в Шеффильд, у края шоссейной дороги стоит одинокий трактир «Змеиный Кабачок». У кабачка два-три чахлых и неубедительных дерева. Две верховые лошади привязаны у столба. Внешний вид кабачка вызывает в воспоминании описания средневековых постоялых дворов на больших дорогах.

Дальше, почти до самого Шеффильда, ничего больше, кроме туманов, туманных сгустков, облаков тумана и сквозь туман живописных виражей над обрывами, и прочных гулких железо-бетонных мостов над густозелеными глубинами пересекающих дорогу оврагов.

За десять миль до Шеффильда дорога круто снижается и попадает в неширокую долину. По долине протекает какая-то третьеразрядная речка. С поворота дороги сверкает в глаза на мгновенье поверхность озера. Ниже, вдоль по реке, устроены какие-то обширные прямоугольные бассейны, назначение которых трудно определить, пролетая мимо.

Вот уже и Шеффильд.

Как его описать?

Что сказать о городе, в котором не пробыл и часу времени?

Легко было работать старинным путешественникам. Они поступали в таких случаях очень просто. Называли соответствующую главу именем города, который надлежало описать, а под этим заголовком помещали живой диалог свой с хозяйкой гостиницы по поводу недостаточно быстро поданной яичницы. И дело считалось сделанным. Если автор был очень уж добросовестен, он живописал немногими штрихами улицу, на которой гостиница была расположена. Знаю, что мне такими пустяками отделаться нельзя. Есть, конечно, верный, надежный выход из затруднительного положения. Можно взять Британскую Энциклопедию и рассказать своими словами, оживив и разукрасив, то, что там про Шеффильд написано. Это будет и вполне достоверно, и очень солидно. Но способ этот противоречит моим намерениям. Я решил написать ее так, как на суде под присягой дают показания — только то, что видел своими глазами и слышал собственными ушами. Ничего не утаивая и ничего не прибавляя.

Шеффильд только мелькнул перед моими глазами,—не обессудьте же, товарищи, если я не много смогу о нем рассказать.

Глаз скользил по всему. Внимание задерживалось на многом. Общее впечатление вырабатывалось. Деталей память не смогла удержать.

Трудно описывать без деталей. Если и были в литературе попытки такого рода, то, сколько я знаю, все они кончались явной неудачей. Новые потребности, выросшие из работы людей, находящихся в беспрерывном движении, должны вызвать к жизни и новые возможности. Должна быть разработана техника описаний, основанная на мимолетных суммарных впечатлениях, слишком мимолетных, чтобы в них могли задерживаться какие-нибудь частности.

Шеффильд лежит в центре страны и не прижат горной цепью к морским влажным ветрам, как Манчестер. Ланкаширский туман доходит сюда через горную гряду лишь в виде очень неопределенной дымки, вуалящей горизонт и небо.

Шеффильд, в отличие от Лондона и Манчестера, начинается просто и без затей, как всякий обыкновенный европейский город. Можно на границе его остановить машину и указать рукой: вот тут вот нет еще города, а здесь уже город начался.

Каждому известно, что Шеффильд — один из крупнейших и старейших центров английской железной и стальной промышленности. После сумрачного Лондона, черного Манчестера разыгравшееся воображение не знает, чего уж и ждать от остального Шеффильда. Вместо неба ждешь увидеть непроницаемую дымовую завесу, цвета кровельного железа. Ждешь увидеть в неподвижном воздухе клубы дыма, как стальные кессоны, отвесно подымающимися вверх. Заранее готовишь ухо к лязгу и грохоту в размерах самых невероятных.

И ни одно из этих предположений не оправдывается.

Быть может, у нас или в иной стране, на фоне живых красок и красочной жизни, Шеффильд и удивил бы своей хмурой закопченностью и железолязгающей внешностью. В сердце Англии, после фабричного Ланкаширского района, впечатление получается как раз обратное.

Довольно приветливо развертывается большой чистый и благоустроенный провинциальный город с характерными английскими двухэтажными трамвайными вагонами.

Трамваи и автобусы — это самая живописная деталь английских городов. Кажется, только их одних англичане позволяют себе окрашивать в яркие цвета. Красные автобусы Лондона даже после социалистической революции в Англии не нужно будет перекрашивать. Ничего нельзя возразить и после трамваев Глазго — там вагоны каждого маршрута окрашены в свой особый цвет. Только в этом одном отношении, в отношении окраски трамвайных вагонов Шеффильд полностью оправдывает мрачные ожидания путешественника. Трамваи в Шеффильде черные. Правда, с узким желтым ободочком, но все же черные.

В континентальных и особенно в наших русских городах на окраинах ютится обыкновенно лишь наименее состоятельная часть населения—ремесленники, кустари и рабочие. Буржуазия живет либо совсем вне города — в особых виллах и усадьбах, а уже если и в городе, то по центральной. В английских городах на центральных улицах живут обычно только сторожа да приезжие в гостиницах. Жилые дома все без исключения вынесены на окраины. Только там окраины бывают разные, есть рабочие и есть буржуазные.

По дороге из Манчестера в Шеффильд в'езжаешь со стороны буржуазной окраины. Судя по расположенным в этой части города жилищам, шеффильдская буржуазия благоденствует и умеет хорошо пожить. Традиционные коттэджи переродились здесь в виллы-особняки. Неизбежные палисадники разраслись в целые сады, изобилующие декоративными деревьями и защищенные с улицы высокими узорчатыми железными решетками. Покой, чистота и защищенность от посторонних вторжений—полные. Этот комфортабельно устроенный район буржуазных вилл расположен на склоне холма довольно круто над центральной частью города.

Центральные улицы и площади очень солидны, деловиты и вместе с тем оживленны.

Промышленный фабрично-заводский район начинается тут же, почти от самой центральной площади. Заводы и фабрики здесь не являются придатком к городу, как это обычно бывает, ожерельем на его окраинах. Здесь из них-то город и состоит. И деловой центр, и жилые районы на окраинах, и трамваи, и все, что только есть в Шеффильде,—все это является лишь придатком к промышленным предприятиям, на них нанизано, как на основной стержень, как на столб позвоночный.

Железоделательные, сталелитейные и механические заводы тянутся длинными улицами и переулками. Мелкие полукустарного типа мастерские, карликовые заведения чередуются с предприятиями средней величины. Время от времени из-за угла или из-за поворота улицы выплывает большой завод с густой толпой разнокалиберных труб. Заборы из волнистого железа окрашены в солидный серый цвет и тянутся равномерной длинной и широкой полосой. Скользят, проплывают мимо надписи, четко выписанные строгим шрифтом по два фунта на букву. Имена фирм, марки изделий, затейливые изречения реклам. Их никто не читает, движение их давно примелькалось и оно слишком плавно, как будто сзади кто-то спокойно и деловито наматывает их все на огромный рулон. И вдруг среди неразличаемого рекламно-вывесочного текста неожиданно ярко вспыхнет в глаза название марки или фирмы, давно известных всему миру, родных каждому, кто работал по металлу или сталью обрабатывал иной какой материал.

Эти мировые марки, эти всемирные лозунги технологии и станка, которые здесь находятся у себя дома, на родине, делают Шеффильд сразу каким-то близким, понятным и своим. Захлестывает мысль о том, чем бы стал и чем станет этот город в руках пролетариата. Каждому металлисту лестно поработать в шеффильдском совнархозе, приводя к одному знаменателю его бесчисленные, разрозненные и разнокалиберные предприятия.

Небо темнеет над нами. Не от сажи, не от копоти, не от гроз надвигающейся революции, а просто от того, что день на исходе и дело клонится к вечеру. Мы прошли только треть пути, надо торопиться дальше. Надо успеть в Брадфорд до наступления сумерок.

На выезде из города скользим по рабочим кварталам. Они кажутся лучше и чище рабочих жилищ в Манчестере, и в Ливерпуле, и в фабричных городках, и в поселках Ланкашира. Есть ли это результат более высокой заработной платы металлистов, или просто случай привел проехать по наиболее благополучным улицам — кто знает.

Вторая сторона описываемого треугольника, часть дороги между Шеффильдом и Брадфордом нисколько не похожа на пустыню, отделяющую котловину Манчестера от Шеффильда. Совершенно нельзя поверить, что это продолжение той же самой дороги в пределах немногих десятков миль. Кажется, будто это совершенно различные страны, находящиеся на различной стадии развития производительных сил, и населенные различными народами. Дорога из Шеффильда в Брадфорд идет по равнине к востоку от горного кряжа и у самого подножия его. Она проходит через Барнслей, Уокфильд и много других заводских населенных пунктов.

Каменноугольные шахты начинаются тотчас же у самого Шеффильда. И дальше они расположены, чередуясь с металлургическими заводами, так густо на протяжении всего пути, что в поле зрения почти всегда вырисовывается либо характерное колесо над вышкой у входа в шахту, либо контур металлургических печей. Почти сейчас же по выходе из Шеффильда, справа от дороги у самого края ее, возвышается первый попавшийся нам на пути холм из каменноугольных отбросов. Не очень высокий, но вполне приметный. Дальше такие холмы попадаются все чаще и чаще. И тот, что у Шеффильда, оказывается самым маленьким из них. Холмы эти, с правильными насыпными скатами, с плоскими срезанными вершинами, являются неот'емлемой принадлежностью всех частей страны, где добывается уголь. В иных местах холмы эти настолько обширны, достигают такой значительной высоты, что представляют собою изменения земной коры уже вполне геологического характера. Эти горы — результат горнозаводской промышленности, результат производственной деятельности человека, ничуть не меньше и не хуже других гор, тех, например, по склонам которых мы проехали от Манчестера к Шеффильду. Только поверхность их еще более бесплодна. На черных, матово поблескивающих угольных холмах не растет, конечно, ни одной былинки Лишь кое-где, ярко подчеркивая производственное их происхождение и полную невозможность какой бы то ни было органической жизни на них, торчат под краем срыва этих вывороченных наружу земных внутренностей, точно обглоданные ребра трупа, двойные концы заброшенного рельсового пути. По этим путям вагонетки возили угольные отбросы от шахт.

Капиталистическая Англия очень боится повторения в будущем продовольственных затруднений, испытанных ею во время войны. Мелкобуржуазная психология широких слоев английской демократии очень чувствительна к такого рода затруднениям. Когда приходится во имя патриотизма урезывать пищевое довольствие свое, тогда мелкая буржуазия приходит в ярость. Она готова покорно сносить какие угодно лишения, но только не сокращение и не ухудшение кормежки. Этого она не простит никому, даже самому лучшему буржуазному правительству.

Руководители английской политики знают хорошо психологию своих «широких демократических масс». За время войны и в послевоенный период сделаны героические усилия для того, чтобы Великобритания была хоть в минимальной степени обеспечена собственным продовольствием. И, конечно, ни в одной стране земледелие не может отметить за последнее десятилетие таких успехов, как здесь. Посевная площадь Великобритании увеличилась с 1914 года на 80%. В 1914 году в Соединенном Королевстве обрабатывалось всего лишь 10% всей земельной площади страны, теперь же обрабатывается 18%.

Разумеется, 18%, т.-е. меньше одной пятой — это ничтожно. Жалкая культурная площадь эта связывает с сельским хозяйством всего лишь одну десятую часть населения. Если принять во внимание, что сельское хозяйство развито преимущественно в Ирландии и в Шотландии, то собственно для Англии и вовсе ничего не остается.

Даже в восточных графствах, даже в восточной части Йоркшира, путешественник, проносящийся в поезде, в автобусе или в автомобиле по стране, не увиди ничего сельскохозяйственного. Кроме разве жалких, кой-где пасущихся овечьих стад, десятка по полтора голов, да многочисленных «птичьих ферм», попросту курятников, расставленных в поле.

И только здесь, на западе, под самым Шеффильдом, у подножия холма, образованного угольными отбросами, в стране насквозь индустриальной, где даже почва производственная, только здесь, один единственный раз за все время своих раз'ездов по Англии, я встретил настоящего, тучного, умопомрачительного породистого иоркшира. Его незатейливо вели на веревочке.

Эта белая свиная туша была так отчетлива на фоне ланкаширского тумана, что я не могу выкинуть ее из памяти, либо обойти молчанием.

Чем дальше на север бежал автомобиль, тем чаще появлялись справа, на большем или меньшем отдалении, вышки каменноугольных шахт. Сейчас же за Уокфильдом, в том месте, где дорога разветвляется и вправо идет на Лидс, а влево—на Брадфорд, в 13 милях от последнего, шахты и металлургические печи, толпясь, подступают к самой дороге и перекидываются с правой ее стороны на левую.

Медленно наступающие, тягучие, угрюмые сумерки этой холодной и хмурой страны сделали дымку тумана плотнее, а может быть, наоборот — туман ускорил и сгустил сумерки. Во всяком случае горизонт стал ближе и темнее. На серо-желтом тусклом фоне его кое-где стали заметны язычки пламени над высокими печами заводов.

За Уокфильдом, минуя поворот на Лидс, дорога покидает равнину у подножья холмов и снова уходит в горы.

Брадфорд расположен в тесной горной котловине на высоте нескольких сот футов над уровнем моря. Чем дальше дорога зарывалась в холмы и чем выше она поднималась, тем больше сгущался туман Ланкашира. Сероватолегкий, дымчатый на всем протяжении дороги от Шеффильда, здесь он снова превращался в густую чернеющую завесу.

Брадфорд мы застали распластанным в его котловине. Притиснутым, придавленным хмурой тяжестью нависшей туманной тучи. Туча, казалось, только что вылезла из дымогарной трубы, — вся в саже, вся в копоти. Дождь не проливался из нее на Брадфорд, влага не падала. На город медленно опускались, оседали неустанно многие тонны тончайшей угольной пыли. Так продолжалось, повидимому, очень долго. Угольная пыль проливалась, сочилась и капала на город в течение многих поколений. Со времен, с нашей точки зрения, во всяком случае незапамятных.

Сажа, пыль угольная пропитала решительно все. Она проникла в поры зданий, в поры серого, грязного английского кирпича. Она покрыла черным матовым лаком черепицы крыш. Она пропитала мостовую и почву на много футов в глубину. В'елась в кожу людей. Распласталась на поверхности предметов. Лондон — это первая степень английской туманности и мрачности. Лондон кажется красочно-светлым рядом с Манчестером. Манчестер мрачен и черен и безнадежен, как неудавшаяся стачка. Но и он бледнеет, стушевы-

вается и отступает перед Брадфордом. Брадфорд — это третья и высшая степень туманности и мрачности. Брадфорд самый черный и самый страшный город не только в пределах Соединенного Королевства, но, может быть, и на всем земном шаре.

Он мрачен, черно-сер и серо-черн, как английские сукна.

Знаменитые и единственные в мире суконные фабрики стоят в этом страшном городе, подымая к небу своим пеплом и сажей окрашенные трубы, укрываясь черным тонким сукном падающей с неба угольной пыли.

Брадфорд это не просто город, это город-фабрика. Не даром на главной площади, в центре его, рядом с темной громадой магистрата подымаются две приземистые, толстые фабричные трубы.

У европейца с континента, у немца и в особенности у русского понятие высокоразвитой промышленности неразрывно связано с представлением об огромных многоэтажных фабричных корпусах, ярко освещенных, громыхающих, всасывающих в свои ворота поутру и извергающих ввечеру сразу тысячные толпы рабочих. Наша молодая промышленность перескочила через промежуточные стадии развития. От кустарного, ремесленного заведения она перешла сразу к высшим ступеням концентрации. У нас — или ничего, или промышленный колосс. Средина встречается редко. В Англии картина обратная. Большинство фабрик здесь стары, насчитывают много десятилетий от роду и принадлежат к числу предприятий средней величины. Ни в Манчестере, ни в Шеффильде, ни, тем более, в Брадфорде вы не встретите настоящих, подлинных промышленных красавцев, как в Германии, прозрачно подымающих в ясный воздух свои беструбые, бездымные, глазастые железо-бетонные, вернее стекло-железо-бетонные корпуса.

В Брадфорде небольшие, невысокие, сжатые с боков, урезанные сверху, страшно черные, страшно грязные и скудно освещенные фабрики теснятся и жмутся друг к другу, как грязные сакли в горных кавказских аулах. Узкие замусоренные уголочки ведут то вверх, то вниз, подчеркивая странно это сходство.

После раннего субботнего шабаша, в безработные субботние сумерки, неживые, потухшие фабрики эти, угластые, ребристые, нагроможденные кажутся издали сооружениями из серо-черных базальтовых глыб, или просто базальтовыми рифами, необитаемым скалистым островом среди великого океана ланкаширских туманов.

Здесь же вокруг фабрик, рядом и насупротив, расположены жилища рабочих. Они вполне соответствуют городу и фабрикам, у подножия которых теснятся, с которыми сливаются в единое сплошное целое. Беглыми штрихами их нельзя описать, эти жилища, эти низкие, жуткие искусственные кирпичные пещеры. Разве только кино-лента, да длинные столбцы сумасшедших, буйных, кричащих статистических цифр могли бы дать некоторое представление о них. В общем эти рабочие жилища нужно видеть каждому, кто хочет иметь исчерпывающее представление о современной эпохе. Жаль, что рабочие делегации, посещающие нас, не заезжают по пути в Брадфорд.

За Уокфильдом, минуя поворот на Лидс, дорога покидает равниву у

Распластанный на сером сукне асфальта, покрытый суконной крышкой тумана, Брадфорд необычен. Он не похож на другие города, ему подобного нет ни на островах Великобритании, ни на континенте Европы, ни где-либо в ином месте.

В Брадфорде необычно все.

Там сквозь серые сумерки черных улиц или сквозь черные сумерки серых улиц скользит не трамвай и не автобус, как во всех прочих честных городах Старого и Нового Света. По суконным улицам суконного города в странной беззвучности пробегает нечто совсем исключительное — автотрамвай на пневматиках, или электрический автобус с трамвайными проводами. Наружным видом своим это сооружение подобно автобусу. Он свободно без рельс ходит по всему пространству улицы, ограниченному тротуарами. Но на крыше этого автобуса неожиданно отросли сразу две длинные трамвайные штанги. Верхними роликами своими они упираются в два параллельных трамвайных провода.

Так, крепко держась за трамвайные провода, к ним на штангах подвешенный, бегает и работает и возит жителей этот странный ублюдок — помесь автомобиля с моторным трамвайным вагоном.

Для меня лично чудовище это было если и не самым удивительным, то самым неожиданным из всех чудес ланкаширского тумана.

Весна человека.

М. Пришвин.

Необыкновенный поп.

Лучший вид на Плещеево озеро с высоты Яриловой плеши Александровой горы, где некогда стоял город Клешин. В то время и озеро называлось Клешино. Князь Юрий Долгорукий перенес Клешин в болото в устье реки Трубежа, и этот город переял славу у старого Клешина. Постройка города началась с церкви, которая до сих пор сохранилась и в истории искусства занимает почетное место, как памятник XII века. С тех пор вокруг этого старого собора наросло столько церквей и монастырей, что с небольшими перерывами здесь можно, изучая памятники, век за веком представить себе почти всю русскую историю. Мне теперь, когда озеро открылось, часто приходится ездить с Ботика по озеру в Трубеж рыбацкой слободой в центр города на базар за провизией. Дети гребут, я правлю и думаю о памятниках старины. Иногда это бывает очень приятно, но я не люблю того маленького насилия над собой, чтобы войти в чужую эпоху, и даже замечал, что иногда с ненавистью смотрю на эти неподвижные памятники, перемешанные с памятниками величайшего безвкусия: и тут, бывает, где-нибудь возле ветхого домишки сидит на лавочке и грызет семечки с матушкой осоловелый от скуки служитель культа. Но я перемогаю капризы настроения и каждый раз при поездке за провизией на базар расспрашиваю рыбаков о той церкви, другой и о попах. Так однажды я беседовал с рыбаками об одной запустелой церкви, потом о лодке усольского типа и купанского,—что вот на моей легкой усольской лодке опасно выезжать на середину озера, а хотелось бы поплавать под парусом по середине. Тогда рыбаки вдруг все согласно сказали мне:

— Поезжайте на попе.

И тут оказалось, что та забитая церковь окончилась в своем действии очень недавно: сначала ушел дьякон, и служил один поп Филя, и очень даже довольный, что дьякон ушел. А когда и дьячок ушел и сторож, поп Филя пел за дьячка, и за сторожа церковь мел и сам звонил,— и был еще довольнее. Так вел он свое дело весело до самого последнего прихожанина и, только уж когда все прихожане отказались, кончил служить и занялся озерной жизнью, возил из лесов в город дрова, людей.

— На попе вам проехаться самое удобное,— сказали рыбаки,— и куда хотите повезет, хоть на Волгу, хоть в Астрахань: сила громадная, и человек очень веселый и хороший.

С тех пор ни одной поездки моей за провизией не проходит, чтобы кто-нибудь не рассказал мне о попе, то как он раз служил с архиереем за три рубля и, когда проходил с крестным ходом по базару и заметил у торговки каких-то необыкновенно больших окуней, забыл про ход и занялся окунями и базаром до того, что упустил ход из виду, и в полном облачении потом, вспомнив, бегом догонял. То рассказывали, как он работает на пожарах и какое множество людей вытащил из огня. Теперь же полюбил озеро и так пристал к этому, что вот недавно давали ему где-то в уезде очень богатый приход и он отказался, а семья живет в бедности, матушка работает на фабрике.

Мало-по-малу я так заинтересовался попом, что всех стал расспрашивать и один умный юрист мне сказал, что раз на суде поп защищал рыбаков, и с такой силой и проникновением в рыбацкую душу, как никто бы не мог сделать, и вообще он замечательно интересный человек, но только не признает никаких норм. Историк местного края сказал, что у попа совсем нет интеллекта.

— А что он верующий? — спросил я.

— Скажите: что значит верующий? — ответил историк, — он очень честный, прямолинейный, как оглобля, упрямый и верный, но у него совсем нет интеллекта. Что делать? одному дается одно, другому другое, попу дана страшная сила, и ему за шестьдесят лет, а сила не убывает нисколько.

Странно, что я, столько наслышанный о попе, ни разу не вздумал прокатиться с ним по озеру и расспросить его о названиях ручьев, урочищ и связанных с ними легендах. Нужна была целая сложная сеть обстоятельств, чтобы познакомиться с ним и начать на его лодке большое путешествие.

Мы задумали с историком исследовать языческий обряд К р а п и в н о е з а з а г о в е н ь е в одном довольно отдаленном селе: я мечтал этим языческим обрядом в момент наибольшего развития производительных сил природы закончить фенологические наблюдения этой весны. Итти туда мы хотели пешком большими болотами, и потому я заказал другому бедному попу, добывающему себе средства существования сапожным ремеслом, хорошие непромокаемые сапоги. Он согласился мне сделать сапоги, если только я сам с ним вместе пойду и выберу товар. Мы пошли в одну частную кожевенную лавку, и, когда прощупывали разные кожи, в лавку вошла какая-то рыбачка, поклонилась батюшке и спросила торговца, правда ли, что с церкви св. Варвары сняли колокол и продали.

— Вона, хватилась, — сказал торговец, — сняли и увезли в Москву.

— В Москве много колоколов,— сказала рыбачка,— куда же он там?

Торговец незаметно подмигнул батюшке и ответил рыбачке:

— В Сандунонские бани.

— Будет брехать, — сказала рыбачка.

— Ну вот еще, брехать, — ответил торговец.

Тогда рыбачка поверила и спросила, зачем нужен колокол в бане.

— Есть такое постановление,—ответил торговец,— чтобы в Москве в бани непременно по звону ходили.

Я тогда не обратил внимания на шутку торговца, желающего по-своему угодить служителю культа, но когда поехал за готовыми сапогами и побывал на базаре, то слышу на базаре говорят:

— Варварин-то колокол в баню не пошел. Дроги разломал и сел на дороге: «зачем, говорит, вы меня в баню продали, не пойду». И не пошел. Стали его осматривать, и оказалось, что висел он на одном ухе, на малом, а большое ухо треснуло, и что как на колокольне он как висел с испокон веков, так бы все и висел, а в бане на малое ухо повесить невозможно. Московские говорят: «нам эдакого не надо, берите назад, — а в музее отвечают: вы б в оба глядели, когда покупали, а мы деньги получили и знать ничего не хотим».

Услыхав такую историю, я иду в музей и тут узнаю, что колокол этот, как не имеющий никакой музейной ценности, действительно продан в одно село Московской губернии, и правда, что по дороге он рухнул и большое ухо у него действительно оказалось треснутым, но спора никакого не было, и теперь, кажется, его уже везут дальше.

Мы посмеялись над этой чепухой, и я сказал, что недурно бы из этих колокольных средств рублей хотя бы десять взять нашей экскурсии. Но оказалось, что взять можно и двадцать, и тогда уж и дальше проехать берегом Кубри: там где-то есть Жданая гора, а, по летописи, на Жданой горе была та самая битва суздальцев с новогородцами, которая вдруг обнаружила силы Суздальской земли, и с этого момента надо считать начало Великороссии. На Жданой горе, наверно, остались следы той битвы, и вот бы хорошо там покопать. Хорошо бы взять с собой для работ юных краеведов и фауниста Сергея Сергеича для исследования природы Кубри, потом есть у нас молодой художник, есть фотограф, есть ботаник, геолог...

Так все стало нарастать, нарастать, получилась экспедиция; одной подводы оказалось мало, и двух мало; колокольные расходы выросли до пятидесяти рублей, и, когда пятидесяти рублей показалось мало, Михаилу Ивановичу вдруг блеснула гениальная мысль. Явилась она, впрочем, не совсем из-за сокращения расходов, а потому, что весь этот путь был древнейший водный путь отдаленнейших от наших времен народов, оставивших на берегах рек неолитические стоянки, городища, курганы.

— Мы едем все вместе водой на большой лодке,— сказал Михаил Иванович.

И вслед за этим:

— Едем на попе.

С этого момента и все мы стали готовиться к экспедиции, и у кого как, а у меня мысль об экспедиции каким-то образом связалась нераздельно с необыкновенным попом.

От'езд экспедиции.

Со своими следопытами и одним робинзоном на своей лодке я выеду прямо с Ботика, и на Уреве мы все с'едемся. Поля ходила в рыбацкую слободу за сапогами и рассказывала потом нам ужасную сцену: два делегата от робинзонов приходили к отцу Филимону, чтобы приделать к его лодке кулаки для размашных весел, но отец не только не дал им портить свою лодку, а даже после спора гнал их веслом по улице и будто бы наотрез отказался ехать с экспедицией.

Мои следопыты заснули в большой тревоге, им представляется, что если не придется ехать на попе, то мало будет занятного; так поп, еще не виданный нами, вошел в состав экспедиции каким-то сказочным существом.

Пыльца цветущих деревьев, луговых трав и древесного пуха покрыла тонким слоем всю поверхность воды, и от этого ранним утром озеро было, как неумытое. Наша лодка оставляет неисчезающий след, и то же птицы, и когда рыба взметнется, даже от нее остается кружок.

Солнце нам посылает на озеро все лучи, и с Александровой горы на озеро смотрится Ярилова плешь: хорошее предзнаменование, ведь, с моей точки зрения, главная цель экспедиции исследовать остатки еще живого культа древнего бога плодородия Ярилы.

В утренней белой вуали озеро лежит совершенно тихое, и далекая лодочка на ней движется, как муха по простыне. Не это ли едет отец Филимон? Нет, мала лодочка, и главное, что одна,—наших лодок должно быть непременно две.

Мы уже от Ботика проехали Куротень, весь Захан, когда на той стороне против Александровой горы ясно обозначилась на тихой воде большая поповская лодка и впереди ее с красным флагом шла малая лодка робинзонов. Ехали они самым краем, поп в притычку, робинзоны на розмашных: значит, поп на своем настоял и не позволил прибить к лодке своей кулаки Шли они очень быстро, и, пока мы гонялись в тростниках за гагарой, вдруг оказались и мы и они на равном расстоянии от Урёва. Заметив это, наши ребята принялись работать веслами, и очень скоро я, наконец, увидел знаменитого попа, спокойно работающего рулевым веслом своей длинной долбленой пироги. Он высокий, сухой, в сером полукафтане и соломенной шляпе, борода неопределенного цвета, наверно, седеющая; словом, поп, как поп, а впереди красный флаг. На носу поповской лодки была навалена масса вещей, тут примостился фаунист Сергей Сергеич и уже размахивал, ловя насекомых, своим белым сачком. Михаил Иванович сидел посредине, как пчелиная матка, впереди него работал усердно веслом, помогая попу, Борис Иванович, молодой художник, и на отдельной лавочке сидел какой-то ясный старичок с белой бородкой.

Мы с'ехались все на Уреве нос с носом и, выйдя на берег, узнали печальную новость, что геолог обманул нас, не приехал из Москвы и не привез заказанных ему пластинок для фотографии; ботаник тоже отказался, но зато

всю эту беду покрыло радостное известие, что внезапно приехал всем известный археолог, академик Спицын, и будет раскапывать с нами курганы и стоянки первобытного человека: ясный старичок, значит, и был сам Спицын.

Я был особенно счастлив, потому что в жизни своей имел два серьезных пробела: не летал по воздуху и не рылся в земле с археологами, а тут вдруг так пришло, что прикоснусь к таинственным недрам земли через самого Спицына и, значит, удовлетворю свое желание сразу все целиком.

Стоянка первобытного человека.

Внутри кольца, образуемого Большой Нерлью и Кубрей, в этой до сих пор болотной лесной пустыне, и теперь почти не было селений, как и тысячи лет тому назад во время неолитического человека, когда он, боясь этих пустынь, пробирался речками и там, где ловилась рыба и попадался зверь, останавливался на продолжительное время. По болотистым истокам озерных рек и нужно ехать до первой остановки, сухой полянки, где рыбаки разводят теплину, и почти безошибочно можно сказать, что там, на месте нынешних рыбацких костров, и в каменном веке рыбаки собирались на стоянку и оставили нам после себя культурный слой.

На Вексе мы причалили к первому сухому берегу, где можно было ступить твердой ногой, и в светлой воде увидели над песком темный слой, очень возможно, что и культурного происхождения. П о л ь ц о называлась теперь эта расчищенная в лесу полянка, потому что сравнительно в недавнее время здесь кто-то пахал. Наслышанные уже о только что открытой и неразведанной стоянке первобытного человека, наши следопыты и робинзоны, еще не выходя на берег, вытащили из воды кто черепок, кто осколок кремня со следами обделки рукой человека, кто каменное орудие м а к р о л и т. На самом же Польце нашу первую разведочную работу сделали кроты-археологи. Мы ходили врассыпную, приглядываясь к темным кротовым кучкам, и в каждой непременно находили кто черепок, кто кремневый скребок, наконечник стрелы, долото, топорик.

Увидев такое обилие материалов, вырытых только кротами, археолог сказал:

— Довольно, надо закладывать ш у р ф, такой стоянки я еще не видел в России.

А много ли вообще-то в России открыто стоянок! Какая-нибудь сотня на всю огромную страну.

Шурф делает один человек, сначала обыкновенной железной лопатой. Лева копает с упоением и, кажется, приготовился прокопать землю насквозь, но скоро показывается материк и вода. Археолог велит:

— Теперь срезайте шансовкой, совершенно так же, как если бы вы острым ножом резали сыр.

При такой работе ясно обнажается сверху темный слой, потом следует желтый песчаный и опять темный и за ним снова песчаный. Этот средний слой, темный, называется п о г р е б е н н а я почва.

Лева догадывается:

— Погребенная почва это от более старого каменного века?

— Надо подумать,— отвечает археолог.

Он удаляется к реке, находит тут заросшее тростником впадение другой реки, потом ходит по лесу, там все осматривает, думает и, возвратившись к нам, говорит:

— Это место, быть может, в то время было берегом Плещеева озера.

Робинзоны и следопыты впились глазами в своего большого следопыта.

Лева спешит:

— А когда это было, сколько тысяч лет тому назад?

— Не люблю эти тысячи,— отвечает старый следопыт,— было очень давно.

— Какая тогда была наша земля?

— До этого были озера, рек же не было. Потом случилось по каким-то причинам увлажнение, озера не выдержали напора воды и прорвались, побежали реки, так началась Волга: это доказано. Вероятно, и это озеро в то время стало переливаться в другое. На берега рек и озер потом стали сходиться первобытные люди, ловить рыбу, это был каменный век постарше, потом берег озера стал берегом реки, и опять место было удобное для рыбаков, и если в новом верхнем слое черепки нам попадутся поновее, мы скажем, что и этот каменный век был поновее. Я, дети, не по тысячам считаю, а что постарей и поновей, и сами находки теперь уже мне дают мало интересного, главное, в каких слоях они распределяются. Ну же, Лева, начинайте срезать на четыре штыка, из первого слоя кладите находки на эту сторону, из второго сюда, и так на четыре стороны, только подложите заранее для находок бумажки.

Сразу же стукнула шансовка, и осторожно, с благоговением, как драгоценную золотую находку скифских курганов, Лева подает профессору небольшой черепок из необожженной глины, совершенно рябой от больших, в горошину, углублений, сделанных на нем рукой первобытного человека.

И я не знаю, что предпочел бы я увидеть, этот черепок или же золото скифов эллинской работы.

Осмотрев, любовно отрогав и даже как будто огладив, ученый с радостью говорит:

— Это старенький.

— А это?

— Это поновей. Видите,—сетка, значит, новенький, но и это хорошо, новеньких у нас даже меньше.

Но скоро дети замечают, что хотя новое, может быть, и ценнее для науки, а старому следопыту они как-то вкуснее, и потому стараются как бы разыскать больше старого. И не в часы, а даже в какие-то минуты они уже осваиваются с археологическим языком, черепки называют керамикой и разбирают по культурам: Фатьяновская культура, Фьякова типа...

— Значит,— спрашивают,— если название культур происходит от места находок, то возможна и Переславская культура?

— Конечно, очень возможно, во всяком случае место это прославится.

В те же самые рогульки, в которые рыбаки клали жердь для подвешивания чайника, мы тоже положили свою жердь и повесили свой чайник и потом пили, разглядывая на земле у костра то рыбью кость, оставленную современным рыбаком, то покрытый точечными углублениями черепок неолитического человека.

А ученый все разбирает и разбирает собранные черепки по культурам, примеривает к работе разные кремни и макролиты, и до того у него все выходит ловко, будто сам был тогда в каменном веке и работал кремневыми орудиями.

— Вот как будто следы ногтя первобытного человека? — спрашивает один следопыт.

— Очень может быть, ведь все руками работали, и больше, должно быть, женщины.

— Как же вы это знаете, что именно женщины?

— Догадываемся по этим украшениям: где украшения, там и женщина, а еще некоторые узнают по отпечаткам эпителия пальцев...

— В таком случае на этом черепке, несомненно, следы ногтя.

— Почему же несомненно? просто скажите: очень может быть.

— Но кто же они были, какой народ?

— Неизвестно, до сих пор мы не знаем не только лица человека, но даже имени народа, делавшего эти стоянки. Но я догадываюсь, что это были арийцы.

И тогда у костра ученый намеками стал говорить о своих догадках, и это была, конечно, мечта всей его жизни,— догадаться хоть немножечко о лице этого таинственного народа.

Все слушают, и только один поп Филя бродит по стоянке, потому что ему непременно нужно самому действовать и, может быть, самому открывать. Вот он, весь просияв, является с необычайной находкой.

— Пожалуйте, — говорит отец, подавая какой-то небольшой круглый предмет, — носок от чайника, чай пили.

А в то время не только не пили чай, а едва только догадались подхватить огонь от зажженного молнией дерева. И эти глиняные сосуды служили не для варки на огне, а только для хранения воды, пищи.

С уважением выслушал это отец Филимон, но все его непокорное существо спрашивало:

— А кто же это видел?

Ему, я так понимаю, как чистому инстинктивному обывателю, непременно нужно видеть самое лицо человека, чтобы о нем говорить, и если видеть нельзя, то он не хочет думать по черепкам, складывая все вместе плюс на плюс, как делают ученые, он сразу догадывается о первобытном человеке из себя самого...

Все смеялись над чайником, но мне казалось, что в принципе отец Филимон, быть может, отчасти и прав. Ведь и сам-то ученый, показывая детям способы пользования каменными орудиями, берет пример от современных

ремесленников, плотников, каменщиков, кузнецов. Но если быть посмелее, уловить творческий огонь в лице современного человека и перенести это в лицо того, тоже гениального существа, которому блеснула мысль о пользовании огнем, и так это сделать, чтобы это гениальное волосатое лицо предстало бы еще в большем контрасте с нынешней потухнувшей в творчестве обезьяной...

Увлекательны эти раскопки, хочется думать все дальше и дальше, но дальше я замечаю, туман поднимается на реке, и предлагаю поскорее ехать, чтобы сегодня же на озере Семине разведать другую стоянку, где, может быть, нам откроется и медный век.

Первобытный человек.

Почти против П о л ь ц а, на другом берегу Вексы растет большой и хороший бор, и с береговых кручей иногда, подымая верхние слои почвы, клонятся к воде огромные сосны и вот-вот упадут и раздавят плывущую лодочку. Речка и в боровых берегах бежит, перегибаясь почти параллельными излучинами. Так в прежнее время, бывало, едет торговый человек из Новгорода на своей лодке, кружится, кружится, минует опасные кручи, снова начинаются жидкие берега, так что выйти нельзя и деваться некуда, вот—островок, и на острове куст, а из куста выходит тать... Этот страх перед кустом закрепился в названии всей этой местности — Татьин куст. Мы благополучно миновали и опасные нависшие сосны, никто не вышел из куста, показалось Усолье, значительное село, известное в истории Великороссии своими соляными варницами. У берега реки в виде холмика Козья горка, остались и теперь очевидные следы знаменитых варниц, снабжавших солью Великороссию.

В Усолье была первая мельничная плотина, возле которой пришлось разгружать лодки и перетаскивать их волоком. Во время этого хлопотливого и скучного занятия местные крестьяне, удивленные нашими ружьями, сачками, попом и красным флагом, собрались и спрашивали нас, кто мы такие и что затеваем. Выслушав нас, один туземец спросил:

— А какая в том польза?

Между тем в другой группе крестьян Сергей Сергеич спрашивал о вредителях полей, лесов, эпизоотиях, и его живая талантливая беседа заразила интересом всех до одного человека, так что когда подошел кто-то новый и спросил об экспедиции, какая в ней польза, то сами же крестьяне насмешливо ответили:

— То̀ полезно, что в карман полезло.

Повиляв по излучинам речки больше часу и все не утратив из виду Усолья, мы, наконец, в'ехали в умирающее озеро Семино, длиной версты в полторы, водой мелкое, всего на лопату весла, и страшно глубокое тиной: веслом местами и не дощупаешься. Если же случится несчастье, лодка затонет, то плыть тут нельзя, затянет,— опасное место, утиный рай.

Совершенно так же, как на Вексе, на первом сухом местечке, где отдыхают рыбаки, оказалась неолитическая стоянка, и здесь в правом углу этого

озера-болота, где сухое место возвышалось, как стол с пирогом, было Торговище. Сюда, конечно, плавал из Великого Новгорода и Садко, богатый гость, из бедного хлебом севера в житницу Суздальской земли, в это ополье, и варил тут уху, как и мы, не обращая никакого внимания на вырытые кротами черепки каменного века: в то время и мысль не приходила в голову о керамике.

На стоянке наши робинзоны поставили две палатки, батюшка наладил костер, повесил котел для кулеша, и мы сели тут на бревнышко под дым от комаров. Пока еще не совсем стемнело, фаунист все переносил и переносил умерших в банке жучков на вату. Вдруг он сказал:

— Летучая мышь, у нас нет в музее, убейте!

И началась в полутьме трудная стрельба по летучим мышам.

На озере вспыхнул огонь, загорелось смолье, причалила лодка, и два рыбака с острогами, подошли к нашему костру. Всякого рода лов рыбы и также лучение запрещены в этом месяце, но в глухом месте, конечно, не считаются с законом, и только что вот мы под красным флагом, — побаиваются начальства и пришли для разведки.

Мы узнали от них, что в этом зарастающем озере жесткая рыба, щука и окунь, не главная, а самая первая рыба — мягкая, линь и карась. Кроме обычных способов ловли, здесь есть еще совершенно особенные, возможные только в тинистых зарастающих озерах. Один из этих способов называется на вар и состоит в том, что в тину запускают весло, испуганная рыба выплывает из тины и ход ее на поверхности воды отмечается пузырьками как бы кипящей водой (варом), а там, где пузырьки прекращаются, поддевают сачком или бьют острогой. Второй способ на пыльцу, то же самое, но, вместо пузырьков, догадываются о рыбе по пыли или мути, и, наконец, третий способ — на шар, значит, просто шарят.

Один из рыбаков, Павел по имени, рассказывал об этом кратко, дельно, выразительно. Так, у другого бы очень длинная фраза, у него построена так:

— Я ткнул веслом, щученок дал вар.

Я воспользовался этим ясным рассказом, чтобы поучить молодых краеведов, как нужно пользоваться такими рассказами, чтобы выработать себе краеведческий язык.

Молодые рыбаки были несколько похожи друг на друга, как братья, но у Павла глаза были большие, серые, с какой-то мучительной думой, у Николая узенькие щелки, Павел почти не улыбался, Николай подхихикивал, Павел все пробовал рукой поймать живьем летучую мышь, Николай вздрагивал каждый раз при ее приближении.

Павел, оказалось, уже читал книгу Михаила Ивановича о Переславском уезде и еще много другого. Он рассказывал нам, что недалеко отсюда, в Бармазове на Стуловой горе, есть целый ряд памятников, похожих на каменные курганы, а около деревни Хмельники какое-то древнее кладбище и тут же два кургана, один из них раскопал Николай, и оказалось, это действительно курган. Николай не думал о скелете, он искал тайные деньги, и когда

увидел в кургане круглое, бросился туда, схватил кубышку, повернул и обмер: клад обернулся мертвой головой. Николай бросил череп и—бежать. Павел, узнав это, закопал скелет, кто-то поставил крестик. С этого времени прошел уже год, а Николай все еще боится ходить этим местом.

Не обращая никакого внимания на сидящего рядом Николая, Павел отчетливо сказал в заключение:

— Мы живем в лесу, народ наш суеверный и глупый, как первобытный человек.

При этих словах мне вдруг вспомнились мои догадки на Польце о первобытном человеке, и я спросил:

— Почему вы думаете, Павел, что первобытный человек был непременно суеверен и глуп, и те люди были, наверно, тоже, как и мы, очень разные, вы сами происходите почти из первобытной деревни, а не имеете же предрассудков, и суеверие Николая вам кажется глупостью.

— Я как-то вышел отдельным человеком,— ответил Павел,— я стал много читать в школе и потом стал думать, как бы мне так устроиться, чтобы и после хватало времени всегда бы читать. Земля, вот что главное держит у нас человека в тьме, и наша земля ничего не дает, кроме хлопот, а живем мы больше от ремесла: мы все плотники, бондари и дегтярники. Но если земля невыгодна, значит, ее надо бросить, крепче заняться ремеслом, и тогда будет оставаться время для чтения. Подумав так, я решил бросить землю. Все на меня. Но я никого не послушался, и теперь я не беднее их и могу, когда захочу, и читать. Так вот я как-то и живу: все у меня по-своему.

Рассказывая так, Павел сам не догадывался, что это все хорошо и что в этом думать и жить по-своему есть особая доблесть: он рассказывал о себе, как есть, наверно, не зная, добро это или зло.

Сведения о погребальных памятниках от такого разумного человека нельзя было оставить без внимания, и мы тут же сговорились итти своей археологической группой завтра на исследование. Павел предложил себя, как рабочего на раскопки, а за ним и Николай. Мы его предупредили, что не деньги будем искать, а скелеты, но он стоял на своем: и он будет копать вместе с Павлом. Потом уже в совершенной тьме мы разместились в двух палатках, в малой старшие краеведы с частью следопытов, в большой робинзоны с попом. Только у одного Сергея Сергеича был войлочный конверт, в который он залез с головой, мы же улеглись на тонком брезенте, прикрываясь куртками и еще кой-чем: все как-то еще не обзавелись. Жутковато было спать на сырой земле.

Сергей Сергеич сказал из мешка:

— Сегодня барометр упал на шесть делений.

А поп сказал о ноге: сильно можжит.

Едва ли мне удалось соснуть часа два, да и в этом полусне мои полумысли и полу-чувства занимал неотступно человек из каменного века. Но явился он мне совсем не таким, как учили нас в школе, не обезьяноподобным существом, а составился из отношения этих двух рыбаков—Павла и Николая. Мне представилось, что в процессе творчества Николай был существом от

работанным и брошенным доживать бытие, неизменным, как он есть, а Павел идет вперед, что Павел в своем малом кругу, — он тоже как бы добывает огонь подобно своему гениальному предку, словом, что один—человек и другой—обезьяна, а черепа и черепки совершенно одинаковы, и если пройдет время, то и не узнаешь, кто из них двигал жизнь и кто в ней только жевал пищу. И только затем, казалось мне, нужно собирать черепа и черепки, чтобы приблизить мысль свою к существу первобытного человека. Но, чтобы вполне понять его, нужно, изучая остатки первобытной культуры, в то же самое время зорко всматриваться в современного человека, своим творчеством устремленного в будущее; и очень возможно тогда, что из всех членов нашей экспедиции этот профессор окажется ближе всех к существу первобытного человека.

Череп является как бы комнатой нашего мозга, и мы, привыкая умственно работать в комнате, создаем еще большой череп для всей головы, а когда ночуешь в лесу, то вдруг оказывается, что мысль работает как-то бесконечно широко, но безответственно, как ветер, дождь... Вот является сырой холодный гость, начинает шуметь, и в мыслях сразу все переменяется.

Я выглянул в щелку палатки. Все небо было затянуто. Шел мелкий холодный дождь, и только по свежей зелени деревьев можно было догадаться, что теперь весна, а не осень. Я уже хотел было закрыть глаза и погрузиться в свои полу-мысли о неолитическом человеке, как вдруг открылся брезент другой палатки, и показалась голова с длинными спутанными волосами, с бородой неопределенного цвета, сбитой войлоком, а в складках старого изветренного лица были живые лесные глаза. По моим соображениям—этот вернувшийся в природу поп не должен был начать день свой молитвой, иначе не зачем бы было ему уходить. И это оказалось верным: не обращая никакого внимания на дождик, он вылез на четверинках из палатки в жилетке и сапогах, потом вытаскивает свое серое поповское полукафтанье, надевает, становится настоящим попом, склоняется к большой головешке вчерашнего костра и начинает долго ее раздувать. Он действует очень ловко, упрямо, изобретательно, прикрывает огонек от дождя сначала ладонью, потом сковородкой, прилаживая как-то и сковороду над огнем, чистит картошку, жарит и, пока жарится картошка, чистит плотву, вероятно, добытую вчера у рыбаков. С'едает одну сковороду, с'едает другую, потом свертывает себе большую цыгарку махорки, закуривает и ложится животом на землю, не обращая никакого внимания, что земля совершенно сырая, что сверху сеет дождь. Глядя на озеро, он курит и наслаждается, курит и счастлив: сыт и совершенно свободен, распределяясь бессмысленно чувствами своими во всей вселенной.

Высунув голову из палатки, я тихонько, чтобы не нарушить его великолепного покоя, позвал:

— Ба-тюш-ка!

Он даже и голову не повернул:

— Ну, што?

— Батюшка,— говорю,— я видел — вы так трудились устроить сковородку на костре, почему вы не сварили уху в котелке, так много проще?

Он ответил охотно:

— В ухе плотва — рыба очень тоскливая.

— Костливая?

— Тоскливая. Плотву можно только жарить, а если уху поешь, то все как-то думается, не случилось ли дома что, или в будущем... тоскливая рыба.

— Но, может быть, это не от рыбы тоска?

— А отчего же?

— Мало ли отчего, духовная неудовлетворенность, неудачи...

— А какие же теперь у меня могут быть неудачи? вожу дрова, рыбаков, рублю, пилю, никакой неудачи я теперь не имею: мне хорошо. А спросите рыбаков, и каждый вам скажет то же, из плотвы нельзя варить уху, плотва — рыба тоскливая.

В это время наши старшие краеведы тяжело пробуждались, узнавая по шуму и сырости дождь, но, услыхав разговор о тоскливой плотве, расхохотались, и беседа наша с отцом Филимоном окончилась.

Происхождение человека.

Стулова гора, куда привели нас Павел и Николай, тонула в Бармазовских лесах; тут невдалеке была деланная дорога из бревен, в сущности мост по жидкому болоту в три версты длиной, начало пути в Половецкую волость. Поправее от деланной дороги копалась в земле, то исчезая, то показываясь, маленькая река Черторой, направо в синеющих лесах текла река Лада, и та вся местность, самая лесная, глухая, называлась Заладьево. Бармазово было одним из населеннейших цветущих уголков этого края, но во время Грозного от голода и разорения население частью повымерло, частью разбежалось, и с тех пор тут лес. Одну деревянную церковь, рассказывают старики, лес вовсе затер, а колокола утонули, и кто праведный, — слышит иногда звон потонувшего колокола.

Каменные курганы на Стуловой горе имели продолговатую форму и по виду, без всякого сомнения, были погребальные памятники, но когда археолог проверил направление по компасу, то оказалось, что могилы расположены не с востока на запад, а с севера на юг. И все-таки дело рук человеческих было так очевидно, что мы решили копать.

На этом памятнике мы учимся правильным раскопкам, и потому сразу же распределяются роли: Михаил Иванович, исследователь, он обмеряет курган рулеткой, делает план, наблюдает за появлением линии, разделяющей насыпь от грунта, которая называется у археологов лентой, потом находит обрез могилы и вообще ведает всей научной стороной дела. Академик берет на себя скромную роль производителя технических работ, становится на курган и велит рабочим вести траншею поперек направления могилы.

Один за другим снимают большие камни, и все думают, что вот после такого-то трудного камня начнется самая насыпь; и правда, бывает, показы-

вается песок, но сейчас же лопата снова звенит о камень, и опять все рабочие трудятся над его выкапыванием. А сверху непрерывно сеет дождь, все мокрые, грязные.

— Таких трудных курганов у меня еще не было,— говорит производитель работ.

— А что курган, это уже несомненно? — спрашивает Лева.

— Несомненно, это дело рук человеческих.

И снова рабочие выкатывают камень за камнем. Николай вспомнил, что у него в сенном сарае дырка, надо скорей итти заделать, а то дождь погубит все его сено. Павел еще держится. Лева верит профессору, что костяк непременно найдется.

— А что если это ледниковый нанос?

— Едва ли, но надо подумать.

Ученый уходит от нас к другим таким же памятникам, и там один соображает, измеряет, рассчитывает; мы выкатили последний камень, пересекли насыпь, далеко врезались в материк: ленты нет, ничего нет, еловая шишечка попалась величиною в мизинец, и то уж как ее рассматривали! Михаил Иванович стоит весь мокрый, грустный. Я пожалел его и спросил, что он думает делать с своей Соней. Сразу он оживился и ответил:

— Сонюшка поехала сдавать экзамен в Хутемас.

Лева сердито говорит, что раз Александр Андреевич сказал, что это курган, то костяк непременно найдется.

— Нет, Лева, — отвечает ему, появляясь из-за деревьев, археолог, — это не погребальный памятник.

— Значит, мы напрасно копали?

— Нет, не напрасно, мы установили, что это не курган.

— А что же это такое?

— Трудно сказать, что такое, для этого нужно особое исследование, и это надо сделать потом: это дело рук человеческих.

Так движется наука, где отрицательные результаты тоже необходимы и ценны. Но нам было так, будто мы ехали на северный полюс, рассчитывая там встретить диво, а там совершенно ничего не было, кроме умственного: показаний секстанта, барометра, термометра...

Тайна Бармазовских лесов осталась нераскрытой, и, пожевав черного хлеба с земляникой, мы стали спускаться в хмельники, где недалеко от реки Чертороя были курганы и древнее кладбище. По пути около Желтухинского болота в глухом черном лесу Павел показал нам землянки, где жили дезертиры; заметно было по древесным остаткам, что они тут проводили время, занимаясь какими-то работами по дереву; после дезертиров землянками пользовались самогонщики: на берегу ручья остались копки для их котлов.

Картина древнего кладбища нас оживила; это был типичный новгородский жальник, и нахождение его здесь, далеко от Новгорода, но вблизи Торговища на пути новгородцев за хлебом в О п о л ь е, много говорило историку местного края. Вблизи этого жальника зиял своим провалом раскопанный

суеверным Николаем курган, рядом высился другой нераскопанный, через верхушки деревьев внизу виднелась вода Семина озера.

Теперь все оказалось в полном порядке, курган был типичный, и возле него ямка след выбранной для насыпи земли. Определено направление погребения по компасу с востока на запад, взята траншея поперек с юга: с юга всегда легче заметить л е н т у. Но только принялись копать, опять показывается огромный камень, потом другой, третий, — и дождь, все дождь без конца...

Следопыты раскапывали жальник, курган—Лева и Павел. И уже начинало смеркаться, а ленты все не было и нет, нет, новый огромный камень отрывает руки от работы. Павел уходит к себе в деревню по неотложному делу. Лева копает один; знаю его,—теперь он себя загипнотизировал и хотя уж давно работает сверх сил, но лопату не бросит: костяк непременно найдется. Вдруг огромный камень обрывается сбоку траншеи, контузит ему правую руку, и последний рабочий выходит из строя. Опять ученый, как и при раскопке первого памятника, удаляется, обходит местность и там думает. Мы, голодные, грязные, совершенно усталые, перестали верить даже, что это курган. Михаил Иванович, бледный сидит, на пне у сосны.

— О чем вы думаете, Михаил Иванович?

— Я думаю,— отвечает он,— выдержит ли Сонюшка экзамен в Хутемас.

И мы вместе с ним потихоньку думаем, как бы нам оттянуть неутомимого профессора от кургана, поскорей бы попасть в избу к Павлу, поесть бы, чаю попить и потом бы на сеновал.

Есть ли у него сеновал?

В это время приходит археолог и говорит:

— Прыщ!

Значит, курган издали выглядит, как прыщ на земле, и если уж так, то непременно это должен быть курган, погребальный памятник.

Заметно смеркается. Ссылаясь на мрак, мы просим на сегодня кончить работу.

— Хорошо,— говорит ученый,— мы скоро пойдем, только, Лева, дайте мне лопату, я сам немного попробую.

И погружается в траншею; седая голова то покажется, то спрячется: копает. Слышится какой-то особенный звук лопаты, голова надолго исчезает в траншее.

— Лева, идите сюда, возьмите лопату и слегка стукните здесь. Слышите? Такой звук может быть только о кость.

Кость!

Мы вскочили. Как на охоте, вдруг откуда-то при удаче является новый неведомый источник сил, но это было больше охоты: это был момент торжества того последнего усилия ученого сверх охоты в жертву истине, которое отличает натуру ученого от других людей и что именно первобытного ученого, добывшего огонь, выделило из мира обезьян. В этот момент в лице этого современного ученого я увидел настоящее лицо нашего отца, гениаль-

ного первобытного человека с волосатым телом, железной волей, огнем в глазах и, наверно, где-то глубоко скрытым нежным любящим сердцем...

Кость ноги, лежавшая поперек траншеи, была большая черная. Мы затрусили ее землей, и все счастливые, веселые, бодрые пошли ужинать в дом Павла. В научной работе для счастья, оказывается, совершенно не нужно великолепия, иногда бывает совершенно достаточно косточки.

Слух о находке быстро обежал деревню, и, когда мы пили чай, за столом у Павла, на лавках сидели разные деревенские люди. Они слушали, мы говорили.

В этот вечер мы говорили за чаем, как разговаривают между собой образованные люди, совершенно не замечая, какая масса знаний и опыта предшествующих поколений проходит в их простом разговоре. Между тем тут в избе слушали все это дети земли...

Мы разговаривали о севере и юге, бросались тысячелетиями, как днями, иногда и на самую землю смотрели, как на игрушку, иногда, напротив, безделица, открытая в кургане, надолго занимала нас. Наш археолог рассказал нам, что однажды во время раскопок где-то на юге студент с верным глазом разглядел запрятавшуюся в костях крошечную истертую монетку, единственную находку кроме костей, что эта с виду ничтожная монетка перебывала у многих ученых для определения; с риском погубить совершенно монетку, и, значит, утерять единственное и драгоценное свидетельство времени, она была, наконец, опущена в едкий натр, и тогда ясно обнаружился десятый век.

— Десятый,— сказал кто-то с лавки,— а у меня есть монета много старше: семьсот двадцать первый год.

— Какая же она? — удивленно спросил археолог.

— Большая медная, в пятачек.

Смеясь, сказал археолог:

— Если бы такая нашлась монета, то за нее можно бы дать миллион.

После того мы поднялись и пошли ночевать в сенной сарай. Все скоро улеглись; я, курящий, сидел на бревне перед сараем и говорил с Павлом. Мне хотелось узнать у него, что останется у крестьян от нашего большого интересного разговора в избе.

— Вот облачко тает,— сказал Павел,— и у них так же расходится мысль, и так все им было, как сказка. Но вон посмотрите—сосед мажет дегтем телегу, вы его узнаете?

— Это — который сказал о монете.

— У него есть монета, я ее знаю: 1721 года. И он знает, что тысяча, а не семьсот, но теперь услыхал от профессора, что за семьсот можно получить миллион, сбился и думает: «а может быть, и семьсот, может быть, получу за нее миллион»... В деревне ему нельзя показать профессору, вдруг все узнают, что он богач: это надо сделать тайно. Вот он и мажет телегу: за этим и поедет завтра в город. И это я уж знаю верно преверно, день не базарный ему больше незачем ехать в город, да и мужик такой...

Когда я вошел в сарай, Лева уже спал и, переутомленный, бормотал во сне и все одно и то же слово:

— Норман, норман.

Он мешал спать археологу, я разбудил его и просил перелечь поближе ко мне. Археолог спросил:

— Лева, почему вы во сне все повторяете: норман, норман!

— Ах, Александр Андреевич, у меня есть догадка, да я не решаюсь вас об этом спросить. Вы сказали, что нога нашего открытого человека очень большая и что это наверно мужчина. Вот я хочу вас спросить, что и для мужчины эта нога большая?

— Да я думаю, что и для мужчины.

— Так не норман ли это? Вот о чем я догадываюсь, как вы думаете, не норман?

— Нет, Лева, если бы это был норман, то мы нашли бы только урну с пеплом: у норманов было сожжение трупов...

После того Лева заснул и больше не бормотал.

Мысль о первобытном человеке больше мне не мешала спать: черты лица его мне теперь были знакомы. И все мы спали отлично и проснулись с радостным ожиданием продолжения раскопок кургана, и потом дальнейшего путешествия.

К нашему счастью, взошло, наконец, прекрасное солнце, и при этом свете мы сразу заметили исчезавшую вчера л е н т у, след сопревшего под насыпью кургана дерна. Отчетливо показался о б р е з могилы. С востока на запад по компасу через место находки кости мы провели прямую линию и по ней сверху уверенно стали вести п р и е м н у ю траншею, через которую потом вынем костяк. Опять копают Лева и Павел, а мы все сверху, лежа на кургане, напряженно смотрим, и каждый раз, когда кто-нибудь локтем обсыплет землю внутрь траншеи, Лева, окончательно завладевший раскопкой, бранится. Николай тоже смотрит рядом с нами в могилу, он часто обсыпает землю, что-то его изнутри под'ярыживает, хотя виду он не показывает...

Вот уже и близко скелет, дальше копать лопатой опасно, Павел выходит, ложится рядом с нами, профессор спускается вниз, учит Леву, как надо выбирать землю руками, передает ему все это дело и присоединяется к нам. Он сказал под послед:

— Первое покажется череп.

И Николай вслед за этим обсыпал в траншею много земли.

Каждый комочек Лева разминал руками, каждый малейший камешек показывал профессору, при каждом упоре пальца в землю говорил:

— Вот, кажется, и голова.

И в этот момент Николай непременно сыплет локтем землю в траншею.

— Ты, Николай, должно быть, боишься, — говорит ему Лева, — лучше уж уйди.

И вдруг окончательно и уж наверно правильно вскрикнул:

— Голова, голова!

Профессор спустился, отрогал место и сказал:

— Да, это голова.

Николай побледнел и впился глазами в то место. Павел тихо сказал:

— Вот по таким-то раскопкам, должно быть, узнают потом происхождение человека.

Никто ему на это ничего не сказал: все с напряжением ожидали увидеть, какой покажется голова человека, пролежавшего в земле, быть может, лет восемьсот. И она показалась гораздо значительнее, чем я себе представлял, главное, цвет ее был не обыкновенный костяной, а как бы красноватый, почти как красная медь или обожженная глина, так что, не видев лицевой части, можно всякому принять за кубышку с кладом. Но Лева осторожно очистил ее от земли, и вот показался нос мертвеца и зубы, главное, что зубы-то были совершенно белые...

Когда при нашем общем молчании и напряженном внимании показались зубы, вдруг Николай загоготал, поднимая слог г-э все выше и выше, как сирена или, скорей, жеребец: гэ-гэ-гэ-гэ-гэ-э-э... На очень высоком э жеребячий звук вдруг оборвался, и все получилось так:

— Гэ-гэ-гэ-э-э: едрить твою мать.

Это был звук человека, оставленного творческим духом, как оставлена им пребывающая вечно в себе обезьяна, и звук был всем нам знаком, и страшен, и противен, и, в конце концов, смешон: изумленные, мы все подняли головы и, в конце концов, расхохотались.

Один только Павел не стал смеяться, ему это было слишком близко, чтобы смеяться. Своими большими серыми с мучительной думой глазами он строго посмотрел на ржащего человека и приказал, как обезьяне:

— Замолчи, дурак, по таким раскопкам узнается происхождение человека.

Было много странностей в способе погребения этого большого человека с необычайно крепкими свежими зубами, и расположение костей, особенно в шейном позвонке, было неправильно. Но профессор в деревне нам ничего об этом не сказал и только уже, когда мы с ним были опять на озере, высказал свои предположения: скорее всего это был повешенный.

Крапивное заговенье.

Мы плывем по Большой Нерли среди однообразных болот и по таким излучинам, что церковь села Колнино полдня к нам приближается и полдня удаляется. Где-то на берегу молодой пастух учится играть на трубе, и эти звуки нам тоже были слышны, нарастая и ослабевая, тоже почти весь день.

Вдруг сверху, с дороги, из бора к нам долетела песенка, такая же коротенькая, как жизнь поденки, другая, третья и несколько девичьих голосов. Песенки сыпались, и казалось нам, под них именно и танцовали над водою поденки. Наши робинзоны достали мандолину и балалайку, приготовились Медленно выезжает навстречу нашей армаде из бора телега, наполненная деревенскими девушками. Увидев молодых людей, девушки запели на горе:

Мои глазки, как салазки,
По горе катаюстя,
Моими карими глазами
Многи завлекаются.

Выждав, когда девушки на горе поравняются с лодками внизу, робинзоны ударили по струнам и спели в ответ с воды свою импровизацию:

Я на лодочке катался,
А под лодочкой вода,
Моя милка в белом платье,
А под платьем... сковрода.

Хохот и визг раздался в бору над рекой.

Явление нашей армады в пустынных водах было таким дивом, что одна деревня почти в полном составе проводила нас берегом до другой, в этой присоединилось еще множество, и в третьей вся эта масса встретила нас на берегу. После долгого разглядывания в упор, туземцы оттеснили меня и стали расспрашивать; больше всего, оказалось, их интересовал наш поп.

— Это настоящий священник?

Я сказал, что, конечно, настоящий.

Переглянулись.

— Значит, поп?

— Конечно.

— Красный поп?

Робинзоны запели:

Долой, долой монахов,
Долой, долой попов.

И вот уж верно не могу сказать, не смотрел в ту сторону, но мне говорили, будто отец подтягивал басом:

— Долой, долой попов!

Все это было до крайности удивительно туземцам, живущим очень далеко от железной дороги. Вокруг наших палаток народ кипел всю ночь, любопытные приоткрывали нашу палатку, не давали нам спать.

В этом месте на другой день наша этнографическая группа отправилась исследовать в деревню Лихорево праздник Крапивное заговенье, повидимому, остатки культа древнего бога Ярилы.

Я не очень верил, что мы увидим какое-нибудь действие и что все не кончится записью старинного обряда со слов какой-нибудь Лихоревской старухи. Но, конечно, мы в Лихореве все-таки не сразу стали расспрашивать о боге Яриле: мы пришли исследовать гончарные промыслы. Только уж когда сердца этих скудельников были нам совершенно открыты, мы, наконец, заговорили о празднике наибольшего развития весенних производительных сил и о языческом боге. Тогда из толпы этих скудельников вышел один пожилой, уже за шестьдесят лет, улыбнувшись, как улыбается фавн, обнажил крепкие зубы и сказал:

— Воистину это, стало быть, я сам и есть.

Тогда гончары бросили рассказывать о своих промыслах, и началось веселье вокруг этого жреца бога Ярилы. Все повторяли:

— Власич вам все покажет.

И сам Власич сказал:

— Пойду, попытаю.

Скоро мы услышали пение и поспешили на улицу, где теперь бабы и девки чистили поле.

Это известно:
бабы, наступая против девиц, поют:

— А мы сечу чистили, чистили!

Потом девицы наступают, и так две эти партии, медленно двигаясь по улице, разыгрывают земледельческую драму, как она выходит из слов известной стариннейшей песни: «А мы просо сеяли, сеяли».

Одни сеют, другие коней пускают и топчут, коней ловят хозяева ляды и назначают за них выкуп: девицу. Молодец вступается за девицу, и в ход пускаются ножи...

Все в общем представляется, как подготовка к действию, расчистка поля, на котором вот скоро уж теперь и начнется самый посев.

Власич довольно перешептался с бабами, заправилами, согласился и стоит теперь в ожидании, когда расчистят сечу для посева.

Кто-то в толпе говорит о Власиче:

— Это у нас Посевком.

И сам Власич, услышав это, об'ясняет нам, что бабы давно уже его выбрали, и он теперь один сеятель, больше уже никто сеять не может. Время от времени он исчезает куда-то и возвращается все веселее и веселее. В последний раз он приходил с огромной жердью, раз в десять больше себя, и к верхнему концу ее прикрепляется пучок крапивы.

Жердь подымается:

Ярило дубовый
На палке высокой
У дерева стал.

Вокруг сеятеля образуется огромный круг зрителей, внутри же в три группы садятся дети, каждая группа на равном друг от друга расстоянии, треугольником.

К дедушке сеятелю подходит бабушка, второе действующее лицо, всем известная здесь забавница Марфа Баранова. Дедушка и бабушка хозяйствуют в кругу, перемещают ребят, чтобы удобнее было между ними ходить, дают советы руководительницам сложного хождения всей массы баб и девушек в кругу. Наконец, все готово, в круг вступают первые звенья бесконечной цепочки разодетых по-праздничному женщин. Идут с песнями змейкой между тремя группами детей. Остальные свиваются спиральными кольцами. Каждая в конце концов пройдет следом другой, но для зрителя скоро скрываются дети, между которыми ходят женщины, линия их хождения исчезает, и кажется, даже они вовсе не ходят, а все волнуются правильно, как спелая нива ржи,

и все тянет к высокому шесту с крапивным пучком и стоящими под ними дедушке и бабушке.

Хор поет:

На горе-те мак, под горою мак,
Мак-маковицы, красные девицы,
Станьте в ряд.

И спрашивают:

Поспел ли горох,
Поспел ли бобун,
Поспел ли цветун.

Хор умолкает, ожидая ответа дедушки и бабушки.

Нет, оказывается, горох не только не поспел, а даже земля не вспахана, и нет коня: нужно еще вырастить жеребеночка, да и того еще нет: надо послать за кобылиными яйцами.

Все посмеялись и опять пошли кружить с пением:

На горе-те мак...

Так проходит время, и на вопрос хора: «поспел ли бобун», дедушка отвечает, что жеребонок-то вырос, да вот беда, сошник сломался, надо заказать кузнецу наварить шестивершковый конец.

Проходит еще сколько-то времени, а тут новая неуправка: захворал дедушка, некому пахать и сеять.

И так дедушке все неможется, и долго растет горох, а девушкам все не терпится, все они кружат и спрашивают:

— Поспел ли горох?

Весело становится, когда дедушка начинает поправляться и пошучивать с бабушкой, да как еще пошучивать. Сильно растет и горох.

— Ну и хороший же будет наш бобун,— кричит сеятель.

Вот он уже в ленточках, вот показался спелый стручек в шесть вершков.

Тогда вся масса женщин наступает и в последний раз спрашивает:

Поспел ли горох,
Поспел ли цветун
Поспел ли бобун.

С громким криком:

— Поспел!

дедушка выпускает жердь с крапивным пучком, женщины расступаются, он с шумом падает на землю, дедушка валится на бабушку, молодые люди гонятся за женщинами с крапивой, стегают их по ногам.

Зрители, развеселенные и довольные, повторяют:

— Поспел, поспел.

Бабы богомерзкие.

Когда представление кончилось, мы пошли в дом к Власичу и позвали сюда Марфу Баранову. Тут мы записали обряд со всеми подробностями и множеством таких прибауток и слов, какие не оставляли ни малейшего сомнения, что мы имели дело именно с Ярилой, богом весны человека. Правда, это были довольно жалкие остатки древнего культа, но и то их было довольно, чтобы воскресить утраченное огромным большинством людей чувство благоговения к силе, воспроизводящей на земле человека. Мы даже и поняли, каким образом достигалось это: потому что все грубо называлось почти своими именами, но грубость эта была необходима, как грубость земли, производящей тончайшие кружева трав и цветов...

Мы были довольны и счастливы даже этими жалкими остатками весны человека, потому что мы были ученые люди: ученые всегда довольствуются только остатками...

С обратной поездкой вышло, как в крапивном действии: жеребеночек был в поле, и надо было за ним сходить, поймать, привести. Нас ненадолго оставили сидеть в избе одних с Власичем и Марфой Барановой, мало-по-малу стали собираться разные любопытные, и вдруг те женщины, которым мы дали немного денег после Крапивного действа, ворвались к нам в избу, как ураган, и все вместе кричали, как стая огромнейших птиц, стало даже немного жутко от этой вакханалии, казалось, что вот кинутся все и разорвут в клочки. В особенности орала баба, как бы вырубленная из камня и покрашенная, рядом с ней была желтая, и совсем красная и хорошенькая чернушка, схваченная порывом урагана, у всех до одной были открыты рты, и зубы сверкали. С трудом дознались мы, что все они кричали по-разному одни и те же слова: шестьдесят копеек и, когда мы, наконец, догадавшись в чем дело, всыпали одной бабе в руку эти шестьдесят копеек, то все бросились вон из дома и вихрем понеслись куда-то по улице, некоторые сильно спотыкаясь.

— Вдовы и бездетные,— сказал нам Власич.

— Вдовы,— сказал я,— это понятно, но у бездетных есть мужья.

— Да разве можно угнаться мужу за бездетной женой?—бездетная женщина вольная.

Несомненно, перед нами прошли те упрямые язычницы, которых отцы нашего христианства называли бабами богомерзкими.

Но не в них было дело, такие бабы есть всюду, а в том отношении к ним солидных крестьян, бывших вместе с нами в избе Власича. Один из них даже прямо сказал:

— Мы считаем, что от этих женщин нам большая польза: нужно же, чтобы кто-нибудь давал нам в жизни веселье.

Зацветание ржи.

Наступил глубокий красивый вечер. Ржаные поля зацветали. Всюду веяло могучей любовью, исходящей от роста живых существ, рожденных землею. Мы ехали с Власичем на телеге, и он рассказывал нам о себе, что вот

какое ему вышло горе с первой женой: ребеночек был разрезан в утробе, и после того с ней нельзя было жить супружески и так он мучился с нею всю жизнь, правда, не говел, но детей все-таки не было, а без детей крестьянину какая жизнь! Ну, вот и умерла та жена, женился на молоденькой, пошли дети, все маленькие, ему же теперь уже за шестьдесят, силы начали убывать, а ведь работать-то на семью приходится больше и больше: и верно: ему уж так и не увидеть в своей семье помощников.

В то время мы проезжали селом, и на пути нашем встретилась необыкновенно длинная и высокая антенна. Власич этим очень заинтересовался и пришлось ему рассказать о радио.

— А слышали вы, — спросил он, — про обезьяньи семена, будто вот спрыснуть — и сразу помолодеешь лет на пять?

— Что ты говоришь, — сказал мой спутник, — не на пять, а лет на двадцать пять.

— Нет, нет, — сказал Власич, — мне бы только лет на пять надо, ребятишки бы подросли, а больше не надо, зачем!..

И стал вполне серьезно упрашивать, как бы так раздобыть этих семян.

Между тем село это, где мы увидели антенну, было бесконечным каким-то, мы ехали, и конца ему не было, нехватило горы, спустилось в болото и оттуда опять полезло в гору новыми постройками, видно, что народ в этой глуши множился с великой силой, распространялся, пер...

Тут открылось нам в оранжевом свете последней зари слияние реки Нерли и Кубри и за мостом, такое как Андрианово, напирающее жизнью Грогорово, и тут же была масса народу и на берегу и на улицах, и все это жило, звучало теми частыми песенками, похожими на поденок. А по реке на своей большой лодке ехал поп Филя, и на лодке у него сидело человек сорок, голова к голове, ребятишек, так что похоже все было на Мазая с зайцами: поп катал детей. Робинзоны катали девиц, и их было на лодке то же часто и густо, как у Мазая, и тут же пели все безотрывно под мандолину и балалайку. Увидав нас, весь народ повалил вслед за телегой, и так мы прибыли к своим палаткам на берегу Кубри, окруженные таким множеством, что мы едва продрались. Так за один только день нашего отсутствия экспедиция совершенно вышла из своей научной колеи, и когда явился подвыпивший поп Филя, вообще трусивший своего ученого хозяина, то получил от него такое наставление:

— Ты, отец, не очень-то уж увлекайся краеведением.

У немецких колонистов.

Ал. Ракитников.

За городом змеей метнулось полушоссе-полумостовая, полуцелинная дорога, развернулся степной простор, горный бег полуканавы, полуручья, и вдруг, когда вблизи уже замаячили очертания домов, готической кирхи и колья виноградников, стали попадаться какие-то незнакомые люди, нездешние, какие-то иностранцы, с гладко выбритыми щеками, с удивительно голубыми глазами, в фетровых шляпах.

Эти иностранцы ехали не на неуклюжих, облыселых буйволах, а на прытких, хорошо откормленных лошадках. Многие ехали с дамами, и вокруг — торчали в изобилии картонки и чемоданы в полосатых чехлах. Все поражало аккуратностью, чистотой и целесообразностью.

Линейка лихо в'ехала на базарную площадь и выплеснула меня вкупе с портпледом в об'ятия унылой и пустынной столовой с неизменными местными яствами — брынзой и шашлыком.

Проглотив с места в карьер немалое количество горячего чая и узнав, что все номера заняты в гостинице, я бросился в сельсовет хлопотать об угле. Немецкая аккуратность и деревенская целесообразность поставили меня в известность, что сельсовет открывается в два часа дня.

Сельсовет — здание — умилил меня своей старинной вывеской, возвещавшей:

«УПРАВЛЕНИЕ ЕЛЕНЕНДОРФСКОГО СЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА».

Вокруг не было намека на красный флаг, на столь излюбленные в соседних деревнях кумачевые полотнища с выпуклыми буквами лозунгов. Вокруг ничего не давало знать, что вот уже 8 лет в СССР происходит классовая борьба и советская стройка.

Расположенная неподалеку кирха, простодушно посвященная святому Иоганну, с большими колокольными часами, дополняла мирную картину. Отбивая часы и четверти мерным охриплым грохотом, как некогда десять лет тому назад, часы вселяли тревожную мысль: а что если на площади — топорный, несуразный картуз городового и неуклюжий, покрытый лаком, кобур с красным шнуром? Но когда обеспокоенный глаз соскользнул

16*

с циферблата часов на площадь, он радостно охватил смуглое типично-тюркское лицо милиционера и успокоился.

— Старшина будет в два, — чисто по-русски сказал белокурый немец, приветливо улыбаясь и расправляя свои рыжие, пушистые усы.

— Предсельсовета? — спросил я.

— Если господин подождет до двух, то он увидит старшину.

— А где у вас ячейка?

— Вот секретарь стоит возле фонаря.

Это была знакомая фигура, простецкая, незамысловатая. Серая, солдатская шинель, ну, конечно, с хлястиком, нелепо болтающимся на одной пуговице, разлезлые американские ботинки, обмотки, и, наконец, выцветшая фуражка с изломанным козырьком.

— Вы, товарищ, откуда будете? — сказал секретарь. — Мандат у вас есть? Регистрировали его в Гандже? Нет? Как же так, неудобно. Ну, да, ладно. Вы приехали поглядеть, как живут немцы? Хорошо живут. Вы спрашиваете, есть ли у нас в ячейке немцы? Ни одного. Даже комсомольца нет. Как так? Да вот так. Ни в одной колонии нет партийных немцев. Вот, приезжали в Анненфельд наши немецкие товарищи из Германии, говорили им, в кирхе говорили, потому что в другом месте не соберешь. Никаких результатов. Не пробрало. Нет, немца не возьмешь!

Чем больше он говорил, тем сильнее в голосе его чувствовались нотки раздражения, глубокого, застарелого, неизлечимого.

Мы прошли в учисполком, поразивший меня своей неуютностью, холодом и бедностью. Секретарь показал три комнаты, махнул рукой на множество головных чучел кабаньих и иных, заполнявших переднюю, на заржавленный телефон и сказал:

— Вот так живем. Бедность. Вот флаг хотели приобрести, восемь рублей, небольшие как будто деньги, но и их нет. Если бы сам старик Форер, известный богатей, не топил бы печь, которая выходит и к нему, мы бы все здесь зимой перемерзли. Дров нет.

От здания учисполкома мы начали обход колонии Еленендорф.

Прямые улицы были заполнены вгустую аккуратными, чистенькими домиками в один — два и даже три этажа, некоторые из них напоминали уютные, пышные особняки, какие встречаются в прежних богатых кварталах больших городов. Каждый дом имел балкон со скамьями, под которыми, обычно, грелись охотничьи собаки, холеные, родовитые. Белые оконца с занавесками оттеняли наружную голубую краску, на дверях торчали звонки, прорези для писем, медные дощечки с фамилией обитателей.

Секретарь едва поспевал за мной, чуть хромая на одну ногу, и неодобрительно кривил губы при виде всего этого. Я принужден был взять под защиту «культуру». Он был положительно огорчен всем: и водопроводом, и асфальтом улиц, и электричеством, и пианино, и образцовым порядком во дворах.

В конце концов, он согласился со мной, что это все похвально, достойно подражания, и что вся беда в одном, — немец не хочет якшаться

с прочим населением, ему нет никакого дела до советского строительства, он обособляется, замыкается в свою скорлупу и со скрежетом зубовным следит за наплывом пришельцев, за их работой, за их критикой.

Секретарь говорил:

— Тут все крестьяне. Некоторые — богачи, но все равно. Не важно, что у некоторых и сейчас колоссальные многотысячные доходы, огромное имущество. Они пользуются своим деревенским положением и своим влиянием, заставляют тех, кто победнее, сторониться всякой новизны. Попробуйте отобрать у них комнату для школы, под читальню, да наконец под жилье для батраков. О, они хорошо знают законы. Мы — деревня, у нас — никаких национализаций! В два счета передадут дело адвокатам, и глядишь, закон на их стороне. Но, в действительности, разве это допустимо? Батраки и крестьяне недоумевают: где же здесь рабоче-крестьянская власть? Где? Богачи живут в хоромах, а батраки ютятся из милости в холодных конюшнях по 25 человек гуртом, словно скот.

Секретарь вопросительно взглянул на меня и закашлялся.

— Вообще, трудно. Почти все кулаки. Сплошь. Кооператив «Конкордия». Разве это кооператив? Может быть и кооператив, но не наш. Нет, нашему брату, бедному виноградарю — не суйся. Взнос чуть ли не 200 ведер вина.

Он безнадежно махнул рукой.

— Выборы были. В совет. Старались побольше бедных провести. Не выгорело. Все-таки десять человек провели от нацменьшинств.

Я расстался с ним у небольшого двухэтажного домика, занятого под главное управление «Конкордия».

Комната правления поразила меня кожаными креслами и тучными фигурами, как будто только что сорвавшимися со знаменитых карикатур Дени и Моора на европейскую буржуазию. Приняли меня вежливо, обещали помочь познакомиться с виноделием и дали письмо в учотдел, в еленендорфскую группу, на предмет осмотра винных подвалов и заводов.

Ровно в два часа я зашел в сельсовет и впервые столкнулся с председсельсовета Робертом Куном.

Огромного роста, в черном драповом пальто с огромным шалевым воротником из каракуля, он походил на добродушного бюргера. Красные щеки с прожилками говорили об умеренном пристрастии к вину.

Он внимательно прочитал мой мандат, сморщил лоб и сказал:

— Что вас всех так интересуют немецкие колонии?

— Как всех?

— Ну да. Ездят и ездят без конца. А потом неприятности. Верно, и вы будете кляузничать на нас.

Я постарался, как мог, об'яснить ему, что такое советская пресса и каковы мои задачи. Он недовольно помял бумаженку, долго говорил, что ему негде поместить меня, что недавно какие-то люди приезжали и все смотрели, что в приезжем доме живут два инженера по изысканию места для электрогидравлической станции и потому нет места, что, вообще, все завидуют

немцам, а немцы работают с утра до вечера, не могут ходить грязно и неряшливо, то-есть без воротничков и галстуков, так как немцы культурны.

Тогда, памятуя секретарские слова о колонистской замкнутости, о недоверчивости к чужакам, я бросил на чашку весов увесистую гирьку лжи. Внезапно оказалось, что моя мать была немкой, мой отец тоже почти немец (с некоторой примесью чужой крови, но, ведь это не страшно!), а посему, ввиду такой благодарной наследственности, я не причиню никаких неприятностей колонии.

Предсельсовета смягчился.

— Да, конечно, — сказал он, — я сам против роскоши, я всегда говорил нашим женщинам, что теперь не время носить такие ботиночки и такие чулочки. Это вызывает только зависть. Только.

Он обещал устроить мне квартиру к вечеру и оказать всяческое содействие.

Еще с полчаса я мирно беседовал с ним о разных разностях, а главным образом об истории колонии.

Под конец я спросил его:

— А почему у вас нет ни одного партийного немца?

— Что правда, то правда, нет ни одного. Но я всегда говорил, что это большое упущение, большое.

Я хотел задать ему каверзный вопрос: не думает ли он обзавестись партийными в том же порядке, в каком принято обзаводиться разными хозяйственными предметами.

Но у меня было достаточно оснований полагать, что предсельсовета не поймет моей иронии.

Он печально развел руками и даже снял каракулевую шапку.

— Но мы стоим за Советскую власть. Мы во как стоим. Когда здесь было восстание и приезжал красный командир Курышкин, мы в полчаса дали подвод, лазарет оборудовали на 60 кроватей и, вообще, всем чем могли помогали.

Я попрощался с ним мирно. При выходе я опять заметил, что в помещении сельсовета, на-ряду с относительной роскошью обстановки, не было ни одного плаката, ни флагов, ни лозунгов, кроме портрета Ленина.

Я зашел в рядом расположенную читальню. В ней было холодно, неуютно, пустынно. Во всем чувствовалась бедность и скудность. Это была читальня нацменьшинств. Какой неприветной и чахлой показалась она мне потом, когда я столкнулся с помещением немецкого клуба, с библиотекой-читальней.

В тот же день вечером судьба свела меня с одним немцем, и я сказал ему просто и открыто все, что видел и знал: сказал ему, что немецкий колонист должен стать советским, не должен отгораживаться от окружных деревень, не должен вариться в собственном соку, отсиживаясь за сытой, плотной «конкордиевой» изгородью.

Я сказал ему, что вот был в школе и не видел ни единого пионерского галстука.

Я сказал ему, что ни один немец не читает «Роте Фане».

Одним словом, я наговорил ему кучу всякой всячины, какую не опровергнуть.

Но мой собеседник, мой симпатичный, добрый голубоглазый Фриц ни черта не понял.

Его глаза даже как будто потемнели от внезапного, искреннего гнева. Но он сохранил самообладание и даже улыбнулся.

Он постарался переменить тему разговора. Он предложил мне выпить третью рюмку наливки собственного изготовления и провозгласил тост за воздушный флот.

Дело в том, что сегодня ему всучили эмалевый флажок за рубль, и он считал нужным рассказать мне об этом факте насилия и обмана. Ему обещали, что за этот флажок он может бесплатно полететь. Он убежден, что это сущий вымысел.

По существу, Фрицу не было никакого дела до воздушного флота, как и до всего того, что делается в СССР, над чем изо дня в день люди ломают головы, неустанно созывают конференции, с'езды.

Я не старался его разубедить.

— За этот флажок, — смеясь, сказал я, — вы можете полететь лько с собственной лестницы, вверх тормашками.

Он остался очень доволен моим ответом и искренно засмеялся.

Упорен и трудолюбив немецкий колонист. От дальних предков по сей день — не устают здесь работать над землей. Человек с большим достатком не ленится встать спозаранку, чтобы творить дело, чтобы копаться в своем виноградном хозяйстве.

Многие побывали за границей, изучали всякие науки, всякие отрасли хозяйства, в том числе и виноградарство, и, получив научный диплом, все же вернулись обратно на родину, чтобы помочь своякам улучшить качество лозы, выделать лучшее вино. Новые заводы строятся руками тех же колонистов. Если нужно бороться с вредителем, от домашних доморощенных способов твердо переходят к научным обследованиям, лабораториям, где досконально изучается свойство и навыки вредителя и средства борьбы с ним.

В хозяйственном смысле немецкий колонист лишен консервативных начал, он не боится нового. И отсюда его нескрытая усмешка при виде отсталости соседних хозяйств, его вражда к лености и ко всему тому, что об'емлется двумя звучными русскими словами — «авось да небось» — законно и об'яснимо.

Наладив свое виноградное хозяйство, немецкие колонии создали великолепно работающие торговые аппараты, отменно и широко распространяющие винные фабрикаты и дающие большие прибыли участникам своеобразного производственного кооператива. Нет почти по всему Союзу республик такого крупного города, где бы не открыты были конкордиевские магазины, где бы громко не кричала и тыкалась вам в лицо конкордиевская реклама.

В местном Елененндорфском учотделе «Конкордия» меня приняли радушно и тепло. Дали в провожатые упитанного, низкорослого, голубоглазого парня. После осмотра просили даже заглянуть в контору — поговорить о непомерном акцизе, убивающем все виноградное дело.

Мы спустились по сыроватым узким ступенькам вниз, в огромный полутемный подвал, и нас тотчас же обдало влажным винным запахом.

Перед нами протянулось великолепное зрелище.

В чистоте и порядке стыли ряды бочек различных размеров. В узких коридорчиках мерцали электро-лампочки, придавая всему этому чудовищно-таинственный вид. Огромные, тысячеведерные бочки походили на каких-то громоздких, тупорылых каракатиц. Мелком были отмечены годы разлива. Вина были исключительно молодые.

После долгих блужданий мы, наконец, выбрались в небольшой тупичек, где в сетках лежали бутылки, крытые пылью, копотью и плесенью лет. Моложавый парень в переднике полез на верх и, ловко просунув руку сквозь сетку, добыл старые бутыли.

— Есть такие, что уже превратились в камень. Сто лет лежат здесь,— сказал спутник, стараясь поразить меня огромным количеством прошедших лет. Но подвал этот построен в 1910 году.

Старое вино на вкус было чрезвычайно мягкое и, несмотря на свою крепость, не отдавало алкоголем.

— Теперь нет старых вин. Старое пьем сами в исключительных случаях. На рынок идет молодняк. Коньяк тоже молодой.

Мой спутник печально засмоктал губами и, отпив с полстакана, прищелкнул языком. Затем он рассказал давнюю повесть о том, какие выделывались вина, сколько труда ухлопывалось на них и какая нужна была выдержка, какие знатоки водились везде и всюду. Под конец он безнадежно махнул рукой и вспомнил о злополучной тридцатиградусной «рыковке». Он был недоволен «русским мужиком», которому давай «самогон», чтоб пить «ви эйн швайн».

Мы проследили весь путь винограда. От бочек, где он бродил, от кубов, где уже вываривался спирт и коньяк, вплоть до промывки бутылок, наклейки этикетов и заворачивания «финь-шампаня» в соломенные сетки.

Затем мы посетили бондарное отделение, работавшее перебоями в виду нехватки леса.

В общем было потрачено более трех часов на один поверхностный осмотр этого замечательно налаженного производства.

Когда мы вышли на свежий воздух, мой провожатый выглядел гордо и самодовольно. Чем он был здесь? Всего-на-всего маленьким винтиком, чуть заметной гайкой, но он чувствовал, что доля его энергии и воли во всем этом, и что эта доля применена и использована должным образом.

И для того, чтобы завершить победоносный круг, он указал на крепкие массивно слаженные подводы, на крутозадых, широкоспинных лошадей, и рассмеялся, радостный и довольный, и поглядел на меня вопросительно.

Я похлопал его по плечу и пожал руку.

Поздно вечером я заглянул в немецкий клуб.

Ни извне, ни изнутри я не заприметил никаких революционных надписей.

Это был просто типичный деревенский немецкий ферейн-клуб, где принято выпить, закусить, потанцовать, наконец, позлословить.

Я узнал, что при клубе существует спортивный кружок «Турнер». На аршинном плакате был изображен здоровый веселый юноша, трубящий сбор. Конечно, вокруг шеи у него не было пионерского галстука, конечно, под мышками он не держал ни «Барабана», ни «Смены». Это был добронравный маменькин сынок, паинька, вполне достойный своих папаш, просто укрепляющий свою глотку.

Рядом с плакатом — поодаль и напротив — тянулся ряд фотографий «времен Очакова и покорения Крыма». Почтенные люди в пиджаках и в фетрах играли на тромбонах и флейтах, на груди у некоторых торчали медали, у некоторых даже были золотые погончики, очевидно начальство, оказавшее честь папашам своим чиновным присутствием, возле некоторых групп виднелись трофеи охоты и солидного выпивона, живописные группы дышали весельем и почтенной сытостью, некоторые были окружены производственными регалиями, так сказать, символами, бочками, кружками, и, казалось, явно покачивались, хотя мертво стыли на фотографиях.

О, отошедшие дни Аранжуэца, о, славные тени недавнего прошлого, о, милые, отошедшие в небытие папаши! Кто-то давным-давно развесил вас здесь, кто-то прибивал вас почтительно к этим стенам, твердо веря, что благодарные потомки пойдут по вашим стопам, что им неповадно будет жить иначе, как жили вы в старые, добрые, буржуазные времена.

Милые папаши, вы не ошиблись! Вы оказались в тысячу раз правы. Потомки любезно сохранили вас здесь и по мере сил стараются не пасть перед вами в грязь.

Позже, на другой день, мне пришлось побеседовать с завклубом. Он пытался смягчить дурное впечатление, вызванное внешними обстоятельствами. Но, увы, ему нечем было крыть. Хорошо работали драмкружки, хоровые, оркестровые, но других не было и в помине.

Вместо входной двери, я нечаянно попал в маленькую комнатку, где неистово играли в кегельбан. Румяные, здоровые парни добросовестно отдавались умеренному азарту. Я попросил какого-то высокого, бритого «иностранца» показать мне выход на улицу.

Он предупредительно провел меня и вежливо заговорил со мною. Узнав, зачем я здесь, он счел нужным завести со мной беседу о музыке и пожаловаться на музыкального руководителя. Колония выписала музыканта из Германии, но этот музыкант «много о себе думает». Он выдумывает разные новшества, он поклонник новой музыки. Это ли не грех? Это ли не преступление перед подрастающим молодым поколением, желающим изучать, верно, одни мелодичные вальсы и увлекательные фокстроты?

О методах литературной науки.

Генн. Поспелов.

Свою статью «Вокруг вопроса о „формалистах“» Б. Эйхенбаум начинает с указания на тот интерес и повышенное внимание, которые заметны в широких литературных кругах к формальному методу и работам его адептов. Думается, что это звучит слишком гордо. По существу предмет этого интереса шире только «вопроса о «формалистах». Кажется, лучше было бы его обозначить вопросом о литературной методологии вообще. Интерес к формалистам, а также и выступление их самих являются симптомами оживления вокруг вопросов строительства молодой науки о литературе.

У формалистов существуют теоретические враги — социологисты. Интерес и внимание к их методу и их работам заметны не меньшие. В журналах, газетах, на диспутах и ученых заседаниях, в студенческих докладах и работах специалистов интерес и стремление овладеть этим методом, разработать его растет неослабеваемо. Между представителями этих двух методов часто происходят устные и печатные ратоборства, при этом, обычно, довольно сомкнутым строем. Все это доказывает, что научное строительство в расплывчатой и трудной области литературоведения поднимается в гору и поднимается не спокойно, на ровном месте, а на каменистой почве научного или, быть может, донаучного наследства и под ярко выраженным обстрелом со всех сторон. Конечно, не случайно этот под'ем датируется нашим временем, — этому есть веские причины; не случайна и наличность обстрела и перекрестной пальбы; всякий, кто еще уверен в существовании чистой и независимой науки и теории, должен разубедиться в этом на нашем примере. Но, несмотря на эти добрые признаки оживления и под'ема, впереди еще много трудностей, много сложных и спорных вопросов; и даже не только несмотря, но и вследствие их наличия: каждая попытка заложить фундамент заставляет раскапывать почву, где прозябают тяжелые глыбы донаучных убеждений. Поэтому снова и снова вернуться к основным вопросам строительства литературной методологии кажется не лишним.

I.

Оба вышеуказанные метода об'единяют собой довольно большие группы исследователей, которые образуют два методологических направления, каждое со своей историей и с довольно пестрыми оттенками в своей среде. Их работы

и выступления заставили всех, имеющих отношение к литературной методологии, высказаться и занять свою позицию. Признание интереса и научной ценности работ тех и других побудило многих попытаться сгладить крайности, воспользоваться приобретением обеих сторон. Возник ряд промежуточных позиций; заговорили о формально-социологическом методе, который приобрел много последователей (конечно, в теории: практика у нас до крайности бедна). Хотя Б. Эйхенбаум заявил, что формального метода, в сущности, нет, а «фор-соцы» играют смешную роль, последние упорно говорят о своем методе и протягивают руки в обе стороны. Попытки найти каждому методу свое место, разобраться в вопросах методологии принимают уже и более основательные формы в виде системы классификации методов. Такую попытку мы имеем в книге проф. Перетца «Краткий очерк методологии истории русской литературы», который указывает девять об'ективных методов: исторический, историко-политический, историко-психологический, культурно-исторический, эсто-психологический, сравнительно-исторический, эволюционный, эволюционно-этнографический и филологический. Недавно предложил свою систему и проф. П. Н. Сакулин, в статье «Методологические задачи историка литературы», которая пока, кажется, осталась без обсуждения, несмотря на приглашение редакции [1]). Указывая, что методы должны быть классифицированы по задачам исследования, которым они служат, автор делит методы на три группы, соответственно трем задачам: на имманентные, каузальные и конструктивные; затем каждую группу еще на две: статические и динамические методы. Имманентное изучение поэтической формы производится «с помощью тех методов, которые выработала теоретическая поэтика... и какие в частности практикуются так называемым формальным методом». Каузальное изучение тождественно с применением социологического метода, в статическом разрезе и историко-социологического — в динамическом. В качестве конструктивного называется генерализующий метод. Филологическое изучение текста, обращение к биографии методами назвать нельзя, — это вспомогательные разыскания. Повидимому, мы имеем здесь тоже разновидность формально-социологического метода, только логически обставленную и широко намеченную, хотя в каждой группе и предполагается несколько методов.

Наконец, кроме выдвигания одного определяющего метода, или более или менее толковых попыток соединить и примирить два в данный момент преобладающие, можно встретить голоса, осуждающие подобную узость. Так проф. Н. К. Пиксанов предостерегает от «фракционной предвзятости» и указывает, что «литературная наука своим предметом имеет явление столь сложное, что ограничиться каким-нибудь одним монопольным методом в ней было бы положительно вредно. Поэтому вполне приемлемы — и *давали отличные результаты* (курсив наш. *Г. П.)* — самые разнообразные методы: лингвистический, формальный, эстетический, психологический, со-

[1]) За то время, когда наша статья находилась в наборе, в 5 — 6 книге „Печать и Революции“ появились отзывы И. Гроссмана-Рощина, Н. Фатова и Г. Лелевича, в некольких отдельных пунктах совпадающие с ее положениями.

циологический» («Два века». Предисловие). В кругах фольклористов особенно продуктивным и ценным считается сравнительно-исторический метод, как он был намечен А. Н. Веселовским.

Итак, методов очень много. Они то выдвигаются, как монопольные, то соединяются вместе, то применяются по очереди. Об их научности и целесообразности спорят очень много и чаще не соглашаются друг с другом. Формалисты считают не научными историко-культурный, социологический; представители последнего — формальный. Перетц считает суб'ективным эстетический метод; Сакулин — не методом — лингвистический; у Пиксанова оба они дают прекрасные результаты на-ряду с социологическим и формальным. И формалисты и социологисты недовольны формально-социологическим методом. Увлечение методами большое. Методами интересуются, о них спорят, ими ругаются. Методов появляется все большее количество. Б. Эйхенбаум справедливо замечает, что «понятие «метода» за последние годы несообразно расширилось — все стали называть методом», и советует вернуть ему «прежнее скромное значение приема исследования... конкретной проблемы». Однако именно так и понимает этот термин; проф. Сакулин называет методом «совокупность приемов научного исследования», и в его системе их может уложиться самое меньшее — шесть. Если метод — прием, а приемов может быть десятки, то значит десятки и методов. И, кажется, методом будут скоро называть, действительно, «все». Н. К. Пиксанов в статье «Новый путь литературной науки» говорит, что на этом пути надо пользоваться не «дескриптивным, не телеологическим даже, а телео-генетическим» методом; что в случае, если трудно наметить, откуда идет влияние, можно его установить «методом аналогическим и ретроспективным», наконец, что «иногда возможно орудовать методом прямой документации». На этом пути можно договориться до того, что большинство ученых работает методом записывания своих мыслей на бумаге, при чем некоторые методом карандашной записи, а другие чернильной. Но это все, конечно, ничуть не смешно.

Суть дела в том, что по каким бы то ни было причинам, понятие метода так затерлось в своем содержании, так расплылось в своем об'еме, что говорить при таком положении дела о методах литературной науки, о их достоинствах и недостатках, научности и ненаучности стало совершенно бесполезным и невозможным делом. А так как вопрос о методе — основной вопрос науки, то очень трудно говорить и о науке, о ее задачах, об'еме, о научности отдельных работ. В вышеуказанных работах поднимается вопрос о принципах и задачах науки, в отличие от методов ее, делаются попытки классификации хоть части из указанных в разное время методов. Вопрос о принципах и задачах примыкает к вопросу о методах и пока столь же неопределенен; некоторые классификации поражают отсутствием логических принципов деления. В этом сказывается давление научного наследства, неумение разбираться в старых штампах. Если проф. Пыпин работал историко-культурным методом, то значит этот метод есть и, пытаясь построить классификацию методов, надо его туда включить. То же с методами Веселовского, Плеханова, Потебни, Сент-Бёва, Эннекена, Тена и др. Если ныне проф. Пи-

ксанов говорит о новом пути нашей науки: творческой истории произведений, то наш список удлиняется. Уважение к науке и ее деятелям требует от нас включить туда все это. Уважение — вещь хорошая, но фетишизм — дело плохое. Нам следует разобраться в содержании и об'еме понятия метод, попытаться конкретизировать это содержание, чего можно достигнуть или сужением об'ема понятия, или разграничением его об'ема, т.-е. установлением двух разных его смыслов.

II.

Метод и прием как синонимы или метод как совокупность приемов употребляются не только в нашей области, где это вызывает столько путаницы, но и в других науках; в частности в логике, хотя, кажется, этимологически понятие метода уже понятия приема. (Метод = méth-odos; ódós = первоначально; путь, дорога, далее: способ, средство, п р и е м; meth = в различных соединениях, — за, вслед, через, между; следовательно: метод — путь за, между, через; т.-е. через материал, через предмет изучения.) Нужно поэтому принять это широкое, расплывчатое понятие метода-приема, как родовое, наметить в нем нужное число видов и договориться об их точном наименовании и употреблении, так как при всей условности терминологии ее определенность нужна не только для разговоров; для этого можно установить добавочные определения при этих терминах или, что, кажется, лучше: прикрепить их к двум разным видам родового понятия, так как и этимологически, как мы видели, они не вполне тождественны. При этом мы имеем в виду потребности нашей частной методологии, вытекающие из особенностей предмета и, следовательно, построения науки, нимало не затрагивая и не впутывая сюда понятия методологии общей, которая говорит об общих, формальных методах мышления, имеющих значение везде, в частности и в нашей области. Этого не сделал в своей схеме П. Н. Сакулин, о чем, однако, ниже.

Метод — путь через материал, через предмет исследования. Литературоведение — общественная наука, изучающая историю, эволюцию определенной стороны общественной жизни. Его основная задача, как и всякой науки, или во всяком случае, чтобы не вызывать лишних возражений, как значительного большинства наук, — об'яснить предлежащие ей явления, этим овладеть ими, т.-е. получить возможность предвидеть их дальнейшее развитие. В этом смысле литературоведение нуждается в методе, т.-е. в пути через литературную эволюцию. Когда археолог во время раскопок обнаруживает неожиданно непонятные ему сооружения, он пытается об'яснить себе и другим свою находку, понять ее смысл, т.-е. найти ее причины; его мысль пытается найти себе путь через зачаточные остатки, найти центр и основу, откуда они выросли, отличить главное от второстепенного, основное и необходимое от случайного и наносного, постоянное от временного, раннее от позднего, найти целесообразность прежде всего этого основного и постоянного, т.-е. причины его возникновения на данном месте, в данных условиях. Конечно, одновременно он будет прикладывать все старания, чтобы оконча-

тельно очистить сооружения от засыпавшей их земли и пепла, будет обмерять их со всех сторон, устанавливать правильность их чередований и размеров, — все это будет важная и необходимая работа, но служебная и вспомогательная для основной задачи — об'яснить найденное и очищенное. В известном месте археолог сделает попытку такого осознания, выскажет известное предположение, наметит этот путь через материал (метод); распространение его далее, употребление в другом, третьем случае покажет степень правильности предположения, степень удачности пути — метода. Если с его помощью будут сделаны новые открытия, найдены места для новых плодотворных раскопок, метод покажет этим свою правильность, научность, т.-е. годность для основных целей науки, и обратно. Приемы вычерпывания земли, очищения стен, их измерения, сличения, конечно, можно тоже назвать методами, если эти слова уже прочно понимаются как синонимы, но тогда надо ясно отличить их от метода осознания, уяснения причин, и назвать служебными методами обработки в отличие от основного метода. Еще лучше было бы разграничить их более четко, назвав последний «методом», а первые «приемами». Мы будем придерживаться такого словоупотребления.

Мы использовали сейчас в качестве примера частный случай одной науки, но этот случай характерен и для большинства наук в целом, в частности для литературоведения, со всеми теми различиями, которые даются особенностью предмета. Литературоведение имеет свой предмет — огромное количество поэтических фактов, хронологически раскинутых в прошлом и все вновь возникающих в настоящем, сохраняющих свое значение до сих пор, возобновляющих его, или, наоборот, потерявших его безвозвратно. Оно имеет свои научные задачи: уяснить смысл литературной эволюции в прошлом, чтобы понять ее в настоящем и предусмотреть ее будущее; найти причины жизни и смерти поэтических фактов прошлого, чтобы иметь возможность наметить это для фактов настоящего. Для разрешения этих научных задач литературоведению надо иметь метод, путь через матерьял. При помощи той или другой методологической установки оно должно в общем литературном потоке наметить отдельные струи, из которых этот поток складывается; для этого надо уметь ясно отличить главные явления от второстепенных, основные от наносных, необходимые от случайных, т.-е. предположить что-то главным, основным, необходимым, при чем этот процесс различения является, с другой стороны, процессом установления функциональных связей. Без этого различения и установления, без употребления того или иного метода выполнить научные задачи невозможно. Предварительно, а затем и параллельно его употреблению необходимо произвести очищение и разработку матерьяла, — детальное ознакомление с ним, описание, сличение, классификацию. Эти служебные задачи требуют многочисленных приемов (служебных методов) для своего разрешения; и необходимо подчеркнуть, что неправильно представление этих служебных и основной научной задачи внеположно располагающимися на одной плоскости, так что по окончании первых можно приступить ко второй. Художественные факты — явление очень

сложное и многогранное. Наметить в них отдельные грани, описать их конструкцию — значит иметь уже определенную точку зрения, исходный пункт. При научной работе эта точка зрения диктуется методом. Один метод подчеркивает одни стороны в поэтическом факте, другой — другие. Отсутствие у исследователя научных задач, отсутствие метода, наличие у него задач ненаучных влекут за собой и определенную точку зрения на вещи. Описательные и классификационные приемы и работа с установкой метода — процессы, проникающие друг друга и не разновременные. Поэтому всякий, кто говорит, что наше дело пока только собирать факты и их описывать, что другие задачи еще далеко впереди, — только кокетничает с наукой: никогда он об этих задачах не думает и никогда он к ним не перейдет [1]). Затем: кроме описательных и классификационных приемов (если вспоминать о формально-логических методах, то сравнение и генерализация здесь необходимы, как и всюду), самое применение метода может иметь ряд различных приемов, но ни та, ни другая группа приемов не находится с методом на одной плоскости: все они проникаются методом насквозь.

Наконец, и литературоведение может иметь методы научные и ненаучные, т.-е. продуктивные или непродуктивные. Историко-культурный метод, видящий смысл литературных явлений в иллюстрировании фактов общественной жизни, был очень наивный метод, но все же метод. В науке он, кажется, теряет позиции, но, например, в школьных программах современности играет еще солидную и почетную роль. Методом служили в прошлом, да служат и в настоящем, различные системы об'ективного идеализма; иногда своеобразные перенесения в область истории психо-физического параллелизма. Наконец, различные материалистические системы, из которых диалектический материализм, кажется, обещает особенно богатые перспективы для нашей науки. Правда, мы еще не можем позволить себе роскоши, выносить безусловные решения, безусловные оправдания и суждения: ни один метод еще не встал у нас на ноги и не проявил себя в достаточной степени. Но несомненно, что: 1) метод испытывает себя на практике, 2) тот метод заслуживает названия научного, заслуживает внимания и труда, который дает, или хоть только обещает, возможность выполнения основных задач нашей науки.

III.

Возвращаясь к мнениям и убеждениям, распространенным в наши дни, к понятиям и словоупотреблениям, в которых они выражаются, мы можем из всего сказанного выше сделать соответствующие выводы. Прежде всего надо повторить вслед за Эйхенбаумом, что формального метода, конечно, нет, что выражение формальный метод, действительно, бессмысленно. Иссле-

[1]) Совершенно неправ поэтому А. Г. Цейтлин, считающий, что «изучение стиля и установление связей его с социальной средой — два различных и методически несходных между собой задания», и что марксисты заинтересованы в успехах формалистов (ст. „Марксисты и формальный метод").

дователи, об'единенные в «Опояз'е» и примыкающие к ним, никаких научных задач себе не ставят и поэтому в методе и не нуждаются. Они сосредоточили себя на описательных и классификационных задачах, которые, как мы уже указывали, являются лишь служебными задачами науки. Но так как в данном случае эти задачи оторваны от основных научных задач, точка зрения и исходные пункты определяются не ими, а какими-то другими принципами. Отсюда и особенность этой точки зрения: сосредоточенное внимание только на форме вообще, в частности и особенно на явлениях внешней формы, эстетического убранства поэтического факта. Отсюда пренебрежение к более глубоким слоям произведения, одностороннее культивирование теоретической поэтики, которая, по какому-то недоразумению, считается особой наукой. Все это вытекает из принципов. У формалистов нет метода, но действительно есть принципы. Основным принципом является отсутствие метода, принципиальное нежелание работать научно. Этому тоже есть свои причины, о которых распространяться здесь не место.

Во-вторых, надо сказать, вопреки Эйхенбауму, что социологический метод, или, точнее, метод диалектического материализма, в данном случае, так как социологических методов несколько, — существует, что выражение это не бессмысленно, но последовательно и логически верно. Определение здесь сужает об'ем родового понятия добавочными признаками, которые не находятся ни в каком противоречии с уже имеющимися в нем и не повторяют их. Эйхенбаум понимал метод и прием, как синонимы, заговорил о принципах, о настоящих, основных методах умолчал. Эта зияющая пропасть между принципом и приемом для Эйхенбаума незаметна, для нас она нетерпима. Материалистический метод — не прием, а именно основной метод науки, и метод настолько ценный и многообещающий, что к нему, как ни к какому иному методу, приложимо это название. Материалистическим методом можно работать применяя различные приемы. Для этой работы, конечно, остаются в силе служебные задачи изучения, описания и классификации матерьяла, но так как метод проникает приемы, то пользование этим методом определяет и подходы к этим задачам. Основной и определяющей стороной художественного факта намечается его эйдологический (образный) состав; художественный образ понимается и как формальная конструкция и как факт содержания. Установление эйдологической эволюции требует наметить эйдологическое сходство ряда фактов, с внешней стороны как будто сильно различных, что вызывает сильное недовольство у «спецификаторов», которые хотят насыпать голубю соли на хвост, не поймав его. Но всякая наука идет от широких обобщений к спецификации, а не наоборот. Этого требует метод.

Наконец, надо отметить неудобство и неясность выражения «формально-социологический метод». Такого метода нет, так как нет формального метода, да если бы он и был, то двумя методами сразу работать нельзя. Если же этим хотят подчеркнуть, что, пользуясь социологическим методом, надо изучить форму поэтического факта, то, кроме того, многое надо делать и совсем не следует к названию метода пристегивать названия всех приемов,

какими пользуется исследователь; таким путем можно построить большое количество названий разных методов, хотя бы с присоединением новых определений к «социологическому методу», — описательно-социологический, сравнительно-социологический и пр., и все это будут совершенно бесполезные плеоназмы. Самое определение «социологический» несколько расплывчато. От всего названия веет запах «основной проблемы-формы», что показывает, как эклектически было оно составлено, а затем и принято. Но название это привилось и иногда употребляется уже совсем невпопад. Так, В. Виноградов в книжке «Гоголь и натуральная школа» говорит, что книга В. Ф. Переверзева «Творчество Гоголя» открывает ряд исследований, оперирующих «двумя разными методами, которые путем искусственного скрещения ныне об'единены под названием метода формально-социологического». Все это — сплошное недоразумение. Искусственно скрещивать было нечего, искусственно выдумано название чего-то неопределенного, которое понравилось тем, кто хочет сидеть между двух стульев, не замечая, что один из них без ног. Работы В. Ф. Переверзева — интересные и уже продуктивные попытки вплотную работать методом диалектического материализма. Виноградов порицает «сокращение поэтики», но его работы прекрасно показывают беспомощное положение исследователя, бросившегося в омут «несокращенной поэтики», не умея плавать, не имея метода, ибо принципы формализма плавать не помогают.

На том же смешении понятий метода и приема основана неудача попыток классификации методов, например, проф. Перетца или Львова-Рогачевского (в «Литературной энциклопедии»). Недостаток этот можно усмотреть и в классификации П. Н. Сакулина. В ней не разделены основные и служебные задачи науки, а затем и приемы, методы частной науки и формально-логические методы вытянуты в один внеположный ряд и поставлены на одной плоскости, что не законно. В самом деле: в качестве конструктивного метода (третья группа) названы типологические обобщения (генерализация). Можно подумать, что в пределах первых двух задач, до перехода к третьей, генерализация не применяется, но в имманентных методах назван художественный анализ формы и содержания. Как же может быть произведен этот анализ без генерализации, без получения понятия какого-нибудь формального приема, без подведения под это понятие единичных явлений формы? Никак, если он не хочет обратиться в действительно «художественный». Всякое научное описание требует типологических обобщений; этим и занимается теоретическая поэтика, на которую здесь делается ссылка и которая почему-то стоит вне литературоведения и его задач. То же следует сказать и о номологических обобщениях в применении к изучению литературной эволюции. Наконец, и социологическое изучение (каузальные задачи) требуют применения этих и подобных им, общих для всех наук, методов. Таким образом конструктивные методы необходимы для выполнения имманентных и каузальных задач, т.-е классификация методов по задачам в данном случае не вышла удачной. Далее, как мы указывали, каузальное изучение литературной эволюции и представляет собой выявление основного метода науки, служащего основ-

ным ее задачам, в отличие от описательных, служебных методов (в нашем словоупотреблении — приемов), и проникающего собой эти приемы, организуя их и ставя перед ними служебные задачи; так что каузальные методы необходимы для выполнения имманентных задач, т.-е. и здесь классификация методов по задачам не может быть признана удачной. Сомнение вызывает и перекрестное деление методов на статические и динамические. Вряд ли мы можем изучать форму и содержание статически, т.-е. не прибегая к сравнению одного факта с другим, не усматривая этим сходства и различия, не намечая их эволюцию, все равно в ряде текстов под одним заглавием («творческая история») или под разными («имманентное развитие творчества»). Еще в большей мере это относится к социологическому изучению: вряд ли оно может производиться статически, над одним фактом или даже творчеством, не принимая в расчет динамики общественного целого, приведшей к этому моменту, и тенденций на будущее. Вообще в разбираемой нами конструкции абстрагировано то, что совсем не полезно абстрагировать, и обратно. В частности различение эволюционного и каузального развития, органических законов развития, присущих поэзии «по природе», и развития, вызванного внешними причинами, кажется или абстрагированием, и совсем ненужным, двух сторон литературной эволюции, так сказать внешней и внутренней, или чем-то еще более странным. В выше цитированной статье мы читаем, что «влияние это (каузальности. *Г. П.)* проникает не всюду: кое-где оно наталкивается на столь серьезные сопротивления, что результат нельзя выводить из прямого действия фактора, а лишь из процесса борьбы; кое-что и даже весьма существенное порой совершенно остается за чертой его досягаемости». В таком случае (безразлично: равен ли каузальный метод социологическому или нет) приходится думать, что: 1) есть факты, происходящие без причин, раз они находятся вне влияния «каузальных факторов», и тогда наука оказывается в странном положении, 2) «субстрат» литературной эволюции не только недосягаем для причин, но этим внешним причинам может оказать сопротивление, даже «борьбу», и тогда уж никто, конечно, не может сказать, как этот субстрат пожелает поступить на протяжении истории, а в «методологические задачи историка литературы» надо будет включить гадание. По линии этих внешних причин эклектическая (как бы этого ни затушевывал автор) система расползается по швам.

Предложенную П. Н. Сакулиным схему отношений: понимание предмета, — конкретные задачи исследования, — совокупность приемов, их разрешающих, т.-е. метод, нам кажется лучше перестроить так: общие задачи изучения, иначе — принципы (они могут быть научными и ненаучными), — определенный метод, в случае наличия научных задач, который может быть более или менее продуктивным, — приемы, вытекающие из данного метода. Такая схема лучше поможет нам разобраться в удельном весе отдельных моментов строительства науки и избежать тех ошибок и той путаницы, которая у нас так велика и которая делает бесплодным всякое суждение о нашем предмете.

Современная французская литература.

Р. Куллэ.

Без преувеличения можно сказать, что последнее десятилетие, столь насыщенное динамикой событий, отразилось в литературе всех европейских народов тематикой войны с ее трудностями, жестокостями и страданиями, с одной стороны, и еще в большей степени процессом ликвидации ее, принимавшим многоразличные формы социального выражения, — то вспышками революционных движений, то резкими противоречиями общественного отстоя в «мирной» обстановке глубокого экономического кризиса, пережитого после войны Европой.

Франция не пережила вз'ема революционной волны. Зато послевоенный ее период богат всеми оттенками бытового изживания великого потрясения, сдвинувшего группировки социальных элементов решительно в сторону пересмотра накопленных «буржуазных ценностей», ставших внушать подозрение в их значимости и несомненности.

Если война с ее военной цензурой и стеснениями для писателей, заглушив голос Ромэн Роллана, дала в сущности одну яркую фигуру писателя антимилитариста—Анри Барбюсса — на фоне бездарной патриотической поэзии, стряпающей, как известно, всегда по одному рецепту, годному для всех стран, свои угодливые поэтические пряники, то послевоенный период дал простор накопившимся материалам в художественной интерпретации, освещающим весьма многие стороны современного буржуазного быта Франции.

Когда молчат пушки, яснее слышится голос поэта. Это справедливо в отношении современной Франции постольку, поскольку послевоенный период открыл все поэтические шлюзы и донес голоса всех настроений — от традиционной французской песенки, впитывающей элементы злободневности в куплеты излюбленных размеров, до выражения крайних левых позиций как в области гражданских мотивов (Гильбо), так и чисто поэтических исканий.

Искание новой поэтики, новых закономерностей ритма, метра, рифмики, строфики и пр. вновь актуально стоит на очереди во Франции. В сущности движение в сторону литературного обновления в поэзии началось еще

до войны, поднявшись второй волной по пересмотру верлэновского наследия, и подготовлялось рядом теоретических статей в журналах, манифестами отдельных поэтических школ, пытавшихся обосновать новую поэтику и оправдать тот общий большой напор социальных тем, который ворвался в литературу, как непосредственный отзвук интенсивно развившихся капиталистических отношений, требовавших выражения в поэзии, то в виде поэзии «машинизма», «динамизма», «унанимизма» и пр. «измов», то в виде общей формулы «футуризма».

Последнее десятилетие в области чисто стихового творчества протекало под знаком футуризма, этого наследника и взрывателя канона символистов. Не случайно Маринетти является показательной фигурой и для французской поэзии. Все разнообразные группировки об'единяются одним признаком: буржуазностью идеологии авторов и стремлением найти новую форму, отвечающую ритму современной нервной жизни большого города.

Этот общий признак служит в то же время и отправной точкой к дифференциации. Одни приемлют и культивируют в поэзии настроения, переживания и капризные гротески большого города, создавая поэзию «машинизма», воспевая броненосцы, трамваи, аэропланы, динамику городского ритма, обнажают подвижные мимолетные эмоции социального порядка в изломанных метрах уитмэновского стиха; другие замыкаются в сферу «аморальных» переживаний, возведенных в степень эстетизма уайльдовского типа с поправкой на своеобразно понятый бергсонизм. Космополитические элементы ложатся тяжелыми кристаллами на дно поэтического кубка.

Но вот отгремела волна воинствующего империализма с его «патриотической» поэзией, и в послевоенной Франции поэзия вновь оказалась все в тех же группировках, только потерявших свою отчетливость и стерших острые грани космополитизма. Некоторая поэтическая реакция проложила дорогу к чисто французским реминисценциям. Мы встречаем школу «натуристов» с Сен-Жорж-де-Бушелье во главе, к которой примыкают преимущественно поэтессы (Люсиль Мардрю, Мари Догэ, Жанна Пердриель, Васспер и др.), культивирующие поэзию пейзажа, натюр-морта и прочих невинных вещей; рядом уживается школа «гуменистов» с Фернандом Грэгом и Альфредом Мортье и школа «католиков» с Шарлем Пеньи — явно глядящие назад в прошлое через окна символизма и в частности «sagesse» Верлэна; этот последний вообще «чарователь неустанный» и для «нео-символистов» и «символистов с тенденцией к классическому символизму» (Танкред де Визан, Ж. Ко, Гюи Кро, Лаванд, Коттинэ); и, наконец, большая группа поэтов не примыкает ни к какой школе, среди них много «славных» имен сегодняшнего литературного дня: Сеще, Милон, Ривуар, Мерсеро, Нолак, Морис Ростан (сын), Апполинэр и др.

Как видит читатель, группировки весьма беспорядочные и случайные, что, конечно, есть результат социального сдвига, происшедшего во Франции, но неосознанного еще художественно. В такие периоды — порой весьма короткие — количество литературно-поэтических группировок решительно живет за счет качества поэзии. Вспомним наши поэтические школы периода

1918—1923 г.г., среди которых неискушенный читатель блуждал, как в лесу, а такому испытанному критику, как покойный В. Брюсов, стоило много труда выяснить признаки группировок — далеко не полностью — на страницах «Печати и Революции».

Однако, среди хаоса поэтического разнобоя, во Франции громче других звучат голоса «унанимистов» с их шефом Жюлем Ромэном во главе и «верлибристов» — они же «сциентисты» — с Шарлем Вильдраком и Жоржем Дюамелем. К «унанимизму» нам придется еще вернуться, так как Жюль Ромэн не только поэт-стихотворец, но и романист, культивирующий принципы «унанимизма» и в художественной прозе и имеющий весьма значительную группу читателей не только во Франции. Что же касается «верлибристов-сциентистов», то эти продолжатели поэтической традиции левого крыла старых символистов верлэновского толка и принципов Эмиля Верхарна, могут быть сравнены с нашими «имажинистами», или английскими «имэйджистами» стиля Эзры Поунда. Мы не будем подробно останавливаться на детализации принципов этой поэтической школы, тем более, что все их чисто технические разыскания в области поэтики не разнятся слишком резко от общих принципов «унанимистов» и других группировок, одинаково восходящих в своих теоретических построениях к трудам Ренэ Гиля в этой области.

Основные черты французской поэтики могут быть сведены к некоторым пунктам: освобождение стиха от скованности однообразным ритмом и от тяжести концевых рифм созданием в противовес им рифм внутренних, скорее ассонирующих, нежели чисто-ритмически звучащих — в целях большей гармонизации всего словесного материала; освобождение системы стиховой вязи от повторяющегося метра и перенесение акцентуации на пропорциональность образов и на цезуры, — следовательно, выход к свободному стиху; и, наконец, подчинение композиции целого тому заданию, которое в виде поэтически-языкового образа вспыхнуло в сознании поэта и адэкватно своему социальному или психологическому возбудителю. Здесь — попытка тесней связать поэзию с жизнью и современностью.

Если к этому прибавить, что тенденции так построенной поэтики, естественно, ведут к перерождению видовых композиционных выражений, то самое общее представление о современных исканиях в этой области во Франции у нас должно получиться методологически правильным, а это все, что можно сделать в пределах небольшой статьи.

Современный роман — эта излюбленная и устойчивая форма писателей Франции — имеет свои канонические формы, от которых даже величайшие отступники и еретики художественной мысли не решаются отказаться с легким сердцем. Веками отстаивалась литературная традиция этого жанра, обогащаясь в процессе своего развития достижениями всех крупнейших талантов Франции, как в области стиля и языка, так и в области сюжетосложения, тематики и мотивировки характеров и действий литературных персонажей.

Процесс развития и преодоления канона психологического и бытового романа в период послевоенный принимает все более отчетливый характер у наиболее одаренных писателей, ищущих выходов из традиционных форм на путях переоценки наследия реалистов и символистов. Освежающим дыханием повеяло со стороны лингвистического «бунта», начавшегося еще у Верлэна со знаменитой формулы: «сверни шею красноречию». Ритмика классического языка с безупречными формами по словарю и грамматике Академии сметается великим вихрем жаргона, обстрелянного на полях сражений и принесенного с больших дорог и бульваров в новейшую литературу. Вопрос о неологизмах и засилии жаргона, о неправильности современной грамматики волнует всех любителей «доброго старого галльского духа» и классического языка, но факт остается фактом — язык современных беллетристов черпается пригоршнями с улиц и оживляет своей непосредственностью и красочностью стиль современного романа, сближая его с жизнью. Нервность и подвижность стиля являются, конечно, большим завоеванием, однако постепенно исчезает и тяжеловесность конструкции с ее деталями и утомительными описаниями; импрессионистический намек завоевывает признание, и писатель просто сигнализирует читателю отдельными, резко выраженными флажками стиля, предоставляя ему больше догадываться самому, чем это делали старые мастера, любители долго рассказывать.

Манера новеллы врывается в роман композиционным и стилистическим приемом и об'ясняет нам тот сдвиг, который происходит в технике создания художественной прозы. Это канун кризиса жанра и переход к новелле, что особенно чувствуется у Жюля Ромэна в таких его вещах, как «Les Copains».

Однако читателя, несомненно, больше интересует тематика современного французского романа, идущего в ногу с жизнью, преломляемой сквозь призму классового сознания писателя и его читателя.

Современный роман во Франции буржуазен. Этим определяется отношение писателей к тем жизненным процессам, которые живой тканью входят в преображаемый творческим актом план тематических построений.

Мы не будем говорить здесь о замечательной серии романов Ромэн Роллана «Жан Кристоф», предполагаем известным и его «Кола Брёньон». Не будем касаться также книг о войне Анри Барбюсса, отметим, однако, что его «Огонь» сделан новеллистически — в виде отдельных очерков из военной жизни poilu, об'единенных не единством постепенно нарастающих событий, как это принято в типическом романе, а единством персонажей, появляющихся то в одном, то в другом плане отдельных новелл. Более ранние, довоенные произведения А. Барбюса — его роман «Ад» («L'Enfer») и сборник стихов «Pleureuses» — совсем неизвестны русскому читателю. Однако в них Барбюсс не является новатором ни в области тематики, ни в области поэтики, продолжая традицию символистов в поэзии и традицию реально-психологического романа в прозе. В период послевоенный Барбюс, кажется, решительно повернул в сторону новеллы, что весьма симптоматично.

Послевоенный период выдвинул ряд животрепещущих тем, как отражение той бытовой действительности, в которой бьется пульс противоречи-

вых социальных борений современной Франции. Облик буржуазного общества сегодняшнего дня изменился, благодаря включению в его состав значительного количества тех выскочек, которых называют «нуворишами» и которые, составив себе состояние на спекуляциях и военных поставках, едва ли не задают основной тон в жизни сейчас. Этой стороне жизни посвящается много внимания современными романистами, число произведений на эту тему весьма значительно (Vautal «Mon curé chez les riches», Кордэ «Опустошенные души» и проч.).

С другой стороны, обострившиеся классовые противоречия все настойчивее выдвигают новую социальную силу — пролетариат — не сегодня — завтра могущий властно потребовать к ответу дряхлеющих хозяев сегодняшнего политического дня. Современный французский романист поставлен в необходимость разобраться в этих противоречиях, интуитивно проникнуть в правду жизни, склубившейся в пестрых переплетениях, и дать отзвук на грохот быстротекущих событий.

Большинство современных художников слова так или иначе пытаются дать отдельные картины нынешнего общества в его настроениях и переживаниях, рисуя преимущественно среду им близкую и знакомую. Лишь немногие, как Пьер Бенуа, сознательно уходят от современности в «века загадочно былые», увлекая читателя то в сердце Африки, куда он относит возрождаемую им Атлантиду — эту сказку из глубокой древности, то в Ливан, где развертываются романтические события с развитой сетью интриг, как в его последнем романе «La Châtelaine du Liban» («Владелица Ливана»), то, наконец, просто уходит на сотню лет назад, воскрешая эпизоды исторического прошлого из борьбы «за дон-Карлоса»... Другие — все эти бесчисленные М. Нэдо, Ж. Дежан, Ж. Дюамель, П. Сабатье и проч. и проч. — пережевывают еще темы войны в аспекте «героических подвигов» и «самопожертвований» солдат, офицеров, дам-сестер милосердия и патронов-благотворителей из буржуа.

Целый ряд писателей уступил соблазну вернуться к психологическому анализу любовных эмоций в их разнообразных комбинациях, вплоть до подновленной и модернизированной робинзонады... с двумя дамами — блондинкой и брюнеткой — на пустынном острове, куда попадает кутящая компания, в романе Клода Фаррера «Остров с большим колодцем».

Вообще же любовная интрига продолжает быть основным стержнем при построении всякого романа. По-прежнему половые отношения являются главным критерием при определении качеств в старых и новых напластованиях бытовых и общественных отношений современной Франции. Бунт женщины и девушки против общественных предрассудков неизбежно начинается с протеста в этой сфере. «Новая женщина» родилась во Франции и привлекает внимание писателей, пытающихся уловить сущность этого «нового» в ней, и по привычке приступают со стороны «половой проблемы».

Ромэн Роллан начал новую серию «L'Ame enchantée» («Зачарованная душа»), посвященную «новой женщине». Первый роман серии «Annette et Sylvie» рисует двух девушек — дочерей одного отца, но Анна — законная

и богатая наследница, а Сильвия — внебрачная и потому трудящаяся, пролетарка — ищущих путей к самостоятельной и независимой жизни женщины. Насколько просто это для Сильвии, все же стремящейся сделаться хозяйкой модного магазина, настолько сложно Анне при всем ее богатстве найти дорогу через сеть отношений к нелюбимому ухаживателю, которому она все-таки отдается, к утверждению за девушкой незамужней права иметь ребенка. При всей глубине Ромэн Роллана нашему сознанию его роман ничего не говорит такого, что могло бы нас поразить: слишком буржуазен подход к теме и тем самым наивен в наших глазах.

Второй роман этой серии «Лето» («L'Eté») можно назвать одни из лучших произведений французской современной литературы. В нем мы встречаем тех же героинь, над которыми время и жизнь властно произносят свои приговоры. «Право на ребенка» оказалось не так-то легко завоевать девушке в буржуазном обществе. Развратные буржуа, так снисходительно относящиеся к своим порокам, при условии, чтобы они были тайными, не скрывают своего озлобления против того, кто открыто нарушит одну из глупейших условностей «приличного» общества. Ценою полного разрыва со средой покупает Анна право на своего сына, который, кстати, растет с весьма сомнительными наклонностями. Из богатой буржуазки Анна превращается в интеллигентную пролетарку, домашнюю учительницу, бегающую по грошовым урокам, за насущным хлебом для себя и сына. Море унижений и горя приходится ей выпить. Но она — гордая личность и пробирается смело через все тернии тяжелой жизни одинокой и гонимой парии. «Новая женщина» с трудом и пядь за пядью отвоевывает свое право на существование. Сильвия же обрисована в тонах типичной мещанской жизни мелкой буржуазии Франции со всеми выпадающими на ее долю радостями и горестями.

Этот роман лишний раз засвидетельствовал большое и глубокое дарование Р. Роллана, показавшего себя и социально-чутким писателем.

«Новой женщине» посвящает и Виктор Маргерит серию из трех романов «Женщина в пути». Это — «La Garçonne» («Холостячка»), «Товарищ» («Le Compagnon») и «Le Couple» («Пара»), последний только что появился. У В. Маргерита «половая проблема» — краеугольный камень, на котором построены все три романа. У нас, где женщина тоже «в пути», перестройка ее половых отношений является только естественным следствием других, бо́льших посылок, тогда как у В. Маргерита дело обстоит как раз обратно: вследствие того, что Моника Лербье желает жить, будучи девушкой, независимо во всех отношениях, как холостой и самостоятельный мужчина, она принуждена завоевывать шаг за шагом все остальные позиции жизни. Если Анника Рэмбер — женщина интеллигентного труда, адвокатесса — и соглашается жить свободно с любимым мужчиной вне церковного, даже гражданского брака, то это — революция решительно во всех областях ее бытия. Иначе, конечно, и быть не может в буржуазном сознании застывшего в предрассудках общества. Выход В. Маргерит видит в будущем: события его последняго романа «Пара» разыгрываются в 1943 г. после социальной революции во Франции; тогда-то установятся нормальные половые отноше-

ния и процветет истинная любовь в свободном от общественных предрассудков соединении любящей пары, составляющейся из сына Анники и дочери Моники.

Нас не удивляет, что роман В. Маргерита «La Garçonne» вызвал общественный скандал и обвинение автора в безнравственности; то же самое было уже с Бодлэром за его «Цветы зла», с Флобером за «Madame Bovary» и многими другими, пытавшимися влить вино новое в меха старые.

Для нового вина нужны и новые меха. Формирование этих новых мехов идет медленно. Процесс роста трудящегося класса во Франции привлекает внимание одного из интереснейших писателей современности — Пьера Ампа. Он далеко не новичок в литературе. Автор большой серии романов из жизни трудящихся — «Лен», «Рельс», «Непобедимый труд», «Золотоискатели», «Победа машин», «Люди» и мн. др., — Амп отдает весь свой талант наблюдениям над бытом и жизнью трудовой Франции, игнорируя столь привлекательные для многих темы о веселом и беспечальном прожигании жизни богатыми парижанами. Он об'единяет все свои романы общим названием «Страдание людей» — «La Peine des hommes», как Бальзак, который когда-то свои романы связал общим заголовком «Человеческая Комедия». Для Бальзака — комедией, для Ампа — страданием рисуется жизнь; придет, вероятно, художник, к которому она повернется лицом «борьбы».

Элементы борьбы и теперь на-лицо. Их только не желают оценить должным образом, не хотят понять, что все те вспышки восстаний, протестов и кровавых столкновений, которые явились в результате войны, не — «бунты», не «грабительские стремления банд», какими их пытаются представить в полицейских отчетах, а обостренные формы классовой борьбы, эскизы гражданской войны, спорадически загорающейся и подавляемой крутыми мерами полиции.

В романе Андрэ Обэ «Саврё-победитель» (Savreux-vainqueur) рисуется такая форма гражданской войны. Саврё, думающий, что «после такой войны нельзя вернуться к прежней жизни», становится во главе значительной группы землекопов, демобилизованных солдат, нашедших дома мерзость запустения и не имевших выбора между смертью и войной за право жить, — ведет свой отряд против врагов «буржуа, ограбивших наше имущество» и совершает организованные нападения и грабежи, наводя панику на всю провинцию. «Саврё-победитель» написан в формах авантюрного романа, но это требование сюжета нисколько не изменяет значимости произведения, с точки зрения оценки бытовых отношений послевоенного периода.

Однако не все пострадавшие на войне и от войны остались настолько сильными и здоровыми, чтобы итти завоевывать свои права на внутреннем фронте. Весьма многие остались инвалидами, неспособными не только к активному протесту, но нуждающимися в попечении и призрении. Для них во Франции имеется целый ряд убежищ, в которых их поят, кормят и дают несложную кустарную работу. Однако условия жизни в этих убежищах, атмосфера, которой они насыщены, настолько тяжелы и угнетающи, что несчастные, попавшие туда, чувствуют себя хуже, чем в тюрьме.

Об этом рассказывает Бенжамен Воллотон в своем романе «A tâtons» (Ощупью). В убежище для инвалидов войны живет сотня слепцов, потерявших зрение в газовых атаках, под взрывами орудийных снарядов и в смраде траншей. Они потеряли все: здоровье, зрение, силу, надежду на личное счастье. Их жизнь — кошмар, мученье и медленная агония. А между тем голоса из былого раздаются вокруг них: у одного есть невеста, которой жуток вид обезображенного жениха, другие чувствуют дыхание жизни через тысячи маленьких звеньев, связывающих их еще с внешним миром. Те, которые взяли на себя труд заботиться о слепых инвалидах, тяготятся несчастными, интересуясь убежищем лишь постольку, поскольку это «учреждение» требует сметы и расходов, может служить видимой внешностью их деятельности и ступенькой к их служебной карьере... Вот если бы убежище, да без этих уродов! Отношение поэтому к слепым возмутительное. А они? Они понимают многое, они прозрели духовно, но они бессильны для протеста и потому относятся ко всему со снисходительностью философов. Обо всем этом повествует автор эпически спокойным тоном, который тем сильнее действует, вызывая бесконечное возмущение против пошлости такого жизненного уклада.

Едва ли стоит особенно подробно останавливаться на гибридных формах бытового и психологического романа, культивируемых сейчас некоторыми писателями со значительным успехом. Заслуживает упоминания Марсель Пруст с его серией (опять серия!) «Поиски потерянного времени» и некоторые вещи В. Кутюрье и Ж. Кокто. Зато с каждым днем завоевывает все большее признание «колониальный» роман, по форме своей весьма близкий роману приключений в его отстоявшемся виде.

Колонии начинают играть большую роль, на них опирается какой-то своей частью вся политика; голос туземного населения — не просто уже нечленораздельная экзотика языка рабов, созданных для эксплоатации и на пользу метрополии, но звучит весьма внятно в известном романе Рене Морана «Батуала». В сущности, романы Пьера Бенуа носят на себе признаки «колониальности», лишь затушеванные поставленными на первый план приключениями с романтической мотивировкой. Такие типичные романы приключений, как «Озера безмолвия» де Вэр-Стэнкула, рисующие нравы и отношения к неграм завоевателей в африканских колониях Франции, составляют обиходное и «легкое» чтение, на-ряду с продолжающим жить фельетонным романом и особым видом этого жанра — «кинематографическим» (Сандар Блез «Конец мира», Жюль Ромэн «Доногоо-Тонка» и др.).

Самым популярным литературным явлением сегодняшней Франции признан Жюль Ромэн — поэт и романист, шеф школы «унанимистов». Правда, «унанимизм» не может быть назван «последним словом» литературной новинки в том смысле, что он возник еще накануне войны и насчитывает почтенную давность, однако Жюль Ромэн, как писатель, пользуется неослабным вниманием вот уже свыше десяти лет.

Принципы «унанимизма» не слишком сложны и могут уложиться в краткое определение: единство жизни и ее проявлений должно рассматри-

ваться в целом, а не в частях, так как часть, отделенная от целого, теряет всякую значимость. Индивидуум может служить предметом художественного внимания писателя лишь в связи с целым коллективом, который и существенен своим полным и общим проявлением. Современный человек живет более коллективно, чем индивидуально. К этому его располагает самый ритм жизни больших городов, в которых отдельная личность растворяется почти без остатка.

Стоящие на очереди во Франции вопросы больших группировок как бы подтверждают «унанимистов» в их теории. Книга стихов Ж. Ромэна «La Vie unanime» свидетельствует и о новых приемах, которые вводит поэт в свое мастерство, принципы которого он изложил в сотрудничестве с Шенневьером в «Маленьком трактате о стихосложении».

Поэтическая школа «унанимистов» — явление, во всяком случае, новое и наиболее значимое по талантливости своих представителей — самого Ж. Ромэна, Н. Бодуэна и др.

Но Жюль Ромэн не только поэт в тесном смысле слова, он и романист и, как таковой, переносит теорию «унанимизма» на свои романы. Среди большого количества написанных им произведений в формах романов (что не всегда справедливо в смысле определения жанра), не все «унанимны» по замыслу и выполнению. Такие мы оставим в стороне («Lucienne», «Le Vin blanc de la Villette», «Europe») и займемся только теми, которые носят на себе следы теории. Это прежде всего «Puissance de Paris», «Le Bourg régénéré» и «Mort de quelqu'un». Остальные его романы, более близкие к другим видам жанра — «Les Copains», «Donogoo-Tonka», «Les Miracles de la science», равно как и его драмы — могут послужить темой особого обзора, как заключающие в себе много такого, что требует предварительного пояснения. Мы их поэтому оставим также в покое.

Из трех отмеченных «унанимных» романов Ж. Ромэна два бесспорно заслуживают внимания: «Возрожденный пригород» и «Чья-то смерть». В первом из них прекрасно обрисован пригород, как целое, как коллектив жителей, об'единенных не только классовым и профессиональным признаками, но и поразительно однородными переживаниями, настроениями и строем мысли. Люди живут, работают и скучают, влача тяжкое будничное существование, оживляемое маленькими ежедневными развлечениями, столь характерными для провинции. Но вот появляется новое лицо — почтовый чиновник. И он начинает задыхаться в скуке однообразия жизни пригорода и из озорства, от нечего делать, пишет на уличной стене революционный выкрик. Пригород приходит в движение: толки, рассуждения, догадки... Посеяна новая мысль, дано направление коллективным мозгам, и это движение не должно пропасть даром, так как коллектив зашевелился. Достаточно одной мысли, чтобы возбудить и оплодотворить коллективное сознание — думает Ж. Ромэн.

«Чья-то смерть» захватывает другую группу переживаний коллектива. На некой улице, в большом доме умирает одинокий старик, бывший железнодорожник. Весь дом приходит в движение. Все жильцы в течение трех суток

заняты покойником: моют, одевают, снаряжают и везут в яму. Говорят только о нем. Он — в центре внимания, как, может быть, никогда не был при жизни. А затем... похороны и полное забвение. Миллионы людей уже жили на земле, кто помнит о них? Коллектив живет своей жизнью, в его массовом сознании — покойник только эпизод, привлекающий внимание на 72 часа; целое же живо и бессмертно.

Пусть с нашей точки зрения проблема коллектива понимается Ж. Ромэном несколько наивно и упрощенно, важно то, что она поставлена и находит отклик, так как Ж. Ромэн один из наиболее богатых читателями писатель современной Франции.

Нам остается коснуться в нашем обзоре современного французского театра. Однако в этой области дело обстоит весьма безотрадно. Ни французская драматургия, ни театральные постановки не обнаруживают жизни и прогресса. По-прежнему царит легкая бытовая комедия, водевиль, салонная пьеса в количестве от 3 до 5 актов, а постановочная часть сохраняет ненарушимо тона установившейся традиции. Декламация и реализм постановки воплощают все художественные результаты авторской продукции.

Может быть, за счет новых исканий в театре так бешено развиваются дансинги, кинематограф, кабарэ и лирическая феерия?

На сцене же торжествует традиция Ожьэ, Сарду, Скриба и мастеров салонной комедии с запутанной интригой, психологическим анализом переживаний, коллизией мужа, жены и любовника и проч. Следы Анри Батайля просвечивают в художественных «проблемах» драматургов. Женщина и ее любовь — вот основная проблема драматургии современности.

Иногда интрига сколочена весьма занимательно и служит канвой для осмеяния пошлых буржуазных нравов и смешных предрассудков. А французы любят смеяться.

Так, Пьер Вольф сделал из новеллы Анри Дювернуа сатирическую пьесу «После любви» (Après l'amour). Занятого учеными трудами историка жена обманывает с любовником. Забеременев, она ласкается к мужу, который знает об измене и потому ласки отвергает. Сам же грешит с маленькой актрисой, которая также должна родить от него одновременно с женой. Родятся два мальчика. Во время родов актриса умирает, а ученый ловко подтасовывает ребят: сына любовника отправляет в деревню, а жену снабжает своим сыном от умершей актрисы. Через шесть лет он говорит жене, что у него есть внебрачный ребенок, которого он хотел бы воспитывать вместе с их сыном. Жена, помня свой грех и любя сына, как сына своего любовника, не зная о подмене, должна уступить и, принимая своего настоящего сына, говорит с презрением: «Сразу видно, что это — сын ничтожной уличной женщины»...

Мы рассказали эту комедию, как крайне характерную для буржуазных переплетений сегодняшней Франции. Едва ли стоит говорить о всех коме-

диях и водевилях, пишущихся авторами вроде Поль Виллара, Жоржа Луазо, Луи Вернёля, Шарля Мере, Луи Деллюка и проч. и проч., весьма сходных между собою по темам и воплощениям.

Однако следует отметить, что русские и русская жизнь находят порой свое отражение на французском театре. Не считая двух жалких пьес Густава Риволле и Монези Эона с Морелем Поллэ в сотрудничестве из жизни русской дореволюционной эпохи с сюжетом из быта подпольных революционеров, упомянем комедию Альфреда Савуара «Великая Герцогиня» (La Grande Duchesse). Русская эмигрантка, «герцогиня» Ксения живет в Швейцарии, разделяя участь всех «бывших», лишенных пышности и богатств. Она отдается чарам любви номерного и делается его любовницей. Но вот через ужасно сложные сплетения обнаруживается, что «гарсон» — сын богатого и почтенного буржуа. И что же? Герцогиня с презрением отворачивается от своего любовника: она могла быть любовницей номерного, но не может «обуржуазиться»... Какое, однако, презрение у русских аристократов к буржуа! Право, это — грибы, выросшие под «развесистой клюквой»...

Французский театр всегда отличался консервативностью форм и традиции, избегал новшеств, ставил Шекспира в переделках Дюси, предпочитал классическую декламацию бурным каскадам страстей романтиков и, найдя форму мещанской драмы, культивирует ее во всех выявлениях.

Положительно революции просит воздух французских кулис.

Переставленные главы.

(О романе Конст. Федина «Города и годы»).

Валентина Дынник.

Зачем Константину Федину понадобилось переставить главы своего романа — начать его с последней, завершающей события? Пошел ли он навстречу читательской слабости — желанью поскорее узнать, «чем кончится»? Но интересный сюжет все же не так заинтриговывает, чтобы современный, хорошо дисциплинированный читатель позволил себе такую безвкусицу, как заглядыванье в последнюю главу. Просто, быть может, эксперимент над композицией? «Чисто формальное задание»? Попытка расшатать сюжетные скрепы? Но это не к лицу Константину Федину, умевшему быть таким простым в простой повести об Анне Тимофевне, мало похожему там на выдумщика новых «приемов», любителя литературных вычур.

Однако своеволие художника более простительно, чем своеволие критика, — а разве принято в разборе большого романа начинать с композиции, не выяснив ни темы, ни идеи?

Что ж, это верно, — начнем с темы и с идеи.

Города — это Эрланген и Бишофсберг, Москва, Петербург. Города немецких бюргеров и ресефесерских обывателей. Города почти машинизированных пролетариев, скользящих в урочный час, шурша шинами велосипедов, — к фабрике Иоганна Фабера как полуфабрикат по фабричному конвейеру. — И города, где по мирной аллее, мимо строгих надписей, регулирующих движенье пешеходов и экипажей, валит разноголосая воющая толпа, неся на плечах, над собою, вместо стягов, — инвалидов войны, калек, размахивающих костылями. Города, где работают социальные содружества по эксплоатации старых могильных крестов и приспособлению их для домашнего обихода. Города, где строители радио-станции, настойчивостью преодолев неумелость, снова возводят обрушившуюся башню и, возводя, уже мечтают о другой, волны которой опояшут весь мир: «Москва подает, Москва принимает».

Годы — это предвоенные годы, наполненные звуками оперетток и вальсов, мазурок и галопов. Четырнадцатый год, разбуженный коротким словом «Война». Шестнадцатый год, когда сквозь маршировку батальонов слышно

было, как шаркают, почти не поднимаясь над землею, оборванные опорки ослепленных газами пленных итальянцев, — газ называется «Желтым Крестом». Прекрасная марка. Это—семнадцатый год, восемнадцатый, девятнадцатый и двадцатый,—годы, наполненные неуверенным голосом поездов, нащупывающих рельсы, как люди—топкую дорогу, угрозами, на мгновенье исказившими зажатый рот, трусливым, злобным шепотком на перепутанных и безлюдных лестницах, в сараях, на чердаках, короткими и тревожными заседаниями революционных троек, громовыми приказами, вздергивающими на дыбы окаменелую столицу, и молчаливым пафосом голода.

Но роман Федина — не только о «Городах и годах», — в нем рассказано и о личной судьбе нескольких человек — современников этих годов. Социальные взрывы, выброшенные один за другим из-под обманчиво спокойной поверхности жизни, перебрасывают этих людей из города в город, из одного года в другой, — перебрасывают Андрея Старцова, Курта Ван, Голосова, маркграфа фон цур Мюлен Шенау, Мари Урбах.

В центре — судьба Андрея, плечо которого не вынесло, подогнулось под каменной десницей революции. С его судьбой соединена и основная идея романа.

Сюжет «Городов и годов» кончается выстрелом — отчетливым и неизбежным, как точка в конце рукописи. Курт Ван, стоя перед комитетом, книжно и без запинок об'ясняет свой выстрел: «Сомнений не оставалось. по личным мотивам он спас жизнь нашему врагу и предал дело, которому мы все служим. Как человек он мне стал ненавистен, как друг — я был его другом — отвратителен. Я убил его».

Конечно, гибель Андрея Старцова — не только результат механики сюжетосложения: роман подводит к мысли, что неизбежность этой гибели— неизбежность жизни, где слабость — это вина, которую ждет возмездие. Как вина эта слабость осознается и самим Андреем. Не как о личной только вине, а как о вине целой общественной группы, говорит о ней и Голосов.

«Ерунда, — гаркнул он, топнув ногой. — Вот такие, как ты, да вот как Старцов, — это вы разводите принципиальную болтовню, потому что вы рохли, тюфяки. Для нас все ясно, мы знаем, чего хотим, и в любом болоте найдем, что делать... Это вы, Щеповы, Старцовы, крутитесь вечно в принципиальной бестолочи, все хотите примирить идеальное с действительным. Мы знаем, что примирить нельзя, можно только подчинить».

Основной замысел внушен писателю опытом прошедших лет — опытом революции. И читатель, прошедший сквозь тот же опыт, знает, что в замысле много правды, что гибель Андрея написана Фединым под диктовку жизни. Но этого мало: социолог-ученый устанавливает закономерность явлений, оперируя множеством фактов, его убедительность — убедительность больших чисел. Художник дает отдельные факты, не знает чисел, и его сила — в убедительности художественной, в наглядности искусства. В ней же и его оригинальность, его ценность, его право на существование. Уразуметь основной замысел, идею романа — еще не значит уразуметь самый роман, еще не значит уразуметь его художественный и социальный смысл.

Такое уразумение открывается иногда в отдельном образе, в языке, в сравнениях, в ритме, в композиции, — во всем том, что составляет живое тело художественного произведения. Недаром в предисловии ко второму изданию «За 20 лет» Плеханов так настаивал на изучении художественной формы, на том, чему теперь дали бы ходкую кличку «формального анализа». И требование Плеханова — не эклектизм историка литературы, признающего «некоторое значение за требованиями формальной школы», не педантизм педагога, считающего своим долгом «сказать в заключение несколько слов о форме»: требование это было подсказано Плеханову научной последовательностью и художественным чутьем, чему доказательство — его собственные статьи об искусстве (напр., о французской драматической литературе и французской живописи XVIII века, о Глебе Успенском и др.). Отдельные детали стиля скреплены там с общим характером творчества, с его художественным и социальным смыслом.

(Вот почему не так уж было бы непростительно, пускай это и непринято, начать разбор романа хотя бы с композиции: в ней, как в малой капле, можно иногда увидеть художественную природу целого.)

С первых же страниц романа на читателя веет свежестью писательского восприятия. Федин зорко видит и чутко слышит. Самое слово оживает у него в своей первоначальной образности. Федин далек от крикливости имажинизма, но, подменив затертое слово другим, новым, хотя и непышным словом, он оживляет образ. Грань между безумием и разумом, мало ощутимая уже в самом слове «грань», ставшем почти алгебраическим знаком,— выступает резкой чертой благодаря одному только подмененному слову! «Почти полгода рассудок его скользил по к р о м к е между светом и тьмою».

Федин очень мало говорит об окрестном населении виллы Урбах, об обществе, с которым были связаны ее обитатели, — и все же гордая юность Мари выделяется среди титулованного и нетитулованного мещанства свежо и отчетливо, как портрет на хорошо написанном фоне. Фон создается здесь не прямыми характеристиками, а особым приемом стиля: говоря, как будто, лишь об обитателях виллы, Федин пользуется при этом языком сплетни, пересудами кумушек, хозяйственными соображениями почтенных соседей. И фон готов:

«Непонятный человек этот герр Урбах. Может быть, в какой-нибудь другой стране он и не остановил бы на себе внимания. Но в Германии, в Германии...

Прежде всего: чем он занимается? Помещик? Хорошо. Но почему он ни разу не заглянул в сыроварню, не осмотрел хлебов, не справился о сенокосе? У него есть управляющий? Хорошо. Неблагоразумно, конечно, доверять большое хозяйство простому служащему, но богатый человек может себе позволить многое. Только почему герр Урбах не принял ни разу отчета от доверенного лица и всякий раз отсылает его к своей жене — фрау Урбах, урожденной фон Фрейлебен?» и т. д.

Таким приемом косвенной характеристики часто пользовался Гоголь. Но это лишь означает, что у Федина хорошая родословная.

Язык «Городов и годов» прост и тщателен. (И лишь в скобках можно спросить, как понимать заглавие первой главы — «о годе, который завершил роман»: годом ли завершается роман или романом год?) Слово у Федина потому так и выразительно, что оно не становится между ним и жизнью, не спешит подвернуться готовой формулой, а ждет, пока писатель сам его выберет.

Тот же выбор — в сравнениях, в метафорах: у него «торопливая капель вызванивала веселые частушки», а не «выбивала дробь» — и от этого капель слышнее; «мужики валили в темноте густо и уверенно, как рыбы», а не «сплошною массой» — и от этого страшней мужицкая толпа; церковные купола, уже утерявшие свои линии в этих почти лишенных образа архитектурных терминах — луковки, маковки, — вновь обретают отчетливость, потому что у Федина они «похожи на свеклы».

В такой заботе об образе — скорее скупость, чем мотовство,— максимум смысловой нагрузки: выданный мужиками в качестве зачинщика неудавшегося восстания безногий Лепендин посмотрел на толпу, — «мужики не глядели на него, и лица всех были одинаковы, как струганые доски» — здесь и безличная однородность запуганной толпы, и деревянная жестокость предателей.

Забота Федина об образе не довлеет себе: она помогает увидеть сквозь образ самый смысл вещей и событий. Коммунист, убивший товарища, негодного для жизни, — Курт, «сделавший для Андрея все, что должен сделать товарищ, друг, художник», — отдал свой поступок на суд комитета. И пока за стеной творился этот суд, в сознании Курта — творится другой. И мы узнаем о нем, хотя Федин показывает лишь синие кольца сигарного дыма: «Курт вышел. В смежной комнате он обтер платком лицо, раскурил сигару и уселся поудобнее в кресло, приготовившись к ожиданию. Синие полосы дыма, увязая друг в друга, закачались посреди комнаты. В них раскрылся чей-то рот, скрюченная пятерня медленно обернулась пальцами снизу в бок, к ней приросла рука, согнутая в локте, потянулась к Курту.

— Глупости, — проворчал он и с силою подул на дым.

Синие полосы нанизались воронками на струю воздуха и пропали».

Как Федин утилизирует свой язык, чтобы живописать действительность, чтобы шире раскрыть смысл происходящего, — так он утилизирует и свое острое зрение. Иногда в его зарисовках мы видим только радость художника, откликающуюся на радость ярких красок и теплоту прозрачного воздуха: «В полдень Мари шла берегом, по самой кайме набегавших на пляж тихих волн. Под ногами мягко поддавался напоенный теплой водою песок, и ступни выдавливали круг себя неглубокие впадины, которые мгновенно белели и затем сейчас наполнялись густой темной влагой». Иногда образ так отчетлив, так детален, что кажется — Федин работает при помощи микроскопа. Но здесь-то больше всего сказывается обобщающая сила художественного штриха, синтезирующий смысл отдельной детали. Мы всматриваемся

сквозь этот микроскоп художника в глаза ослепленного газами, смотрим, как «в черном круге ресниц стеклянели остановившиеся глаза», как «в них проплывали спокойные тени нависших над аллеей веток», — и вот мы уже заглянули в черный ужас войны.

Писатель наводит свой микроскоп на какую-нибудь засохшую в паутине муху, — и перед нами раскрыта загнанная душа обывательского подполья, злобно шипящего на революционный шум улицы: «Заброшенность каретника, безмолвие сарая, пустота коридора, где самый опасный свидетель — паук, окруженный пыльными пустобрюхими трупами мух, преисполняют отвагою души, удел которых — трепет».

Рядом с деталью — широкие полотна, написанные такой же уверенной рукой, — шумный уличный праздник в Эрлангене — суета и разгул веселящейся толпы; железнодорожная посадка; немецкая толпа, врывающаяся в старинную цитадель и освобождающая заключенных; мордовский молян у ручья; лагерный тесовый барак немцев-военнопленных. Полотна ярки, как их сюжет. Художник владеет не только микроскопом, но и зрительной трубой, позволяющей видеть широко-раздвинутый горизонт.

Но как только Федин отрывает свой взгляд от отдельных фактов, картин, берется за отвлеченное слово, — он теряет секрет художественного воздействия. И не потому, что «художник мыслит образами»: Анатоль Франс показал нам острое наслаждение парадокса, пленительную власть идеи. Но, очевидно, такова у Федина особенность его художнического письма и его человеческого опыта, что в области отвлеченных обобщений этот строгий к себе художник впадает в подражание или в банальность: «Под Скагерраком морская Англия победила морскую Германию, и морская Германия победила морскую Англию. Побежденной в этой битве оказалась логика, держава, повсюду признанная самой слабой. Победу над ней справляли обе победившие стороны — Англия и Германия»... — это испорченное длиннотами переложение известного анекдота Франса о «первых в мире армиях» («Остров Пингвинов»). А вот, как будто бы, фединский, собственный, но плохой и безвкусный каламбур: «В области кладбищенского дела старый режим прогнил, так сказать, не насквозь, а только частью, хотя гнилых крестов и обнаружилось, при подсчете, больше, чем сохранившихся».

Слабеет нажим писательского пера и тогда, когда Федин от характерных и широких, но все же отдельных картин переходит к целостному изображению города или личности, от момента — к процессу. Изо всех городов, по которым проводит нас Федин, отчетливей и тверже запоминаются города чужеземные. Какой-нибудь дом, стоящий «статно, разглаженно и застегнуто, блестя на солнце, как шуцман,—пуговицами, медью и никкелью оконных ручек, замков, начищенной чашкой звонка и массивной доскою на двери:

«Пансион мисс Рони для благородных девиц»;

или аллея, где насажены «четыре ряда лип, ровных и круглых, как кофейные чашки», дают представление и о внешнем виде изображенного пансиона, города и о буржуазном устоявшемся быте (ведь недаром взяты здесь для

сравнения кофейные чашки или шуцман). Но там, где надо взрыть глубокий подпочвенный пласт — подлинную внутреннюю жизнь города, лежащую под бытом,—Федин тускнеет. Мы верим в художественную правду изображенных моментов и фактов, но откуда они, чем подготовлены — об этом мы знаем не больше, чем знаем без Федина. Германская революция где-то в стороне со своей закономерностью, с организацией, с твердо направленной волей, — перед нами только уличные демонстрации. С демонстрацией начинаются, но не ими определяются революции.

Та же отрывочность и в обрисовке действующих лиц. Не в том дело, что Федин почти не дает их портретов, предпочитая, чтобы их вырисовало само действие, — это хорошо. Когда Мари Урбах, организовав Революционный Совет, ставит на пропусках, за неимением другой печати, свой штемпель

«Ex libris
Mari Urbach».
«Из книг
Мари Урбах», —

в этом экслибрисе живей ощущается веющее от нее, сквозь революционный порыв, девическое очарование, чем в обстоятельной и длинной характеристике. Но динамика ее внутренней жизни, постепенный рост личности, не определяющийся одними лишь порывами и толчками, — медленная, но настойчивая работа сознания, та идеологическая перестройка, от которой нельзя было уйти, не уйдя от революции, — составляет лишь предмет читательских догадок, воспринимаются слабо и неотчетливо.

Такой большой роман, как «Города и годы», роман, затрагивающий, к тому же, вопрос о судьбе личности, — не может удовольствоваться зарисованными раз навсегда характерами; их достаточно, может быть, для новеллы, в романе же личность — величина переменная.

Переменных величин мы почти не находим у Федина. И Курт Ван, и Андрей Старцов, и другие переживают, как их прообразы пережили в реальной жизни, значительную эволюцию во взглядах, отображенную Фединым в их высказываниях, в их поступках. Но показана лишь смена идей. Почти нет ни столкновения, ни борьбы, нет муки, в которой рождается новое мировосприятие.

Федин не искажает жизни. Он лишь не все показывает. Намеренно ли, невольно ли — он оставляет провалы, которых не заполнить отвлеченными догадками; между Фединым и его читателями — созвучие современников, и потому правда его романа ощущается, как правда жизни. Но художник — не только наблюдатель, он и строитель. К неоспоримой диалектике жизни он должен присоединить и свой аргумент — художественную закономерность, чтобы приговор жизни стал приговором художника.

Здесь-то мы и переходим от характеристик героев — к развертыванию сюжета, к композиции, ибо, лишь на них опираясь, судьба героя может сделаться осью для художественного замысла всего романа.

И, перейдя к композиции, сталкиваемся с вопросом, поставленным было в начале статьи: зачем Константину Федину понадобилось переставить главы своего романа, начать его с последней — завершающей события?

Этот вопрос важен не только для усвоения формальной архитектоники. он помогает уяснить всю художественную природу целого, замысел писателя.

Федин не мог не сознавать, что судьба его героев, неизбежность именно такого конца — должны ощущаться нами еще задолго до того, как они осуществятся в событиях. Но это ощущение может прийти к читателю только тогда, когда он заглянет в самую глубину личности, в самую глубь жизни. Бытом, характером здесь удовлетвориться нельзя. Федин же — не художник глубин. Федин не хочет (или не может) окунуться всем телом в сменяющийся поток жизни. (Говорю, конечно, о Федине-художнике). В этом он разделяет художественную позицию той литературной группы «Серапионовых Братьев», с которой он связан. Но художественный метод не согласуется здесь с основным заданием. Художественных средств, пригодных для отдельных, законченных в себе зарисовок, нехватает для изображения непрерывного процесса.

И здесь, в развитии действия, в компановке событий, для Федина, как и прежде — в обрисовке характеров, — остается один выход — апелляция к опыту читателя-современника. И дело не проиграно.

Апелляция к опыту подчеркивается композицией. — Если Федин не может вселить в нас ощущение, предчувствие судьбы, ожидающей героев, то зато он может дать нам знание этой судьбы — и последнюю главу переставляет на первые страницы. Последней главе — гибели Андрея — мы сразу верим, потому что независимо от Федина знаем, что и в жизни это так. Федин лишь помогает нам установить на эту тему свое внимание, лишь подчеркивает, лишь напоминает. Читая затем о годах и городах, о людях предреволюционной, предвоенной поры, о любви Андрея, о его уходе в революцию, о его дружбе с Куртом, о внезапно пробудившемся национализме Курта, о своевольной юности Мари, мы знаем, чем все это кончится. Установка, наконец, сделана с самого начала. В перетасовке глав сказался такт мастера, умеющего соизмерять свои силы.

Пушкин когда-то с грустным превосходством говорил о блаженстве тех,

... кто праздник жизни рано
Оставил, не допив до дна
Бокала полного вина,
Кто не дочел ее романа.

Федин — внимательный современник — дочел роман, и от последней главы, обращаясь предыдущим, он пересматривает по-новому эти предыдущие главы.

В этом — социальный смысл и ценность романа, достаточный для того. чтобы сделать его интересным и значительным, хотя недостаточный для художественной цельности, для органической непрерывности ряда, составленного из отдельных мастерских зарисовок.

Михаил Васильевич Фрунзе.

А. Воронский.

Первый снег и метелица над Кремлем разостлали холодный, пушистый саван по новой и свежей могиле. Мёрзлые комья земли наглухо и навсегда прикрыли останки редкостного поборника революции, благородного и милого товарища, соратника и друга трудящихся.

Мировая, безличная правда крутой и богатой современной революционной эпохи нашла в его личности одно из самых совершенных воплощений.

Он был нашей гордостью, нашей надеждой, нашей
и нашей радостью.

В нем билось мужественное, бесстрашное и доброе сердце. Он соединял в себе непреклонность и храбрость бойца, спокойную рассудительность и такт военноначальника, стратега и полководца и широкое горячее человечье чувство любви и содружества. Он любил этот мир упорных ткачей, потомственных металлистов, мир не сравнимого ни с чем и единственного большевистского подполья, профессиональных революционеров, мир краснозвёздных ратей и сермяжного труда, и его тоже крепко любили, уважали и ему верили.

Жизнь его была воистину героична. Жалкое себялюбие было чуждо ему. Он ценил полновесной ценой революционную отвагу, он всегда был в действии, слово не расходилось у него с делом, он любил то, что называют испытанием судьбы. Это о нем, о таких людях знаменитый пролетарский художник сложил своего «Буревестника», и «Песню о соколе», и легенду о Данко, ибо умерший был провозвестником бури, он знал счастье битвы и имел право больше других сказать: — я храбро бился... я видел небо, — и «сердце его пылало огнем желания спасти людей, вывести их на легкий путь, а в его очах сверкали лучи того могучего огня».

Но он не являлся романтическим подвижником. Партия революционного пролетариата научила его сочетать отвагу храбрость с разумным учетом. Вот почему он наносил смертельные удары вражьим силам и побеждал. Победа сопутствовала ему И еще он обладал врожденным талантом полководца: недаром он любил оружие и военное дело.

Жизнь его — героична, смела и беззаветна, но самым пленительным в нем была легкость и простота, с которыми он шел навстречу опасности. Они доходили у него до детской непосредственности. Он знал цену революционному долгу, но лично его это слово не определяло: так естественно и неразложимо прямо он действовал и совершал героическое.

Товарищ и друг!

Да, он был товарищем, каких немного. За людей своих надежд и идеалов он умел постоять до конца. Здесь он не знал пощады ко врагу, к изменникам ренегатам. И он умел быть другом. Облеченной всей силой тяжестью военной власти республики он до последних дней оставался таким доступным и своим. Было что-то уютное, домашнее в нем, давно знакомое и знаемое. На вершинах власти одни из выдающихся замечательных людей управляют и руководят, создавая вокруг себя среду преклонения, авторитета, другие сильны дисциплиной, третьи — деловитостью и практицизмом, четвертые — дипломатичностью и приспособляемостью и т. д. Тов. Фрунзе создавал вокруг себя среду креп- сердечного и отрадного содружества. И дисциплина, и авторитет, и такт, и деловитость приходили через это содружество. Известно, как прочно был связан умерший с текстильным иваново-вознесенским рабочим краем. Это была связь революционных бойцов, но целиком проникнутая д р у ж б о й. Потому его там так хорошо и верно помнят.

Он был прямодушен открыт Он был слишком духовно богат, чтобы итти кривыми, окольными дорогами. Природа дала ему еще один богатый дар: щедрый инстинкт жизни. Не раз эти могучие силы спасали его от гибели в трудных опасных положениях, не раз они подсказывали ему верное, точное движение руки, глаз, мысли чувства. Тщетно вытравляли их в нем царские удавники, непосильная и непомерная работа, семейные горести — соки жизни были в нем неиссякаемы. Они не изменили ему даже последние дни его жизни: он, не колебаний в бою, с винтовкой и с маузером

в руках, испытывал некоторые сомнения пред операцией: великий инстинкт жизни и здесь оказался правым.

Сейчас, в кратких и в торопливых словах некролога нет времени и места рассказать об удивительной, сложной жизни этого человека. Но это будет сделано. И смертные месяцы, и годы, новые, долгие, томительные каторжные годы в плену у иудушек и у скуратовых самодержавья, и побег чрез суровую, девственную и таинственную тайгу, и подпольные военные кружки на старом фронте, и первый революционный начальник минской милиции Михайлов-Фрунзе, подчиняющий генерала Эверта и штаб Западного фронта воле революционного народа, и участие в октябрьских московских боях с винтовкой в руке у Метрополя, и захват броневика вдвоем с товарищем во дни лево-эсеровского путча, и бои под Кинелем и Уфой, и пленение оренбургских казаков, и разгром Толстова в уральских степях, и легендарный Перекоп, и сражение в одиночку с бандой махновцев и еще и еще другое и многое — будет вспомянуто, будет записано и рассказано, ибо слава и подвиги умершего есть слава и подвиги рабочих и крестьян и нашей партии.

Да, это все будет, но какая тяжелая, какая безмерная, какая нелепая потеря! Не возместить ее никакими славословиями, никакими томами воспоминаний.

> Залег здесь камень бел-горючий.
> Растет у ног плакун-трава.

Будут хрустальные чистые вечера над Кремлем, будут незакатные летние зори ярче пурпура боевых знамен, будет влажный, живой трепет звёзд ночами, но звёзды его глаз погасли навеки. Непреложен еще непреоборим древлий закон смерти и тлена.

Да простятся эти расслабленные строки — дань скорби о терянном так неожиданно и так неправдоподобно.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Об использовании Ленина.

Приближается годовщина смерти Ленина, и, понятно, газеты и журналы не одну строку посвятят памяти Ильича.

Но все же есть моменты, когда имя вождя бывает совершенно некстати приплетено. Есть, значит, границы необходимости.

Нет спора, что всякая работа — почетна. А все-таки, если мы говорим: «Ленин великий вожатый, или великий кузнец, или великий кочегар» и пр., то это еще не значит, что мы можем также сказать: «Ленин великий парикмахер».

Это — не столь необходимо. Здесь — переход границы.

Мы, конечно, далеки от мысли регламентировать допустимые и недопустимые эпитеты, но предлагаем руководствоваться тем, что называется чувством меры.

А то, что это чувство меры у многих и во многих случаях отсутствует — тому ниже примеры.

Где-то некий фельетонист, забыл я в какой провинциальной газете, очень удачно схватил тип предпринимателя, который на имени Ленина хотел сыграть. Это был хоть и госпредприниматель, но все же местный партком отказал ему в присвоении колбасной имени Ленина.

А, между тем, у нас это часто случается.

Можно, конечно, в дни пролетарских праздников выставлять в витринах портреты вождей, но не надо делать этого на фоне откровенной рекламы винторгов и жиркостей.

Можно, конечно, выставлять скульптуру мавзолея, но не надо из мавзолея делать чернильницы, как сделал это Мосторг.

В переводе на внутренний язык это значит — из синонима борьбы пролетариата делать домашнюю утварь. Далеко ли это от дикарского черепа-чаши?

Впрочем, это не наше дело: наше задание — показать, как иногда мусолится память Ленина в журнальной и газетной литературе.

Начнем хотя бы с того, что в литературе и сопровождающей ее живописи весьма часто повторяется символический Ленин. Это та же самая символика, которая атаковывала нас еще во времена Сологубов, но слегка приправленная красным знаменем, подрезанная серпом и пришибленная молотом.

Никому она не нужна, хотя бы потому, что вместо 40—50 строк галиматьи можно было б дать один-два лишних четких лозунга или выдержку из Ленина.

Символика в живописи, сопровождающей литературу, не нужна хотя бы потому, что имеется масса зафиксированных положений Ленина (с трибуны на съездах, в Совнаркоме и пр.), которые, нет спора, лучше рисунка, в особенности провинциального.

А вот тому и доказательство.

«Профессиональное движение», орган Сибирского Областного Бюро ВЦСПС № 16—17 от 1 мая.

Символика: Ленин, сбоку Карл Маркс с палкой в руке. Оба над толпой со знаменами. Карл Маркс смотрит на Ленина. Ленин указывает вперед.

Если еще возможны споры о содержании картины, то уж никак не возможны они об ее исполнении. Обе фигуры так благообразны и прилизаны, что скорее наводят на улыбку, чем на самоуглубление. К этому еще надо добавить, что расчет на рабочего здесь неудачен: обе фигуры в таком положении, что возникает мысль об их исторической одновременности.

В общем, это весьма неудачный эпизод. При отсутствии художественных сил в Сибири, нужно было б просто поместить

один из известных мотивов. И это, полагаю, было бы не хуже.

Таких примеров — много.

Еще ярче выступают неудачные моменты в нашей журнально-газетной литературе.

К годовщине смерти были подведены итоги достижений.

И вот, тысячи заметок шли под заглавием «Год без Ильича», и из 1.000 едва ли десятая часть их оправдала заглавие.

«Пищевик» (№ 253) под выпуклым заглавием «Частица ленинизма» дает статью о смычке маслопромышленности с крестьянством.

«Каждый маслобоец должен приложить все усилия, чтоб побороть частный капитал».

Не споря по существу внутреннего сопряжения статьи с заглавием, полагаю, что внешне они не сопряжены. Сюда можно было б дать любое иное заглавие.

Московское коммунальное хозяйство издает «Сборник статей, посвящаемых памяти годовщины смерти В. И. Ленина».

Допустим, что «память годовщины» — это обмолвка, ляпсус. Но внутреннее содержание сборника наводит на мысль о потере всякого чутья.

В числе статей о Ленине («Правительственное сообщение о смерти», «Без Ильича, но с массами», «В дни смерти Ильича» и др.) есть также отчет месткома, итоги работы МКХ, отчет культкомиссии.

Здесь же в этом сборнике помещено несколько стихотворений, не имеющих отношения ни к Ленину, ни к поэзии вообще. Одно из них посвящено восстанию 1905 года («Узница»).

...Здесь заперта она, чуткая, нежная,
Чудной, весенней порой.
Бьется напрасно о прутья
железные
Грудью своей молодой (?).

И далее:

За коммунизм она судьями злобными
В каторгу осуждена...

И кончается небезызвестным:

Кто мне она, не жена, не

И т. д.

Какое отношение к Ильичу имеет эта скверная бездарщина, да еще с краденым концом?

Но пойдем далее по печатным дебрям.

Журнал «Бумажник» (№ 2) идет еще дальше.

Одно из стихотворений он заключает такими эффектными строками:

Вертись, земля, в такт молота ударам,
Волчок, запущенный рукой труда.
Отныне шар земной зовется Ленин-шаром
И навсегда!

Но дальше всех в своем бессмысленном замусоливании пошел журнал «Охотник» (№ 2).

Приведу одно из его стихотворений:

Ленин на рыбной ловле.

На заводи, в речной глуши,
Где верб подмытые коренья,
Он слушал мировой души
И стоны, и веленья...
Он видел села, города,
Весной разбуженные степи,
Освобожденного труда
Распавшиеся цепи...
С природою наедине,
Забыв себя, — и сон и голод, —
Ковал на внутреннем огне
Для братьев серп и молот...

Вот и все. В чем дело? — спросите вы.

Дело в символике.

Аки Савл метал мрежи в море и уловлял рыб, а проходивший мимо Христос внес предложение «стать ловцом человеков» — такая мысль и здесь.

И здесь же на этой странице выпуклый лозунг:

Охотники! клянемся, что пойдем
Без Ленина, но ленинским путем.

С фонарем ленинизма на куропаток? Дальше итти некуда.

Виктор Якерин.

Иван Доронин. Лесное комсомолье. Государственное Издательство. 1925. Стр. 86.

Стихи Доронина очень мелодичны, льются легко, свободно, в них не чув-

ствуется ни надуманности, ни натуги. Сам автор называет себя «советским Кольцовым». В этом определении если и не вся правда, то значительная ее доля. Доронин — поэт целиком крестьянский: и по темам, и по образам, и по самому строенью стиха, в котором много — от народной песни и частушки. Некоторые критики рассматривают Доронина, как своего рода живую связь между городом и деревней, как поэта, воплотившего в себе идею «смычки», в равной мере принадлежащего и деревне и городу. Это верно только до известной степени. Смычка есть, но не между городом и деревней, а между деревней и городом. Не рабочий протягивает — в стихах Доронина — руку крестьянину, а крестьянин протягивает руку рабочему. «Смычка» окрашена в крестьянский цвет, в крестьянские настроения (конечно, в настроения передового крестьянства):

Бывало, за станком я
Стою в раздумьи... вдруг
Замнится: сбоку комья
Земные режет плуг.

Бьют молоты... а дума —
На сочных муравах...
От копоти и шума
Туманна голова...

Травой казалась сажа,
Травой лесных полян...
И думал я: когда же
Увижу вас, поля.

На заводе, среди машин поэт остается все тем же крестьянином, неразрывно связанным с полями. «Лесное комсомолье» все посвящено новой деревне, перестраивающейся, расколовшейся на два лагеря: в одном — молодежь, тянущаяся к комсомолу, живая, инициативная, в другом — брюзжащие старики, цепляющиеся за старое. В этих стихах Доронина много бодрости, удали, молодости, но они немного монотонны, однообразны. Они все почти построены по одной и той же схеме: девушка, полюбившая комсомольца или «нездешнего», городского парня, рабочего. Однообразны и ритмы, сравнения, небогат арсенал поэтических приемов. К этому же все стихотворения слишком растянуты (это наиболее бросающийся в глаза недостаток Доронина).

Но так как Доронин — поэт молодой, то надо думать, что эти недостатки — лишь болезни роста, а так как он талантлив, то следует надеяться, что он не только их преодолеет, но и развернется в близком будущем много шире и ярче.

А. Лежнев.

«Прибой». Альманах первый. Рабочее издательство «Прибой». Ленинград 1925 г. Стр. 295.

Наибольший интерес в данном альманахе представляет повесть Ю. Либединского «Комиссары». Либединский — истинно-революционный писатель, доказавший это первой своей повестью «Неделя», и оттого вполне понятно то волнение, с каким читаешь его новую вещь.

К сожалению, «Комиссары» разочаровывают. Несмотря на то, что повесть еще далеко не закончена (в альманахе напечатана только первая часть), уже и сейчас можно отметить ее основные недостатки: композиционную расплывчатость и неоформленность, общую вялость, мертвенность и блеклость диалога.

Либединский поставил своей задачей художественное воплощение нашей военно-командующей массы во всем ее многосложном разнообразии. Судя по первой части повести, он не справился со своей задачей. Его задавило обилие материала— золотоносные руды этого материала оказались не вскрытыми и потаенными. В результате мы не видим ни художественных обобщений, ни целостных, запоминающихся и характерных в своей законченности типов. Получились т. н. бытовые записки, соприкасающиеся с той мемуарно-революционной литературой, которая нашла свое яркое выражение в романах Фурманова «Чапаев», «Мятеж» и др.

Повторяем, мы имеем перед собой только первую часть повести, и потому можем судить лишь приблизительно. Но то, что мы имеем перед собой — сбор комиссаров в здании губернской гимназии, на специальных и общеобразовательных курсах, жадную тягу к учебе у одних,

борьбу мелких самолюбий у других, уже успевших набросить на защитный френч кисейный шарф административно-мирного благодушия — все это показано в черновом, необработанном виде.

Это даже и не показано — Либединский ограничился рассказыванием. Мы не видим у него того большого писательского мастерства, когда из чудесного сплава нескольких жизненно-характерных черточек вырисовывается живое, человеческое лицо. В повести Либединского мы сталкиваемся с масками, его люди — конечно, не всегда — напоминают картонажи, они не действуют, а двигаются, они живут где-то за кулисами повести, они говорят каким-то вымученным языком. Он пишет или слишком скупо, или слишком растянуто, никогда не соблюдая художественной меры. Иногда он пишет уверенно и сильно, меткими и четкими бросками, и тогда его картина, согреваемая и освещаемая темпераментом и энергией, начинает жить, двигаться и звенеть. Несколько таких картин можно наблюдать и в «Комиссарах», особенно мастерскую картину игры в городки.

Намеченные в повести Либединского люди объединены преданностью коммунистическому знамени, но в своей индивидуальной сущности они глубоко разнородны и разносторонни. Все эти люди — и Арефьев, зав. курсами, и его помощник Миндлов, и групп. руковод. Косихин, и Смирнов, и Лобичев — имеют свои человеческие особенности, свои индивидуальные отличия, лишь слегка означенные Либединским. Удачнее других Лобичев и Смирнов. Основная фигура — Арефьев, являющийся скрепляющим звеном школьной цепи — не закончена и бледна: он двигается как бы по команде, живет по сигнальному военному рожку. Слабо очерчена и другая фигура, Миндлова. Чуть намечен любопытнейший образ Шалавина — старика коммуниста, до краев преисполненного крепкой и жаркой радостью жизни.

Повесть написана очень просто, размеренным и плавным языком, неизменно-спокойным и, в то же время, часто срывающимся, а иногда и неряшливо-сбитым. На это необходимо обратить сугубое внимание, ибо кампания за улучшение качества продукции должна коснуться и художественной литературы.

Приемы Либединского очень несложны и, зачастую, примитивны. Писателя давит описательное. Описывая новые семейные взаимоотношения, жену и мужа, которых уже без улыбки можно назвать друзьями, Либединский ограничивается, например, тем, что репортерски сообщает, как по вечерам жена и муж разговаривают о своей дневной работе, ничуть не вскрывая характерной сути их разговора. Зарисовывая тип Косихина, горячего и умного юноши, он не останавливается на глубоко любопытном процессе его самообразовательной работы, а выводит его перед читателем лишь в эффектированном, плакатно-показательном виде. Говоря о Лобичеве, он пишет: «его большая круглая голова была могучей передаточной станцией, распределителем знания». О том же, как Лобичев, этот крестьянский парень, приобрел свои знания, почти не говорится, а если и говорится, то бегло и поверхностно.

Либединский охотно прибегает к образу, и в этом случае его постигает уже полная неудача.

Иногда его образ шаблонен:

«Ночь, как ласковая любовница», — иногда газетен:

«Московский завод послал их обоих на хребет для того, чтобы откаленная рабочая воля выправила зыбящиеся крестьянские полки»,

— а иногда и окончательно запутан:

«Как металл на самое дно сосуда, так ум Сергея вникает в глубину вопроса, только с этой глубины он может осветить свой предмет».

Повторяем, «Комиссары» радуют своей темой и далеко не удовлетворяют ее разработкой и выполнением. Будем надеяться, что в дальнейшем автор овладеет своим материалом, доберется до его золотых глубин, воплотив эти глубины в подлинно-художественных образах. Данные для этого у него есть, но работа предстоит ему огромная.

Другая повесть в альманахе — «Крестьянская война» А. Окулова посвящена борьбе сибирских партизан с белыми войсками черного адмирала. Окулов в этой вещи напоминает Вс. Иванова. Но если

и повестях Иванова били водопады самобытно-глубинной художественной силы, если в его повестях веяла размашистая цветистость подлинно - художественного слова, то в «Крестьянской войне» Окулова, наоборот, сказывается, как и у Либединского, недоработка и расплывчатая беглость тематического развития. Писатель пишет сухо, скуповато, но эти скупость и суховатость не являются залогом живости. Наоборот, они придают его повествованию протокольный характер. Это особенно сказывается в наиболее трагической, казалось бы, сцене повести: сцене зверского убийства колчаковскими казаками Фины и Фроси.

Гораздо удачнее отрывок из романа А. Демидова «Вихрь». Демидов зарекомендовал себя, как крепкий, наблюдательный бытописатель («Жизнь Ивана»). Его особенности: простота, умение уловить необходимо-характерное, спокойная и детальная разработка темы — сказались и в этом романе. Роман, в настоящем своем отрывке, воскрешает Февральскую революцию в Петрограде. По всей видимости, он будет ценным памятником своей эпохи, тем более, что события Февральской революции, особенно, в смысле массового рабочего восстания, в литературе далеко не освещены.

Кроме перечисленного литературно-художественного материала, в альманахе помещены «Рассказы о любви»—П. Романова.

Романов — писатель значительный, во всяком случае он художник, но он часто пишет, как посторонний наблюдатель, и часто влюбленно любуется уходящей стариной. Его созерцательность граничит, обычно, с подлинно элегической грустью. Мягкость его описаний часто переходит в настоящую нежность. Таково, например, описание весеннего утра, напоминающего «пасхальное», в одном из рассказов, помещенных в данном сборнике.

Помещенные в альманахе рассказы, вообще, не характерны для Романова. Они выписаны умело и тонко, но их тема — весенняя любовь кисейных девушек — старая, бесконечно варьируемая, тема. Романов не вносит в нее ничего нового, своего, — люди, действующие в этих рассказах, находятся решительно вне эпохи.

Знакомиться с творчеством Романова нужно по его миниатюрам, посвященным современности. Эти миниатюры наглядно свидетельствуют о его художественной зоркости и наблюдательности, о его способности видеть за кажущимся анекдотом большой и глубокий смысл.

Что же касается «Руси», сравниваемой Н. Фатовым с «Войной и миром», «Божественной комедией», и «Илиадой» — то оценивать ее пока еще рано. То, что напечатано — хорошо, но только в известной мере.

Той переклички с современностью, на которой настаивает Фатов, в романе не чувствуется: его герои — только тени старых «классических париков». Повесть Романова «Детство», признаваемая с оговорками даже Фатовым, уже целиком в прошлом. О будущем писателя гадать преждевременно и бесполезно. Но следует отметить, что он непрерывно растет и углубляется, если только углублению и росту не помешает статья т. Фатова.

Статью тов. Фатова о Романове можно расценивать, как лирический анекдот. К сожалению, статья Фатова не только его личное мнение. Поскольку она напечатана без примечаний и оговорок, постольку редакционная коллегия альманаха, в составе тт. Авербаха, Горбачева, Либединского, Раскольникова и Серафимовича, целиком солидаризируется с ней. А это только лишний раз подтверждает тот разброд, который наблюдается в современной литературной критике.

В заключение — о стихах, помещенных в данном альманахе. Они на редкость плохи. «Сердцун» — Безыменского принадлежит к тем стихотворениям, которых, вообще, не стоит печатать. Это или его раннее произведение, или непростительно-небрежное. В нем поражает огромное несоответствие образов, и общая композиционная вымученность. Футуристические «рык» и «кряк» соединены с непристойно-слащавыми сантиментами:

Братишечка Сердцун! Не ночь,
комсомолка
С повязочкой зари в платке ночного
шелку
Под вышивкою звезд...

Даровитому поэту — а Безыменский даровит — следует воздерживаться от печатания подобных «поэз».

Гораздо лучше стихи Е. Панфилова «Шпана» — они подкупают хотя бы своим «чистосердечным раскаянием»:

Ах, Александр Сергеич Пушкин,
Я думал —
Мы тебя взрослей,
Но нет —
Все так же ты наш лучший
Из всех учителей.

Издан альманах крайне безвкусно. Особенно плоха модернистски-вычурная обложка, изображающая голубые волны, скорее похожие на макароны, и летящую над ними птицу с огненно-распущенными крыльями.

Здесь, опять-таки, не вредно вспомнить об улучшении качества продукции.

Н. С.

Родион Акульшин. О чем шепчет деревня. Изд. «Московский Рабочий». 1925 г. 128 стр.

Подлинные настроения деревни Родион Акульшин знает значительно лучше тех верхоглядов, которые озабочены не отображением действительности, а созданием (на бумаге) пейзанских идиллий. Акульшин не театральный мужичок, с крестьянством он связан кровно. Из его книги, носящей местами автобиографический характер, мы узнаем, что близкие поэта крестьянствуют в самарской деревне, что Акульшин их навещает, часто с ними переписывается. Наконец, сам автор долгие годы жил и работал в деревне. По всем этим причинам мы должны внимательно выслушать его.

Книжка Акульшина книжка невеселая:

«Мое родное село повернулось ко мне темным своим ликом, и мне не хочется его скрывать... Белить его и румянить — дело пустое и вредное».

Но не для того говорит поэт о печальном, чтобы впасть в безысходность. Надо, по его мнению, не покладая рук работать и рассеять мрак невежества, окутывающий крестьянство, но «если мы хотим дать для деревни полезное ей лекарство, должны же мы точно и подробно знать болезнь».

И о различных проявлениях этой болезни рассказывает Акульшин:

«В селе Виловатове, Самарской губернии, на шестьсот дворов нет ни одной газеты. Крестьяне их не видят и не читают». При таком отношении к печатному слову— не обобраться суеверий и предрассудков. Обрядово-религиозная целина лишь чуть-чуть тронута безверием. На огромное село, растянувшееся на шесть верст в длину, всего лишь два «безбожника». Большинство же пугливо сгрудилось вокруг — *«опиума для народа»* — маленькой церковки и верит во всякую чертовщину.

Не успел Акульшин с телеги слезть, как задан был ему весьма «дельный» и «актуальный» вопрос... как обстоят в Москве дела насчет обновления икон. Автор высказал в этом деле полнейшее незнание, и ему пояснили деревенцы·

«...А у нас тут говорят, что началось это в Питере, а оттуда идет на Сибирь».

В акульшинском селе обновления икон не было и вот как отнеслись к этому «несчастию» крестьяне:

«...Затужились все. Наверно, недостойны мы — грешили много. А в других селах — везде... Икона столетняя черная-расчерная, а вот поди же ты — делается, как золотая. Все больше божья матушка обновляется... только в Широченке и Микола-угодник в сиянии проявился».

Характерна приписка автора:

«Рассказывали серьезно, с волнением в голосе. Только на лицах молодежи кудрявилась улыбка недоверия. Из уважения к старшим молчали».

Верит еще деревня в колдовство, в оборотней-переметчиков. Самого Акульшина это черное средневековое крыло коснулось. В 1919 году не понравился поэт какому-то счетоводу, и тот слух пустил по дворам, что автор в шкуру волчью нарядился и съел мальчика и девочку. Многие поверили в нелепую легенду и Акульшина обходить стали с опаскою, прозвав волком. Пять лет целых носил прозвище волка поэт!

Не менее красноречив и такой случай: «...На пасхальной неделе, за несколько дворов от нашего дома, парни теленка изувечили, твердо уверенные, что это не теленок, а тетка Дарья».

Не на высоте своих задач стоят те немногие партийные работники, которых видел Акульшин в деревне. — Вырыпаев — пьяница и забияка, без нужды тычет в лицо наганом и партбилетом. Не лучше — Арсенька, пустомеля и алкоголик.

Пишет обо всем этом Акульшин не для ехидной критики и издевки. Единственной целью нерадостных наблюдений поэта является желание скорейшего оздоровления деревни:

«Наша задача — ввести деревню в наш новый быт, в строительство наше, в советское наше „сегодня“.

А любя, можно говорить много горьких истин.

Пишет Акульшин о деревенской библиотеке, разобранной на цыгарки, о знахарстве, лечащем болезни дикарскими средствами, об уродливых отношениях меж мужчиной и женщиной, о тупой жестокости, о нелепом деревенском драматическом кружке, не имеющем ни одной дельной пьесы, о безобразничающих подростках. — И все-таки автор верит в иную, более радостную жизнь. Констатирование плохого, уродливого не приводит его к отчаянию. Пусть медленно и туго раздвигается мрак над соломенными и тесовыми крышами нашей деревни — она пробуждается. Фокус веры Акульшина сосредоточен на молодежи, едущей учиться с тем, чтобы обогащенной знаниями вернуться в родную деревню:

«Да, счастье им будет, будет им большая и хорошая жизнь. А красный «галстус», а комсомольский платочек на голове — милые мои, поймите — это признак крепкого будущего, ясной головы и теплого сердца. Они растут, они неудержимо растут — и будет день, когда они возьмут на свои плечи нашу старушечью жизнь».

Нам остается сказать несколько слов о стиле книги. Поэт и фолклорист, Родион Акульшин, остался верен себе и в журнально-газетных заметках, составляющих бóльшую часть рецензируемой книги. Народное словцо подслушано запечатлено автором с большим искусством, с большой любовью. Сбережение народного говора в его чистом виде, не засоренном непродуманной иностранщиной, составляет одну из удачно разрешенных задач, поставленных себе Акульшиным. Хороши записанные и обработанные автором сказки, своеобразно отражающие черты новой России. Подробнее о них в другой раз, когда сказки появятся в ином тематическом окружении.

Федор Жиц.

Альманахи артели писателей «Круг». №№ 4 и 5. Изд. «Круг». М. — Л. 1925 г. 240 и 230 стр.

Участники круговских альманахов не маршируют по узко-кружковой команде, не объединены никакими «платформами». Каждый из них сам по себе, в кругу своих идей и образов, в своеобразном стилистическом одиночестве. Никому из них не подсказывает суфлерская будка никаких близоруко-календарных целей, хотя связь с современностью альманахов очевидна. Как подлинные художники, не терпящие никакой ограничительной «диэты», круговские писатели с одинаковым аппетитом «потребляют» разнообразные тематические богатства жизни, помня правило: нет ненужных тем, нет запретных тем. Прошлое и настоящее, общественно ценные и психологически индивидуальные мотивы — все это должно быть неотъемлемым достоянием писателя. И лишь в атмосфере ✓ абсолютной творческой свободы, без низких сводов какого бы то ни было доктринерства, возможно создавать литературные ценности, подобные тем, которые помещены в рецензируемых сборниках.

Две главы из большого романа Андрея Белого «Москва», который, очевидно, будет печататься из номера в номер альманахов «Круга», вводят нас в интересное задание писателя — показать старую дореволюционную и новую революционную Москву. Пока мы имеем лишь экспозицию центральных фигур, и о романе, естественно, говорить преждевременно.

Сильно представлен в обоих альманахах Борис Пильняк повестями — «Мать-сыра-земля» (№ 4) и «Заволочье» (№ 5), которые стоят в ряду лучших, наиболее зрелых его вещей. Не любит Пильняк проторенных дорожек, витринного слоя жизни, освещенного столичными фонарями «европейского благополучия». Глаз писателя обращен в дремучую, первобытную глубь России, целину которой нам предстоит впервые, за длинный ряд столетий, поднять, вспахать и повернуть к теплым лучам культуры. «Мать-сыра-земля» и напитана дыханием этой сонной глубины. Напрасно запомнил из нее тов. Осинский лишь крестьянина Степана Климова, воровавшего корье и повисшего на суку головою вниз. Не на анекдоте, а на быту сосредоточил свое внимание Пильняк в этой повести. Старец Игнат, пастух Минька, сказочник Кузя и другие — лица живые, существующие. И не вина писателя, если до сих пор у нас еще живы захолустные трущобы, в которых мужики верят в водяных, леших и всякую другую чертовщину. И не вина писателя, если в этом зверином и хаотическом брожении инстинктов и воль трудно партийцам Некульевым работать, сладить сразу с этими огромными пространствами лесов и болотных кочек, затаившимися в десятках, а порою и в сотнях верст от железнодорожного полустанка. «Ура! — читатель не замедлит, конечно, найти в повести явные следы пессимизма и будет за это ругать Пильняка. Вернее поступит тот, кто по-настоящему задумается над методами борьбы с теменью диких глубин, описываемых Пильняком.

Повестью «Заволочье» Пильняк дебютирует как «морской писатель». Автор описывает злоключения научной русской экспедиции профессора Николая Кремнева к северному полюсу. Трудности пути, гибель судна, упорство научной мысли, лишения, обнажение и обострение человеческих инстинктов в борьбе за жизнь, за уцеление, морские просторы, покрытые «вечными льдами», показаны с ощутимой выпуклостью и силой. Обе повести — «Мать-сыра-земля» и «Заволочье» написаны в плане нескольких параллельных сюжетных линий. Первая — со ступенчатыми переходами от одной линии к другой. Вторая — с одновременным обнажением двух-трех линий сразу. С каждой новой вещью Пильняка убеждаешься в нужности и оправданности этого приема, который позволяет писателю пользоваться эффектами сопоставлений и противопоставлений. Исключительно удачно применен этот прием в «Заволочье», где одновременно контрастно показаны — шумный, культурный Лондон и полярной дикостью окутанный Шпицберген, дикий север и уютная Москва.

Большим мастером маленького рассказа показал себя, по обыкновению, Всеволод Иванов. На редкость удачна его «Пустыня Тууб-Коя» (№ 4) — эпизод из эпохи гражданской войны. На-лицо излюбленные Ивановым фигуры простых, сильных и отважных людей с острым сексуальным напором. Встреча одной женщины (грузинки Елены Канашвили) с целым отрядом мужчин — изголодавшихся по женщине партизан — лучшая из страниц в мировой литературе по звериному утверждению жизни. Здесь нет похабщины, сюсюканья. Автором вскрыто недремлющее половое начало, которого не в состоянии упразднить в человеке никакие революции, никакие общественные обязательства.

Во всем рассказе ни одного лишнего, ни одного неудачного слова. По всем его строкам струится художественная мощь высокого напряжения.

Исключительного также внимания заслуживает повесть С. Григорьева «Казарма» (№ 4), которую, впрочем, вернее было бы назвать страницами из дневника, потому что мозаические ее отрывки, правда, связанные единым идейным стержнем, единым художественным видением действительности, напоминают по композиции «Опавшие листья» Розанова. По глубине и разнообразию затронутых вопросов, по оригинальности словесной фактуры повесть заслуживает отдельной статьи, неторопливого и детального разбора. Здесь же мы отметим наиболее ясную для широких кругов читателей сюжетную линию повести — жизнь глубоко штатского человека в николаевской казарме во время империалистической войны. По нелепости и приниженности этой жизни, образно и психологически вскрытой писа-

телем, по жестокой бессмыслице войны, втянувшей в себя миллионы людей, не хотевших крови, «Казарма» Григорьева выдерживает сравнение с лучшими вещами Барбюса.

Хорош и оригинален рассказ Андрея Соболя (№ 4) об оперной актрисе Марине, среди спектакля бежавшей из театра с любовником Сомовым, чтобы трагически доиграть последний акт «Кармен» в плену у одной из банд гетмановщины. Рассказ написан быстрыми и четкими импрессионистскими линиями, скачок со сцены в полымя жизни сделан с большой драматической убедительностью.

Тонок, акварелен рассказ Чулкова «Кинжал» (№ 5) из эпохи декабристов, которую так хорошо изучил автор. Вот классический образец, как можно дать строго стилизованное отображение чуждой нам среды, далекого от нас времени без грузных чемоданов, набитых вышедшими из употребления словами, ненужными и непонятными провинциализмами.

Занимателен и художественно ценен отрывок «Два брата» (№ 5) из романа «Сорочье царство» С. Клычкова. — Форма сказа—наиболее рискованный прием, применяемый к большому произведению. Здесь для писателя большой риск заставить скучать по непосредственному действию. Клычков же настолько виртуозно овладел этой формой, что заставляет жалеть, почему мы имеем пока лишь отрывки романа, а не роман в целом. Да если в Клычкове не было бы никаких других достоинств, кроме языкового богатства, которым насыщена его проза, читатель скучать не стал бы.

Крепок, свеж, фонетически и образно богат отрывок из романа в стихах «Спекторский» Б. Пастернака (№ 5).

Народны, ритмически интересны — «Ярило» Ивана Рукавишникова (№ 5) и песенный сказ Ширяевца «Палач» (№ 4).

Перечитываю рецензию и вижу, что она однообразно написана: всех хвалю. А ведь по рецензентской традиции надо же было кого-нибудь да за что-нибудь ругнуть. Но не моя вина, если в обзоре кругонских альманахов я имел дело с исключительно высокой квалификации художниками, из которых каждый в своем роде целен и убедителен.

Федор Жиц.

«Забой». Сборник первый Союза пролетарских писателей и поэтов Донбасса. Изд-во «Рабочий Донбасса». Артемовск 1925. Стр. 102. Цена 1 р. 50 к.

«Сборником «Забой» пролетарские писатели Донбасса *впервые* [1]) выходят на широкую дорогу литературы», — говорит предисловие. Просматривая более ранние произведения донбассцев, напечатанные по лит-страничкам газет или в альманахе «Рабочие удары», нельзя не согласиться с ним. Но все же, несмотря на обилие недостатков, — зачастую очень крупных,— предлагаемая книжка интересна, о ней стоит и следует говорить. И жаль, что высокая для 100 страниц цена помешает широкому распространению сборника.

Лучшая вещь в нем — «Комендант Склепа», рассказ Вл. Соболева, неизвестно почему заверстанный в самый конец книги. Некоторыми внешними особенностями и самой своей темой рассказ этот напоминает Л. Н. Сейфуллину, в частности то место «Правонарушителей», где говорится о Гришкиной коммуне. Как и там, действие разворачивается среди беспризорных подростков, обосновавшихся на кладбище, куда ночами приводят смертников на расстрелы. Несмотря на такое внешнее сходство, рассказ Соболева остается глубоко оригинальным и в сущности своей далеко уходит от «Правонарушителей». У Сейфуллиной жизнь детей среди могил является только эпизодом в повести, центр тяжести которой лежит в ином; дети Гришкиной коммуны еще не потеряли своего детского облика: они боятся мертвецов, днем играют в чека и расстрелы, а ночью жалеют тех, в кого стреляют где-то недалеко. У Соболева же вся суть рассказа заключается в могильном быте его героев — в склепе, в могиле (а не среди могил) живут они. Дети у Соболева — уже не дети. У них дурная болезнь, они ничего не боятся. — «Нет дураков верить в чертей и упырей», — а во время расстрелов они не жмутся друг к другу, рассуждая — «В тюрьму бы их лучче» — а прячась в кустах смотрят, как «коцают» «мокрых, шатающихся, слю-

---

[1]) Курсив везде мой. *Б. Г.*

нявых», ждут, когда можно будет им выбраться из засады, чтобы стаскивать с трупов обрызганные кровью подштанники и хладнокровно советоваться, годны ли подштанники или нет.

Написан рассказ в сильных, жестоких тонах. Язык простой, точный, скупой на образы. Местами только портят его словечки вроде «дождит» и эффекты чисто фельетонного свойства. К числу наиболее досадных недостатков следует отнести плохую мотивировку Еркиной симпатии к «красным» и некоторую рыхлость в построении сюжета.

Рассказ А. Заходяченко «Эшелон» портят сработанные «под Пильняка» абзацы:

«В тот год, когда в синем хрустале весенней ночи заморозки в лужах блестят при луне, как слезы на глазах больно ушибшегося ребенка, полз в степи переполненный людьми эшелон».

«Эшелон шел в синюю ночь, в рассветы, алой улыбкой расплескавшиеся в полнеба, в утренние туманы»...

Зря это. И похуже Пильняка, и не вяжется с общим стилем. Не вяжутся с ним и лирические восклицания на манер раннего Иванова:

«Любовь моя, степь широкая!

«Как петь о непетом? Как жить не доживши?»

Вставлено все это, как говорится, ни к селу, ни к городу. Если зачеркнуть — получится совсем сносный рассказ с памятными, яркими местами. Хороша картина, в которой пьяный матрос бросает в командира бомбу.

В «Хромкуртке», Иго, при помощи самых неожиданных перебросок куртки из рук в руки, показывает целый ряд ничем остальным не связанных между собой людей: китаец, мучной спекулянт, бандит, забойщик Крепкобоев, кулак, батрак кулака Степка, профработник и кустарь-картузник Филька — такова цепь временных хозяев кожанки. Мелькают они мимо читателя поистине с кинематографической быстротой, и заключительные слова автора о том, что его «скорбная летопись» не бьет «на динамичность», следует понимать, как довольную усмешку. Радоваться ему, впрочем, рано, единственно ценное в рассказе — умелая хватка автора, при помощи нескольких штрихов дающего характерность отдельных фигур: умение выбрать из многого немногое нужное, — хороший залог для работы более серьезной.

«Маленькая история одного шефства» Г. Шишкова часто сбивается на дешевую юмористику типа «Комара», в которую врывается эстрадный пафос:

«Оттого, что сердце шахтера тоже огонь».

«Оттого, что огненный Донбасс — кандидат в солнце».

Сюжет «Истрии» — неправдоподобен: комсомольца Костю Славина л о в я т (!) на переписке с девушкой подшефного села и после долгого жевания этого факта на собраниях ячейки и райкома постановляют «через протокол дать строгий выговор с предупреждением. Предложить ему также прекратить дальнейшую переписку». А в прениях предлагают «исключить Славина из рядов ЛКСМ», «занести выговор в личное дело», «поставить политсуд над Славиным»... Костя Славин ответил на это, что «он совсем и не думал, что может из этого выйти такая история». Добавлю: никто, кроме автора, не думает этого и досель.

Остальная проза становится все бесцветней и скучней и, наконец, доходит до «Затеи поповской» В. Гайворонского, которую следует причислить к категории ученических опытов из «Рабочих ударов».

Стихов в сборнике много, слишком даже много, пожалуй. Это, очевидно, за счет основного греха всех молодых групп. Большинство стихотворений вполне грамотно формально — нередко встретишь звучные строки и полновесную рифму. Но все они скучны, не запоминаются. Относительно выше стоит «Триста» М. Диманштейна. Поэма Е. Кузьмина «Три Ивана» занимает последнее место: она отличается длиной (около 400 строк), образами «петух, как прыщ» и рифмовкой «фронт — огонь».

В общем, сборник все-таки показывает большие успехи молодых донбасских писателей. Помимо чисто формальных достижений, указывающих на усидчивую работу в области языка, композиции и общей выразительности, заметен, в известной пропорции, отход от тенденциозности, от схематичности и голого быто-

визма. Хочется думать, что это серьезно и навсегда — хочется серьезно и навсегда поверить, что наши провинциальные организации сумеют отказаться от каких бы то ни было псевдо-литератур и, раз выйдя на широкую дорогу, добраться до вершин литературной истины.

Борис Губер.

Михаил Карпов. Апрельские прели. Повести и рассказы. Лнгр. «Прибой». 1925. 192 стр. 75 коп.

Рассказы Карпова в большинстве — бытовые, крестьянские. В них есть все, что с таких рассказов обычно спрашивается: классовое расслоение деревни, бедняцкие обиды и кулацкие утеснения и пр. Но в характеристике всего этого не встречаешь ничего неожиданного — все известно из газетных корреспонденций и статей или из рассказов других авторов. Есть два-три рассказа с авантюрным уклоном, некоторые из эпохи гражданской войны. Со стороны художественности их не приходится особенно хвалить.

М. Карпов стремится писать так, как модно в наши дни. Он пишет «с приемами». Напр., он хочет говорить выразительно, но не находит ничего более удачного, как раскрошить свою речь на куски возможно большим количеством знаков препинания (о них и взаправду все время «препинаешься» читая Карпова) и каждому куску отвести графически отдельный абзац:

«Одно из трех положений:

«Ходит (чисто выбритый, с большими волосами, в черной гимнастерке и черных галифе) из угла в угол по комнате.

«Если б не ходил, то:

«Лежал бы на деревянной койке — с точеными ножками койка—или: сидел бы за столом и рылся в книгах.

«Комната для нарсудьи Никитина (Петра Семеновича) — квартира, а вдове Чекушкиной (Дарье) с дочерью Фроськой — доходная статья».

Дурная манера: и надоевшая, и отдает искусственностью, и портит то, что есть у автора хорошего. Попробуйте, напр., выбросить из цитированного отрывка ненужные двоеточия и скобки, соединить клочья в целую фразу — останутся вовсе не так уж плохие несколько строк.

Много искусственности и в построении рассказов Карпова. Например, в «Повести о зайце и людях» связь между зайцем и людьми чисто внешняя, никакой внутренней необходимости в этой связи ни для характеристики зайца, ни для характеристики людей нет. Нарочитостью и натруженностью отдает образ («Огарок свечи плачет грязными слезами воска»).

В результате до последней степени развитого стремления к оригинальности мы встречаем у М. Карпова, однако, лишь множество наших знакомых: и Андрея Белого, и Никитина, и Вс. Иванова, и Эренбурга, и Сейфуллину, и поэтов-имажинистов, — кого угодно; но все это очень плохо Карповым переварено. Лучше бы уж ему (да и многим другим молодым писателям) писать просто, стараясь облегчить чтение, а не затруднить его, примерно так, как это делали писатели, скажем, Бунинской поры. В этом случае Карпова спасут, во-первых, зачатки художнической наблюдательности, которые он обнаруживает уже в настоящем сборнике, а, во-вторых, это же стремление писать оригинально, которое не перестанет отталкивать его прочь от штампа. Со временем, постепенно в его естественной литературной речи появится снова и оригинальный образ, выразительная фраза или композиционный прием, но будут уже более оправданы, более точны, не будут случайными, а отразят и выразят то, что автор нашел в результате внимательного художнического наблюдения жизни.

Н. Юргин.

«Взлет». Альманах литературной группы «Твори». Изд. «Прибой». Ленинград 1925 г. 168 стр.

Спор меж «что» и «как» в наши дни полностью не разрешен в области искусства. Если тропинка узка, надо, конечно, кому-то итти впереди, а кому-нибудь позади. По церемониалу местничества одни выдвигают содержание, другие форму. Не правы те и другие. Дорога литературы широка. И, не оскорбляя ничьего само-

любия, обоих соперников можно пустить рядом. И все же... о литературе надо прежде всего говорить с литературной точки зрения. Это не эстетство, не контр-марксизм, а совершенно логический вывод из того простого положения, что литература есть литература. Мало ли содержания в самой жизни? Ведь в ней заключена потенция всего искусства. Но никто не назовет жизни искусством. Энергия электрическая, имеющаяся в природе, должна быть заключена в математически точную машину, чтобы поворотом штепселя осветить свою комнату. «Преступление и наказание» гениально выросло из нескольких строк газетной хроники. То же самое да расскажи в другой, неудачной форме, и получится все что угодно, только не произведение искусства.

Если книга плохо написана, содержание ее умирает вместе с формой, как погибает невыношенный зародыш вместе с умершей матерью. Умирает, как искусство, но может остаться жить, как общественно ценный документ. Ведь изучаем же мы настроения деревни по малограмотным письмам. Это не только не зазорно, но и необходимо. Другое дело, если те же деревенские письма войдут в какой-нибудь литературно - художественный сборник. Документальность невольно отойдет на второй план, а на первый выдвинется эпистолярная беспомощность, ничего общего с литературой не имеющая.

Таково большое предисловие к небольшой книжке литературной группы «Твори», взлет которой оказался студийно невысок при благих намерениях ее членов.

Не плохи миниатюры Михаила Волкова, объединенные под общим заглавием «Байки Антрона». Стиль народного сказа выдержан в них до конца. И все же похожи они на стрельбу холостыми патронами. И курок спущен, и шум раздался. А никого не убило. Искусно раскрашен пустой орех, а зерна-то в нем и нет.—Малокровие на почве тематического худосочия. Неудачна повесть Н. Афромеева. Написано грамотно, «прилично», но не больше. Изредка замечается склонность к вылизанной фразе. «Серые — усмехнулись, всверились. Синие — упорхнули. Внутри трепетала досада. Хотелось озлиться, рвануться, крикнуть. Росла беспомощность».

Так автор описывает борьбу мужского напора с женской неподатливостью. «Серые» и «синие» — это глаза борющихся. Не хорошо. Неудачна повесть и по другим мотивам. Тов. Афромеев захотел рассечь своих персонажей на две категории — сильных революционных рабочих и жалких осколков буржуазии. Но операция получилась неудачной — на столе остались генерал с дочкой, а в таз попал партиец Плантов. — Силу автор подменил бессердечной грубостью. И вместо «сочувствия» к Плантову Афромеев вызвал жалость к генералу с дочкой. Автор этого, конечно, не хотел. А вышло «нечаянно», от неумения обращаться с писательскими инструментами.

Бледен и незначителен рассказ Крутикова, «Переплет», из эпохи гражданской войны. А Кожевников хорошо задумал и плохо написал миниатюру «Первый снег». Начинается она так:

«Осенний вечер был тих и недвижен. Воздух затвердел, как массив прозрачного, чуть синего хрусталя, и в него острым ножом врезаны белоствольные березняки в желтых коронах. В том холодном и недвижном воздухе засохшие листья, готовые упасть от легчайшего ветра, чудились тяжелыми зрелыми лимонами».

Не правда ли, трудно догадаться по этому «эпическому» и «классическому» пейзажу, что будет дальше? А речь идет о том, что с большой опасностью для жизни крестьянин из колчаковской армии пробирается через казацкую цепь к себе в деревню. Неуместность «лимонов» очевидна. Дальше без тропических фруктов, но тоже плохо.

Тов. Бронза ухитрился написать не плохое предисловие к несуществующему рассказу, «Неудача». Отрывок из романа Николая Молодцова «Нераскованные будни» передвижнически растянут, но жизнен. Будни рабочей семьи автор, очевидно, знает не плохо. Умеет писать Николай Москвин, но мудрит под Булгакова и, отчасти, Эренбурга. Претенциозен и мало внушителен его «Октябрь чиновника Макушкина». Студийная работа для благо-

получного перевода с одного семестра на другой.

Очерк С. Дикова «Лесная даль» тоже удовлетворительная ученическая работа.

Нежен и гуманен этюд Петровой «Поющий котел», посвященный быту беспризорных детей.

Прост и жизнен рассказ Т. Дмитриева «Под ураганным огнем». Но батальной вещи этой недостает нервов. Есть кровь, но нет ужаса от крови. Не плох и рассказ А. Пучкова «Улица» из жизни рецидивистов. Похвально стремление автора к короткой, темпатически живой фразе. К стремительному развертыванию сюжета. Но быстрота нередко превращается у Пучкова в телеграфную номенклатуру, лишенную художественной зарядки. Стихи сборника на высоте прозы. Талантливее других поэт Н. Богданов. Но он слабо пока владеет формой.

В итоге вот что:

Одни из участников сборника пишут лучше, другие хуже. Но всем им, без исключения, надо рекомендовать щупать пульс нашей эпохи. Нужна углубленность. Нужен синтез. Нужно пытаться отыскать толстовскую изюминку в окружающем.

Федор Жиц.

Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым в 1851—1860 годах. Вступительная статья и примечания М. Цявловского. Четвертый выпуск «Записей прошлого». Изд. М. и С. Сабашниковых. М. 1925 г. Стр. 140.

Тетрадь П. И. Бартенева, подробно описанная и комментированная М. А. Цявловским, представляет значительный интерес и не только для пушкинистов. «Рассказы о Пушкине» — драгоценный памятник быта, живое свидетельство эпохи. Взяв эту книгу, непременно дочитаешь ее до конца. Этот острый интерес объясняется тем, что записи Бартенева открывают нам самый путь исследования; читая эти записи, мы как бы сами вновь и вновь переживаем свидетельские показания о жизни Пушкина.

В этих рассказах поэт не одинок. Он окружен определенной средою. Историк найдет в книге богатый материал для суждения о социальной обстановке, в которой жил и работал Пушкин.

Любопытна личность самого П. И. Бартенева, этого нашего летописца XIX века. Он по праву занимает место рядом с П. В. Анненковым, первым редактором и биографом Пушкина. Правда, оба они были дилетанты; их приемы биографических и текстуальных публикаций поражают своею ненаучностью, — и все же к их трудам мы будем возвращаться постоянно, ибо оба они были у первоисточника пушкиноведения, хотя ни тот, ни другой лично Пушкина не знали. Они были окружены друзьями Пушкина и они унесли с собою в могилу тайны его жизни, которые мы уж не узнаем никогда. Бартенев общался не только с литературными знакомыми Пушкина, к каковым надо отнести Погодина, например, или Шевырева, но и с его приятелями, например, с С. А. Соболевским, и даже с интимным другом поэта, каковым надо признать Павла Воиновича Нащокина, несмотря на скептическую оценку этой дружбы, сделанную некоторыми пушкинистами. Едва ли, конечно, Пушкин делился с Нащокиным своими думами о смысле жизни и творчества. Поэт вообще не был откровенным и не любил поддерживать беседы на отвлеченные и высокие темы. Лишь в апокрифических «Записках Смирновой» Пушкин разглагольствует в салонах, как философствующий краснобай. На самом деле Пушкин был сдержан, строг и лаконичен, когда речь шла о «главном». Зато он позволял себе шутить, каламбурить и острить, когда он появлялся в маске светского дэнди. Нащокину принадлежат самые любопытные рассказы, записанные Бартеневым. У Пушкина с Нащокиным были особые отношения, житейски-дружеские, семейные, бытовые. Недаром, приехав в Москву, Пушкин останавливался нередко у Нащокина и прежде всего отправлялся с ним в баню, где они подолгу парились, при чем «предавались самой задушевной беседе, в полной уверенности, что уже там их никто не подслушает». Со слов Нащокина и записал Бартенев признания Пушкина о любовной истории его с гр. Д. Ф. Фикельмон. Исто-

рия эта была, как известно, изложена М. А. Цявловским в его статье «Пушкин и гр. Д. Ф. Фикельмон» в журнале «Голос Минувшего», 1902, № 2. В издании записей Бартенева тот же автор еще раз приводит свою аргументацию и мнения своих оппонентов В. Ф. Саводника и Л. П. Гроссмана.

Интересны записи Бартенева на 31-й и 34-й страницах тетради. Здесь возникает вновь вопрос о загадочном стихотворном фрагменте, который некоторые рассматривают, как неопубликованный конец «Пророка». До сих пор были известны по этому поводу рассказы С. А. Соболевского, А. В. Веневитинова и С. П. Шевырева; теперь мы можем присоединить к этому списку еще три имени — П. В. Нащокина, А. С. Хомякова и М. П. Погодина. Примечательна приписка на полях 34-й страницы Бартеневской тетради, сделанная рукою Соболевского: «П р о р о к приехал в Москву в бумажнике Пушкина». Нельзя не согласиться с Н. О. Лернером, а теперь и с М. А. Цявловским, что в этих рассказах есть доля истины. Однако варианты уцелевшей строфы, не исключая и тех, которые теперь опубликованы в тетради Бартенева, очевидно, совершенно искажены устной передачей. Пушкин такой *плохой* строфы написать не мог. Что касается до анекдота о том, что будто бы Пушкин обронил нецензурное стихотворение во дворце 8 сентября 1826 года, когда опального поэта привезли к царю Николаю, то этот анекдот едва ли достоверен, потому что письмо С. А. Соболевского, опубликованное М. П. Погодиным в газете «Русский» за 1867 г., листы 7 и 8, стр. 111—112, объясняет очень убедительно и реально происхождение анекдотического рассказа. Соболевский, рассказывая о посещении им их общей в 1826 году с Пушкиным квартиры, пишет, между прочим: «Вот где стояла кровать его (Пушкина); вот где так нежно возился и няньчился он с маленькими датскими щенятами. В о т г д е о н в ы р о н и л (к с ч а с т ь ю, ч т о н е в к а б и н е т е и м п е р а т о р а) с в о е с т и х о т в о р е н и е н а 14 д е к а б р я, что с час времени так его беспокоило, пока оно не нашлось».

Необходимо отметить, что обыкновенно это письмо Соболевского цитировалось по Барсукову, где на 63-й странице второй книги пропущена та фраза, которая выделена Цявловским курсивом. Комментатор не поленился посмотреть текст Погодинской газеты и в ней нашел ключ к загадочной истории с потерею политического стихотворения.

Хочется думать, что речь здесь идет о каком-то стихотворении, не имеющем ничего общего со всем известным «Пророком». Совершенная и вполне законченная композиция гениальной пьесы не допускает даже мысли о какой-то еще новой концовке. Эти соображения были высказаны и ранее. Остается предположить, что у Пушкина было два стихотворения с названием «Пророк».

В этой краткой заметке мы лишены возможности перечислить все любопытные подробности, относящиеся к биографии Пушкина, разбросанные по Бартеневской тетради. Укажем только на тот теперь бесспорный факт, что среди настойчивых поклонников Натальи Николаевны был и царь. Сам Пушкин говорил Нащокину, что царь, «как офицеришка, ухаживает за его женою; нарочно по утрам по несколько раз проезжает мимо ее окон, а ввечеру на балах спрашивает, отчего у нее всегда шторы опущены». Едва ли можно сомневаться, каковы были намерения царя, зная атмосферу нравственной распущенности, которая была так характерна для николаевского двора.

В заключение позволим себе отметить, что одна из счастливых особенностей этой новой предложенной вниманию читателей книги заключается в удачном сочетании двух пушкинистов — старого и нового. Если покойный П. И. Бартенев удивлял нас своею страстною настойчивостью в собирании биографического материала, то не менее удивляет нас теперь своею научною зоркостью и внимательным трудолюбием комментатор этой тетради. М. А. Цявловский своею последнею работою еще раз доказал, что он один из самых осведомленных и проницательных наших пушкинистов.

Георгий Чулков.

———

Марсель Ле Гофф. Анатоль Франс в годы 1914—1924. Беседы и воспоминания. Перевод с франц. под ред. И. Б. Мандельштама. Изд. «Время». Ленинград 1925. 203 стр. Ц. 1 р. 10 к.

Н. Сегюр. Беседы с Анатолем Франсом. Пер. с франц. М. Дехли, под ред. Н. О. Лернера. Изд. «Жизнь Искусства». Ленинград 1925. 131 стр. Ц. 90 к.

Среди посмертных работ о Франсе, появившихся в Западной Европе, особую группу составляют воспоминания его друзей. Так, много шуму вызвали «заметки личного секретаря» Бруссона, обратили на себя внимание книги Ле Гоффа и Н. Сегюра.

Поспешность, с которою эти книги были выброшены на французский книжный рынок, может сравниться лишь с поспешностью русских переводчиков, поистине достойной того, чтобы войти в поговорку.

(Впрочем, в данном случае поспешность переводчиков вполне извинительна: Анатоль Франс занимает одно из видных мест на книжной полке русского читателя.)

Книга Бруссона «Анатоль Франс в халате» вышла почти одновременно в двух русских изданиях («Петроград» и «Время»), вслед за ней, друг за другом, были переведены книги Ле Гоффа и Сегюра.

Можно долго спорить о научной добросовестности подобных дружеских зарисовок, неминуемо искаженных субъективным восприятием. Но несомненна ценность заключенного в них документального материала, требующего лишь объективной проработки.

Воспоминаниям Бруссона уже была посвящена особая статья в «Красной Нови». Другие две книжки еще дополняют и углубляют в нашем сознании сложный и противоречивый облик умершего писателя, так глубоко, насквозь, пропитанного старой культурой и, вместе с тем, такого современного.

Марсель Ле Гофф познакомился с Франсом в 1914 г., когда писатель купил в Сен-Сире имение, под названием Ла Бешеллери, с тем, чтобы поселиться в нем на время войны.

Известно, что скептический ум Франса, как и многие, впрочем, из «передовых» умов Франции, — не выдержал, было, испытания войною: друг Жореса, клеймивший его убийц, поддался на время волне милитаристических настроений, великий скептик нередко рассуждал, как растерявшийся обыватель...

Но настроения эти были явно случайны для всего мировосприятия Франса: подбирающий с упорством коллекционера все бессмыслицы современной цивилизации и социальной жизни, чтобы насадить их на булавки своей иронии, — он не мог не заметить и бессмыслицы мировой войны.

В книге Ле Гоффа мы находим множество неожиданных сопоставлений и прозорливых суждений Франса, врезывавшихся острым ножом в банальные разговоры посетителей Ла Бешеллери. Вот один из примеров:

«Мы опять возвращались к войне, — вспоминает Ле Гофф, — она, как наваждение, тяготела над нашими беседами.

— Она приведет нас к гражданской войне, — сказал один из нас, — еще более гнусной, чем война современная.

Франс: Какое заблуждение. Насколько одна понятнее другой... Гражданская война понятна, так как люди знают, за что они дерутся, партии ненавидят одна другую, люди не выносят друг друга и знают почему. Убивая, они испытывают радость — ужасную, конечно, — оттого, что пал настоящий враг, между тем как в войне международной они убивают неизвестных им противников, которых не имеют никаких оснований ненавидеть».

И, вместе с тем, сам осознав войну, как одно из бессмысленных противоречий, А. Франс не верит, чтобы противоречие это было когда-либо, хотя бы в далеком будущем, изгнано из жизни: «Война будет существовать до тех пор, пока не вымрет человечество. Думать иначе — утопия».

Скептицизм Франса, рожденный современностью, густым мраком окутал для него не только современность, но и все времена. И лишь блестящим фейерверком, от которого темень еще темнее, вспы-

хивают друг за другом франсовские парадоксы:

«Народ должен быть очень богатым, чтобы позволить себе роскошь иметь демократический образ правления».

«Увы, почему капитан Дрейфус был так антипатичен... Слишком чувствовалось, что он прежде всего военный и не одобряет поднятой из-за него кампании, потому что она может повредить армии... Чувствовалось, что если бы речь шла не о нем самом, капитан Дрейфус был бы отчаянным, жестоким антидрейфусаром».

Другая книга воспоминаний Н. Сегюра особенно интересна тем, что на-ряду с отдельными более или менее случайными разговорами автор приводит целый ряд длинных и связных бесед писателя на моральные, философские, исторические и литературные темы, хотя многие мысли почти дословно знакомы читателю по романам Франса (напр., содержание глав «Святые куртизанки» и «Девственность в будущем строе» с поразительной точностью напоминает рассуждения ученого Гаддока в «Острове Пингвинов», содержание же главы «Митси и поклонники дьявола» кажется почти инсценировкой историйки о собаке Рике и проч.).

Необычайно интересно записанное Н. Сегюром рассуждение Франса о смысле и радостях жизни. Здесь многое открывается для читателя относительно характера социалистических устремлений Франса: «Я не говорю об узах мысли или чувства. Я не очень-то был ими связан с ближними, — нет, другие узы делают нас всех братьями: это нервы, которые страдают, желания, которые разыгрываются, маленькие радости, большие бедствия. Да, жалость, сострадание, не лишенные презрения и нежного чувства к человечеству, — вот что принудило меня стать социалистом».

Лучший союзник воинствующего социализма в отрицании капиталистической Европы, — творец «Острова Пингвинов» и «Восстания ангелов», в сущности, мало верил в социальное счастие человечества. Здесь его коренное расхождение с оптимистической философией социализма. В этом смысле знаменателен приводимый Сегюром разговор Франса с Жоресом.

Собранные в рецензируемых книгах загробные реплики Франса еще более укрепляют в той мысли, к которой приводят нас его романы: в творческой личности Франса с необычайной отчетливостью отобразился диалектический неизбежный процесс полного самоотрицания европейской культуры. В этом самоотрицании — ключ интереса, проявляемого новым читателем к одному из блестящих скептиков старой Европы.

Валентина Дынник.

А. Ельницкий. 1905 г. Кооперативное издательство «Советская Деревня». Курск 1925. Тираж 10.000. Стр. 141.

М. И. Васильев-Южин. Московский Совет рабочих депутатов в 1905 г. и подготовка вооруженного восстания. Изд. «Недра» Мосполиграфа. Москва 1925. Тираж 10.000. Стр. 125.

И. Васильков. Предпосылки 1905 г. (экономическая и политическая). Краткий очерк. Изд. Ульяновского агитпропотдела губкома РКП (б). Ульяновск 1924. Тираж 1.500. Стр. 109.

С. Черномордик (П. Ларионов). 1905 г. в Москве. Изд-во «Долой неграмотность». Москва 1925. Тираж 5.000. Стр. 164.

Перечисленные выше 4 издания являются, конечно, только частью той большой юбилейной литературы, которая должна появиться на книжном рынке, в связи с 20-летием первой русской революции. Тем не менее, каждое из них, дополняя друг друга, может дать достаточно яркое представление об истории первой революции 1905 г., о социально-экономических предпосылках ее и т. д.

Книжка А. Ельницкого является, собственно говоря, больше историческим очерком предреволюционного, дооктябрьского (1905 г.) периода. Она обрывается на событиях непосредственно предшествовавших революционным дням Ок-

тября 1905 г., при чем автор, повидимому, намерен продолжать свою работу во второй части.

Особое достоинство настоящей работы—обилие исторического материала, использованного автором очень умело. Задавшись целью дать картину рабочего и крестьянского движения во всей России накануне революции, т. Ельницкий безусловно справился с ней. Движение отображено им не в виде отдельных отрывочных эпизодов, а во всероссийском масштабе; бурное нарастание революции на окраинах б. империи (Польша, Финляндия, Кавказ и др.) выявляется на протяжении всей книги; словом, соблюдена та пропорциональность, которая сугубо необходима для столь крупной исторической темы.

Однако настоящая книга имеет один крупный недостаток. Автор дал в ней слишком слабую, поверхностную характеристику социально-экономической структуры тогдашней России. Мы оттеняем этот момент, как существеннейший для первой русской революции. Ведь в ту эпоху революционная ситуация в рядах рабочего класса определялась не столько степенью развития классового самосознания пролетариата, сколько условиями социального и, главным образом, экономического характера. Отмечая этот недостаток и не останавливаясь на других, не столь существенных, считаем, что в своей историко-описательной части (а таковой является почти вся работа) настоящая книжка может быть рекомендована самому широкому кругу читателей, в особенности коммунистической молодежи. Последняя найдет в ней много поучительного. Издана книжка удовлетворительно.

Совершенно иной характер носит работа М. И. Васильева-Южина. Автор ее — член большевистского Московского комитета в 1905 г. и один из организаторов и руководителей первого Московского Совета рабочих депутатов — написал воспоминания о своей партийной и советской работе в 1905 г. Однако эта книжка является не только воспоминанием автора. Тов. Васильев-Южин в настоящей работе нарисовал историю возникновения, жизни и последних дней Московского Совета. Уже одно то, что автор находился в центре Совета, руководил работами последнего до последнего момента, делает эту книжку особенно интересной и ценной, тем более, что написана она чрезвычайно живым языком.

В приложениях к книге автор дает исправленный текст лично им написанного исторического воззвания Московского Совета и партийных организаций (МК, Моск. группы, Моск. окружн. организации РСДРП и МК партии С.-Р. «Ко всем рабочим, солдатам и гражданам»). Этот документ, принятый на 4-м и фактически последнем заседании Совета 6/19 декабря 1905 г., как известно, явился прологом к объявленной на следующий день всеобщей политической забастовке и начавшемуся, впоследствии, вооруженному восстанию в Москве. Кроме документов, книга снабжена рядом фотографий. Издана книга очень хорошо.

Брошюра И. Василькова «Предпосылки 1905 г.» написана автором еще в 1924 г., как вступительная для Института Красной Профессуры. В отличие от двух предыдущих, она представляет собой опыт популярного изложения экономических факторов, оказавших влияние на революцию 1905 г.

Останавливаясь в первой части на процессе капитализации России, иллюстрируя цифровыми данными, подобранными достаточно хорошо, темп развития капитализма в России, а также процесс капитализации сельского хозяйства, постепенно принимавшего формы товарного хозяйства, тов. Васильков справедливо задерживается на важном моменте в русской экономике того времени — на расслоении и пролетаризации крестьянства. Этот момент автор правильно рассматривает, как результат вовлечения деревни в общий процесс капиталистического развития России. К сожалению, интересный цифровой материал, касающийся именно этих вопросов, сильно обесценивается отсутствием дат. Читатель не знает, к какому времени относятся цифры, иллюстрирующие: темп дифференциации крестьянства (31), распределение земли по социальным группам крестьянства (32), динамику предложения крестьянской рабочей силы (34) и т. д.

Вторая часть работы т. Василькова посвящена характеристике экономического положения рабочего класса (рабочий вопрос и рабочее движение) до революции и в период промышленного кризиса конца XIX столетия, политике самодержавия и заканчивается кратким обзором январских событий 1905 года.

Печать некоторой спешности, которую подтверждает сам автор (6), действительно лежит на этой работе. По этой причине народно-хозяйственный баланс страны автор почему-то называет «производительностью» (17); «крестьяне платили (подати) сравнительно аккуратно», только потому, что боялись «розги и издевательства поборщиков» (27); Петербург 1905 года упорно именуется Ленинградом и т. д. Тем не менее приведенные замечания и имеющиеся в работе другие недостатки не лишают брошюры того значения, какое придавалось ей автором и издательством. Она, безусловно, полезна — тем более, что посвящена очень интересной и важной теме.

Книга С. Черномордика (П. Ларионова) — это сборник статей, большинство которых написано им в период после Октябрьской революции 1917 года на темы, непосредственно связанные с революционным движением 1905 г. в Москве. Тов. Черномордик — активный деятель революционного движения в Москве. Подобно тов. Васильеву-Южину и он входил в большевистский Московский комитет с.-д. партии и поэтому был свидетелем всех перипетий первой русской революции в Москве. С этой точки зрения статьи тов. Черномордика представляют большой интерес. С большим вниманием читается статья «Пятый год в Москве» (7—46), особенно часть ее, рисующая организационную структуру тогдашнего Московского комитета и его органов. Затем внимание читателя, несомненно, остановится на статьях, посвященных светлой памяти Н. Э. Баумана, на статье «Декабрь» (148—153), марксистском анализе исхода Московского вооруженного восстания.

Большое удивление вызывает, однако, включение автором в настоящую книгу программной статьи «Аграрный вопрос» (81—126). Эта статья представляет собой часть брошюры «Крестьянское движение и аграрный вопрос», написанной автором в 1906 г. Правда, в первую русскую революцию аграрный вопрос занимал большое место и вызывал большие разногласия в недрах партии, но это вряд ли может оправдать включение ее в настоящий сборник. Если же исходить из того, что настоящая книжка рассчитана на широкого читателя, то и другая статья «Итоги исторического года» (153—164), пожалуй, также выходит из общего плана ее, тем более, что она трактует о ряде теоретических выводов автора, по его собственному мнению, не совсем удачно сформулированных (4).

Издана книжка удовлетворительно.

И. Браславский.

Проф. **А. Матьез.** Французская революция. Т. I. Перев. с французского под ред. проф. Бороздина. Изд. «Книга». Москва—Ленинград 1925. Тир. 5.000. Стр. 224.

Дижонский профессор Альбер Матьез считается крупным знатоком истории великой французской революции. Перу этого автора принадлежит ряд больших работ, посвященных вопросам религии и культа эпохи революции («Contribution a l'histoire religieuse de Révolution», «La Révolution et l Eglise», «Les origines des cultes revolutionnaires» и др.). В настоящее время Матьез является редактором журнала «Annales Revolutionnaires», — органа исторического общества для изучения революции.

Понятно, что рецензируемая книга, являющаяся частью задуманной автором трехтомной работы, представляет собой необычайно богатый источник материалов, фактов и имен, связанных с периодом 1787—1792 г.г., местами публикуемых впервые. Тем не менее, настоящая работа маститого историка не лишена многих недостатков, никак не оправдываемых даже предисловием редактора перевода проф. Бороздина, являющимся, кстати сказать, больше апологией Матьеза, нежели объективной характеристикой редактируемого труда.

Рецензируемый том охватывает, собственно говоря, первый период революции. Свой исторический обзор событий Матьез начинает с характеристики абсолютистского режима Франции накануне революции, затем подробно останавливается на многочисленных исторических моментах, постепенно приведших к кризису старого порядка, возмущению дворян, созыву Генеральных Штатов и т. д. Заканчивается книга описанием событий 10 августа 1792 г. — днем крушения монархии.

Следует отдать должное Матьезу. Отдельные места первого тома обнаруживают в нем блестящего публициста и несомненно крупного знатока эпохи. В таких главах, как II («Возмущение дворян»), V («Восстание в провинции») и IX («Религиозный вопрос») автор показал, что с своей задачей «набросать более точную, ясную и живую картину того, чем была французская революция в своих различных проявлениях» (9), он безусловно справился. Но едва Матьез выходит за пределы документального освещения событий и лиц и пытается дать оценку исторических событий в свете господствовавших в ту эпоху идей и борьбы «интересов и сил» (так он называет классовую борьбу), обнаруживаются все те недостатки, которые обесценивают эту работу в глазах нашего серьезного читателя.

Насколько автором широко освещены все моменты крушения феодальной аристократии, все этапы роста третьего сословия — буржуазии, бесцеремонно, с налетом некоторой революционности и стремительности выбивавшей из-под ног абсолютизма все точки его опоры, настолько скудно освещено положение рабочего класса, как накануне революции, так и в первые годы ее. Этот крупный пробел является производным основного недостатка работы — отсутствия в ней цельной характеристики социально-экономического положения Франции того времени. Мельком, «между прочим», Матьез роняет отдельные фразы об экономике страны, о состоянии ремесленного пролетариата, о внешней торговле Франции, о том, что «наша водка, вино, наши ткани, наши моды, наша мебель продается по всей Европе» (29), между тем как Франция, именно, в эту эпоху делала решительный поворот в сторону экономического подъема, мощного развития производительных сил и постепенного освобождения от перезревших форм ремесленничества и кустарничества.

Слабость социологической основы работы проф. Матьеза сказывается почти во всех ее главах. О рабочем движении он почти ничего не говорит, игнорируя таким образом многочисленные исторические факты первых попыток самоорганизации французского пролетариата (например, сходка 3.000 парижских портных 18 августа 1790 г. с целью выработки своих экономических требований; организация общества парижских башмачников с комитетом во главе и фондом взаимопомощи безработным членам, письмо 340 рабочих церкви св. Женевьевы редактору «Друга Народа» Марату с просьбой о защите от эксплоататоров, которые «давят нас без сожаления и без угрызения совести» и т. д.). Проронив несколько слов о законе Шапелье (174), автор не дает себе труда сказать хоть что-нибудь о большом стачечном движении, охватившем парижских и провинциальных рабочих и послужившем причиной издания этого драконовского закона. Ни слова не говорит Матьез о безработице, об общественных работах, на содержание которых в один 1790 г. было израсходовано до 15 мил. франков. Столь же малое внимание уделено автором и крестьянскому движению. Питая полную благосклонность к его «законным требованиям», Матьез описывает это движение, как выступление «банд» разбойников, «неизбежный набег которых пугал воображение» (74), но совершенно умалчивает о невероятной нищете, царившей в французской деревне того времени (к концу 1770-х г.г. во Франции насчитывалось до 1.200.000 нищих, выходцев из деревни), о поголовном голоде и о массовых смертях в среде крестьянства.

Определенная тенденциозность изложения, выпирающая из всех глав рецензируемой книги, завершается тягучим дифирамбом конституционализму Соединенных Штатов. «Во Франции,—пишет Матьез,—значительная часть населения ничего не понимала или не хотела понимать в новых учреждениях. Она воспользова-

лась своими вольностями только для того, чтобы погубить их. Она требовала возвращения своих оков» (132). Такова, собственно говоря, вся концепция, на которой построена, судя по первому тому, вся работа проф. Матьеза.

Мы не сомневаемся, что французским буржуазным читателям «элегантное и занятное изложение» (характеристика проф. Бороздина) настоящей книги безусловно придется по душе. Что же касается читателей, которых имело в виду издательство «Книга», то для них работа проф. Матьеза, ввиду богатства материалами, может сослужить пользу только как справочник по истории французской революции.

И. Браславский.

А. Вышинский. Очерки по истории коммунизма. Краткий курс лекций. Ч. 2. ГИЗ. 1925. Стр. 361. Тираж 10.000.

Рецензируемая книга представляет собой вторую часть краткого курса лекций, прочитанного т. Вышинским в свое время в Институте Нар. Хоз-ва им. К. Маркса (1-я часть вышла еще в начале 1924 г.). Она состоит из двух основных отделов: первый обнимает эпоху от Маркса до Ленина (рабочее движение XIX века, зарождение и развитие научного коммунизма, учение Маркса и Энгельса, I и II Интернационалы, Лассаль, Прудон, Бланки и т. д.); второй отдел посвящен исключительно ленинизму в его теоретическом и практическом значении и заканчивается кратким очерком о III Интернационале.

С выходом настоящей части мы имеем возможность дать общую характеристику всей книги тов. Вышинского, т.-е. обеих частей «Очерков по истории коммунизма». Нужно сказать, что эта работа, как по построению, так и по охвату, задумана довольно оригинально, что выгодно отличает ее от ряда современных работ на эту тему. История коммунизма отображается им не хронологически, а отдельными полосами, точнее, эпохами (Лассаль и лассальянство, Бланки и бланкизм и т. д.). Таким образом автор пользуется не столько историко-описательным, сколько синтетическим методом, разработанным на основе революционного марксизма. Теоретические взгляды Бабефа, великих утопистов, Вейтлинга, Маркса и Энгельса, Бланки, Прудона и других изложены в обеих частях с достаточной основательностью и четкостью, и это, по нашему мнению, безусловно должно удовлетворить того среднего читателя (в особенности, вузовца), на которого настоящие «Очерки» рассчитаны. Мы считаем необходимым отметить еще одну положительную сторону настоящей работы: она написана чрезвычайно живо и читается очень легко, особенно такие главы, как «Научный социализм», «Бланки и бланкизм» и другие.

Несколько хуже обстоит дело у тов. Вышинского с чисто исторической частью очерков. Благодаря ли обилию и нагроможденности фактов, по другой ли причине, но в отдельных местах книги автор дает неполные, нецельные и подчас противоречивые образы и характеристики отдельных исторических лиц и событий, связанных с рассматриваемыми им эпохами.

В главе о Прудоне тов. Вышинский сообщает, что «в истории социализма XIX века вообще, и французского, в частности, одна из наиболее ярких страниц связана с именем Прудона» (154), хотя в дальнейшем дает правильную марксистскую оценку и Прудону, и прудонизму, задержавшему «на многие годы рост классового самосознания пролетариата» (171).

Такую же невыдержанность следует констатировать и в главе о Бакунине. Правильно анализируя взгляды Бакунина и бакунизм с точки зрения революционного марксизма, тов. Вышинский, вольно или невольно, сосредоточивает свое внимание почему-то исключительно на вопросе об отношении Бакунина к государству. Правда, этот вопрос в бакунизме является центральным, но ведь известно, что бакунисты претендовали еще и на собственную программу экономических мероприятий, которая достаточно интересна, чтобы остановиться на ней. Мельком, касаясь вопроса об отмене права наследования, выдвинутого бакунистами на Базельском конгрессе (210), тов. Вышинский в общем эту

характерную сторону бакунизма почти что не осветил. В части же, касающейся знаменитой «Исповеди» Бакунина, тов. Вышинский, очевидно, разделяет уже достаточно опровергнутое мнение по поводу «трагического падения великого революционера». В подтверждение несостоятельности этого мнения считаем необходимым сослаться на работы А. А. Корнилова «Годы странствий Михаила Бакунина» (Ленгиз, 1925) и В. Полонского «Бакунин» (2-е издание, 1925). В обеих работах новыми и неопубликованными материалами доказывается, что «Исповедь» явилась результатом отнюдь не капитуляции и малодушия Бакунина. Мятущаяся душа, бурная натура не могла помириться с каменным мешком Петропавловки; хотелось работать, действовать, и во имя этого он пошел на обман Николая I (поступок этически, безусловно, недопустимый), на «позорно-раболепные слова» (173), вскоре после этого искупленные полностью.

Имеются во второй части «Очерков» серьезные описки, из которых приведем несколько. Второй Конгресс Коминтерна собрался не в мае (343), а в июле 1920 г.; 3-й Конгресс — не 1 октября (348), а 5 ноября 1924 г.; Самуэль Гомперс никогда не был вождем II Интернационала (279), а еще в революционные дни последнего был известен, как преданный слуга американской буржуазии.

Несмотря на отмеченные недостатки, мы считаем, что вторая часть «Очерков» должна получить такое же распространение, как и первая (насколько нам известно, выдержавшая в течение года 2 издания). Нужно думать, что при переиздании книги автором будут внесены все те дополнения и исправления, в которых нуждается эта ответственная и, безусловно, серьезная работа.

И. Браславский.

Редакционная коллегия: А. Воронский. В. Сорин. Ем. Ярославский.

Издатель: Государственное Издательство.

Адрес редакции: Москва. Кривоколенный пер., 14. Тел. 5-63-12.

СОДЕРЖАНИЕ

За рубежом

От земли и городов

Литературные края

Критика и библиография